М. Шолохов

1





МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений в восьми томах



Москва
«Художественная литература»
1985

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

Том 1

ТИХИЙ ДОН

Роман
в четырех
книгах



Москва
«Художественная
литература»
1985

Р2
Ш78

Составление

М. Манохиной

Оформление художника

Ю. Боярского

Ш $\frac{4702010200-126}{028(01)-85}$ подписное

СЛОВО О ШОЛОХОВЕ

М. Горький

«Шолохов,— судя по первому тому,— талантлив... Каждый год выдвигает все более талантливых людей. Вот это — радость. Очень, анафемски талантлива Русь».

1928 г., 31 декабря.

А. С. Серафимович

«Как степной цветок, живым пятном встают рассказы т. Шолохова. Просто, ярко и рассказываемое чувствуешь — перед глазами стоит. Образный язык, тот цветной язык, которым говорит казачество. Сжато, и эта сжатость полна жизни, напряжения и правды.

Чувство меры в острых моментах, и оттого они пронизывают. Огромное знание того, о чем рассказывает. Тонкий схватывающий глаз. Умение выбрать из многих признаков наихарактернейшие».

1925

«Он (Шолохов) силен в первую голову как крупнейший художник-реалист, глубоко правдивый, смелый, не боящийся самых острых ситуаций, неожиданных столкновений людей и событий... Огромный, правдивый писатель. И... черт знает как талантлив...»

1940

А. В. Луначарский

«...роман Шолохова «Тихий Дон» — произведение исключительной силы по широте картин, знанию жизни и людей, по горечи своей фабулы. Это произведение напоминает лучшие явления русской литературы всех

времен... Шолоховский роман читается с захватывающим интересом и является ценным вкладом в литературу о массах».

1929 г., 4 января.

«Возьмем, например, роман Шолохова «Поднятая целина»... Очень большое, сложное, полное противоречий и рвущееся вперед содержание одето здесь в прекрасную словесную и образную форму, которая нигде не отстает от этого содержания, нигде не урезывает, не обедняет его и которой вовсе не приходится заслонять собой какие-нибудь дыры и пробелы в этом содержании».

1933 г., 11 июля.

Ромен Роллан

«Лучшие из новых произведений советской литературы (например, книги Шолохова) продолжают, в основном, великую реалистическую традицию предшествующей эпохи, составляющую душу русского искусства, которую обессмертили произведения Толстого. Те же широкие полотна, где выступают целые пласты человечества в окружении природы, тот же объективный взгляд, широкий кругозор, который отражает, не искажая, то же стремление скрыть художника и раскрыть предмет искусства...»

1935 г., март.

А. А. Фадеев

«Возьмите, какой чудовищной жизненной хваткой отличается Шолохов. Можно прямо сказать, что, когда его читаешь, испытываешь настоящую творческую зависть, желание многое украсть — настолько это хорошо. Видишь, что это по-настоящему здорово, неповторимо».

1937

В. Я. Шишков

«...М. Шолохов — бесспорный и самый большой писатель. Он знает самые затаенные движения человеческих душ и с большим мастерством, по-серьезному умеет показывать это. Даже самые случайные его герои, жизнь которых началась и закончилась на одной и той же странице, надолго остаются в Вашей памяти...

Но во всяком разе, по моему мнению, «Тихий Дон» занимает в советской литературе первое место».

1940 г., 21 мая.

А. Н. Толстой

«...замечательное явление нашей литературы — Михаил Шолохов. Он целиком рожден Октябрем и создан советской эпохой. Он пришел в литературу с темой рождения нового общества в муках и трагедиях социальной борьбы.

В «Тихом Доне» он развернул эпическое, насыщенное запахами земли, живописное полотно из жизни донского казачества. Но это не ограничивает большую тему романа. «Тихий Дон» по языку, сердечности, человечности, пластичности,— произведение общерусское, национальное, народное».

1942 г., 18 ноября.

А. Т. Твардовский

«...Всем вам известно произведение Шолохова «Поднятая целина». До появления этого романа для множества людей представления о колхозах, об этом особом мире, который оформлялся перед нашими современниками, ограничивались общими сведениями и понятиями о классовой борьбе в деревне, о новом строе, который утверждается в жизни.

И как расширились наши знания, больше того, наши представления о существенности, жизненности этого строя на советской земле, когда появился роман Шолохова!»

1947 г., 29 марта.

С. Н. Сергеев-Ценский

«...Я назову дорогое всем нам имя Михаила Шолохова! В его произведениях мы видим алмазные россыпи русской речи. Не в словарях отысканное, не из запыленных фолиантов утащенное, а взятое писателем у самого хозяина языка — у народа — вот какое это слово!

С молоком матери впитал писатель приемы народного творчества и принес их в русскую художественную речь. Поэтому так и поражают они своей смелостью и художественной силой.

Мне думается, что творческий путь Михаила Шолохова, его каждодневное общение со своими героями, слитность воедино с жизнью народной во всех ее проявлениях — вот единственный правильный путь для настоящего народного писателя».

1958 г., ноябрь.

Н. С. Тихонов

«Поднятая целина» — произведение большой эпической силы, изображающее величайшее историческое событие в жизни советской деревни — коллективизацию сельского хозяйства, рождение нового, социалистического отношения к труду в среде крестьянства... ,

Большая любовь к изображаемому, превосходное знание быта, умение широко раскрыть сильные характеры, человеческие страсти, показать, в чем сила руководителя, сделали книгу цельной, глубокой, выдающейся по силе воздействия».

1960 г., апрель.

К. М. Симонов

«Литература не солдатская шеренга, в которой стоят по росту, но все же, если б меня спросили: а кого вы назовете первым среди... писателей? — я лично так же, не колеблясь, назвал бы в прозе Шолохова, как в поэзии — Твардовского.

...Шолохов привел с собой в литературу людей из народа, или, как говорят, простых людей, и они заняли в его романах не боковые места и не галерку, а самый центр этого битком набитого людьми зала. Он заставил смотреть на них, прежде всего на них. И не оказалось таких психологических проблем, которых он не взялся бы решить на анализе души этого так называемого простого человека, всю непростоту которого он с такой решимостью и силой доказал на страницах своих книг.

Конечно, не он первый делал это в нашей литературе, но с такой силой и последовательностью, пожалуй, первый. И это относится не только к «Тихому Дону», но и ко многим превосходным страницам и других его книг — «Они сражались за Родину», «Судьбы человека», «Поднятой целины».

1960

Мартти Ларни

«Он чистокровный реалист, который умеет заставить «ожить бумагу», лирик, рассматривающий природу в неотрывной органической связи с жизнью.

...Он — живая частица своего народа, чуткий и проникновенный толкователь души человеческой, переживший роковые моменты судьбы своей отчизны и как патриот, и как солдат, и как поэт».

1963 г., 24 августа.

Анна Зегерс

«...первые тома «Тихого Дона». Когда мы читали... перевод, мы поняли, что происходило со старым народом в новой стране. Мы проглотили огромный кусок жизни, который Шолохов бросил нам, страшно голодным, страшно голодным до правды. И казалось, будто он при этом крикнул: «Вы хотите знать все, здесь это все!»

Так оно стало нам близким до того, что можно его потрогать, можно пережить это бурлящее в гражданской войне общество; оно было схвачено

силой великого художника. И благодаря этой силе оно присутствовало здесь — как для того, чтобы пережить его, так и для того, чтобы думать над ним.

«Поднятая целина» — безжалостная, неприукрашенная правда. Не та скрюченная, деформированная, кажущаяся, а подлинная, настоящая, источником которой является жизнь».

1964

Мулк Радж Ананд

«Ваша книга, с ее широким, эпическим размахом, воодушевила меня и вселила веру в то, что и писатели Востока смогут войти в мировую литературу, рассказав в новых произведениях о далеких, неизвестных народах, о которых Запад еще мало что знает. Я сам с того времени, размышляя о романах, посвященных азиатскому материку, стал представлять их себе в эпических пропорциях. Это стремление к широким замыслам пришло ко мне и многим писателям нашего поколения от Вас. Но не только это извлекли мы из Ваших страниц. Быть может, важной истиной, вытекавшей для нас из эпопеи о Доне, была следующая: для писателя психологическое чувство уверенности в справедливости общественного строя, в котором он живет, более необходимо, чем ощущение надежности своего физического существования.

...Как бурный паводок, заливающий берега и разрушающий многое на своем пути, часто делает почву более плодородной, так и революционный жар, которым пышет от Ваших книг, прорывается сквозь застывшие границы привычных чувств, отбрасывает прочь условности и освобождает читателя».

1965 г., 13 августа.

Чарльз Сноу

«Книга [1] с самого начала имела громадный успех. Все мы тогда же ее прочли. Она дошла до широчайшего круга читателей. Так было повсюду на Западе. Многим из нас она казалась не только первым великим романом, написанным в советское время, но и великим романом вообще...»

1975

Г. М. Марков

«Наподобие горного хребта возвышается творчество М. А. Шолохова, ставшего вершиной отечественной и мировой литературы. В нем нашли отражение история нашей революции, становление советского строя,

---

[1] Роман «Тихий Дон». (*Примеч. ред.*)

защита нашего Отечества от иноземных захватчиков, борьба нашего народа за мир и коммунизм. Мы по праву называем писателя летописцем советской эпохи, ее исследователем, ее певцом.

Шолохов создал галерею образов, которые по силе своей выразительности, художнической ценности встали в один ряд с самыми замечательными образами мировой классики всех времен.

На героях Шолохова лежит отсвет исторических, социальных потрясений двадцатого века. Мы, современники и свидетели этих колоссальных революционных сдвигов, испытываем сегодня законную гордость за труд и подвиг писателя. Через десятилетия и века грядущие поколения будут знать о нашем героическом времени немеркнущую правду, запечатленную могучим талантом народного художника. Образы Шолохова всегда будут волновать людей. Михаил Александрович Шолохов воодушевлялся жизнью родного народа. Черпая в ленинизме, в политике Коммунистической партии идеи преобразования мира, он как подлинный партийный писатель затрагивал самые острые вопросы современности, злобу дня, не прятался от трудностей и противоречий и достигая высочайших художественных результатов. Его слово гремело как набат. Его слушала вся планета. История поставила имя Шолохова рядом с гигантами русской литературы Львом Толстым и Максимом Горьким. Влияние Шолохова на русскую литературу, литературу братских народов, на всю мировую литературу неохватно. И потому творения Шолохова переживут века, они неувядаемы и неподвластны годам, как все прекрасное и жизнеспособное».

1984 г., 23 февраля.

ТИХИЙ ДОН

Книга первая

Не сохами-то славная землюшка наша распахана...
Распахана наша землюшка лошадиными копытами,
А засеяна славная землюшка казацкими головами,
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами.
Цветен наш батюшка тихий Дон сиротами,
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими,
материнскими слезами.

Ой ты, наш батюшка тихий Дон!
Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь?
Ах, как мне, тиху Дону, не мутну течи!
Со дна меня, тиха Дона, студены ключи бьют,
Посередь меня, тиха Дона, бела рыбица мутит.

Старинные казачьи песни

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Мелеховский двор — на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше — перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона. На восток, за красноталом гуменных плетней,— Гетманский шлях, полынная проседь, истоптанный конскими копытами бурый, живущой придорожник, часовенка на развилке; за ней — задернутая текучим маревом степь. С юга — меловая хребтина горы. На запад — улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу.

В предпоследнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий. Из Туретчины привел он жену — маленькую, закутанную в шаль женщину. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одичалые глаза. Пахла шелковая шаль далекими неведомыми запахами, радужные узоры ее питали бабью зависть. Пленная турчанка сторонилась родных Прокофия, и старик Мелехов вскоре отделил сына. В курень его не ходил до смерти, не забывая обиды.

Прокофий обстроился скоро, плотники срубили курень, сам пригородил базы для скотины и к осени увел на новое хозяйство сгорбленную иноземку-жену. Шел с ней за арбой с имуществом по хутору — высыпали на улицу все, от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались в бороды, голосисто перекликались бабы, орда немытых казачат улюлюкала Прокофию вслед, но он, распахнув чекмень, шел

медленно, как по пахотной борозде, сжимал в черной ладони хрупкую кисть жениной руки, непокорно нес белесо́чубатую голову,— лишь по скулам у него пухли и катались желваки да промеж каменных, по всегдашней неподвижности, бровей проступил пот.

С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на майдане. Жил в своем курене, на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили про него по хутору чудно́е. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского ажник кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступкам, бабам за разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене Прокофия: одни утверждали, что красоты она досель невиданной, другие — наоборот. Решилось все после того, как самая отчаянная из баб, жалмерка Мавра, сбегала к Прокофию будто бы за свежей накваской. Прокофий полез за накваской в погреб, а за это время Мавра и разглядела, что турчанка попалась Прокофию последняя из никудышных...

Спустя время раскрасневшаяся Мавра, с платком, съехавшим набок, торочила на проулке бабьей толпе:

— И что он, милушки, нашел в ней хорошего? Хоть бы баба была, а то так... Ни заду, ни пуза, одна страма. У нас девки глаже ее выгуливаются. В стану — перервать можно, как оса; глазюки — черные, здоровющие, стригеть ими, как сатана, прости бог. Должно, на сносях дохаживает, ей-бо!

— На сносях? — дивились бабы.

— Кубыть не махонькая, сама трех вынянчила.

— А с лица как?

— С лица-то? Желтая. Глаза тусменныи,— небось, не сладко на чужой сторонушке. А ишо, бабоньки, ходит-то она... в Прокофьевых шароварах.

— Ну-у?..— ахали бабы испуганно и дружно.

— Сама видала — в шароварах, только без лампасин. Должно, будишние его подцепила. Длинная на ней рубаха, а из-под рубахи шаровары, в чулки вобратые. Я как разглядела, так и захолонуло во мне...

Шепотом гутарили по хутору, что Прокофьева жена ведьмачит. Сноха Астаховых (жили Астаховы от хутора крайние к Прокофию) божилась, будто на второй день

границы, перед светом, видела, как Прокофьева жена, простоволосая и босая, доила на их базу корову. С тех пор ссохлось у коровы вымя в детский кулачок, отбила от молока и вскоре издохла.

В тот год случился небывалый падеж скота. На стойле возле Дона каждый день пятнилась песчаная коса трупами коров и молодняка. Падеж перекинулся на лошадей. Таяли конские косяки, гулявшие на станичном отводе. И вот тут-то прополз по проулкам и улицам черный слушок...

С хуторского схода пришли казаки к Прокофию.

Хозяин вышел на крыльцо, кланяясь.

— За чем добрым пожаловали, господа старики?

Толпа, подступая к крыльцу, немо молчала.

Наконец один подвыпивший старик первый крикнул:

— Волоки нам свою ведьму! Суд наведем!..

Прокофий кинулся в дом, но в сенцах его догнали. Рослый батареец, по уличному прозвищу — Люшня, стукал Прокофия головой о стену, уговаривал:

— Не шуми, не шуми, нечего тут!.. Тебя не тронем, а бабу твою в землю втолочим. Лучше ее уничтожить, чем всему хутору без скотины гибнуть. А ты не шуми, а то головой стену развалю!

— Тяни ее, суку, на баз!..— гахнули у крыльца.

Полчанин Прокофия, намотав на руку волосы турчанки, другой рукой зажимая рот ее, распяленный в крике, бегом протащил ее через сени и кинул под ноги толпе. Тонкий вскрик просверлил ревущие голоса.

Прокофий раскидал шестерых казаков и, вломившись в горницу, сорвал со стены шашку. Давя друг друга, казаки шарахнулись из сенцев. Кружа над головой мерцающую, взвизгивающую шашку, Прокофий сбежал с крыльца. Толпа дрогнула и рассыпалась по двору.

У амбара Прокофий настиг тяжелого в беге батарейца Люшню и сзади, с левого плеча наискось, развалил его до пояса. Казаки, выламывавшие из плетня колья, сыпанули через гумно в степь.

Через полчаса осмелевшая толпа подступила ко двору. Двое разведчиков, пожимаясь, вошли в сенцы. На пороге кухни, подплывшая кровью, неловко запрокинув голову, лежала Прокофьева жена; в прорези мученически оскаленных зубов ее ворочался искусанный язык. Прокофий, с трясущейся головой и остановившимся взглядом, кутал в овчинную шубу попискивающий комочек — преждевременно родившегося ребенка.

* * *

Жена Прокофия умерла вечером этого же дня. Недоношенного ребенка, сжалившись, взяла бабка, Прокофьева мать.

Его обложили пареными отрубями, поили кобыльим молоком и через месяц, убедившись в том, что смуглый турковатый мальчонок выживет, понесли в церковь, окрестили. Назвали по деду Пантелеем. Прокофий вернулся с каторги через двенадцать лет. Подстриженная рыжая с проседью борода и обычная русская одежда делали его чужим, непохожим на казака. Он взял сына и стал на хозяйство.

Пантелей рос исчерна-смуглым, бедовым. Схож был на мать лицом и подбористой фигурой.

Женил его Прокофий на казачке — дочери соседа.

С тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы, а по-уличному — Турки.

Похоронив отца, въелся Пантелей в хозяйство: заново покрыл дом, прирезал к усадьбе с полдесятины гулевой земли, выстроил новые сараи и амбар под жестью. Кровельщик по хозяйскому заказу вырезал из обрезков пару жестяных петухов, укрепил их на крыше амбара. Веселили они мелеховский баз беспечным своим видом, придавая и ему вид самодовольный и зажиточный.

Под уклон сползавших годков закряжистел Пантелей Прокофьевич: раздался в ширину, чуть ссутулился, но все же выглядел стариком складным. Был сух в кости, хром (в молодости на императорском смотру на скачках сломал левую ногу), носил в левом ухе серебряную полумесяцем серьгу, до старости не слиняли на нем вороной масти борода и волосы, в гневе доходил до беспамятства и, как видно, этим раньше времени состарил свою когда-то красивую, а теперь сплошь опутанную паутиной морщин, дородную жену.

Старший, уже женатый сын его Петро напоминал мать: небольшой, курносый, в буйной повители пшеничного цвета волос, кареглазый; а младший, Григорий, в отца попер: на полголовы выше Петра, хоть на шесть лет моложе, такой же, как у бати, вислый коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсиненные миндалины горячих глаз, острые плиты скул обтянуты коричневой румянеющей кожей. Так же сутулился Григорий, как и отец, даже в улыбке было у обоих общее, звероватое.

Дуняшка — отцова слабость — длиннорукий, большеглазый подросток, да Петрова жена Дарья с малым дитём — вот и вся мелеховская семья.

II

Редкие в пепельном рассветном небе зыбились звезды. Из-под туч тянул ветер. Над Доном на дыбах ходил туман и, пластаясь по откосу меловой горы, сползал в яры серой безголовой гадюкой. Левобережное Обдонье, пески, ендовы, камышистая непролазь, лес в росе — полыхали исступленным холодным заревом. За чертой, не всходя, томилось солнце.

В мелеховском курене первый оторвался ото сна Пантелей Прокофьевич. Застегивая на ходу ворот расшитой крестиками рубахи, вышел на крыльцо. Затравевший двор выложен росным серебром. Выпустил на проулок скотину. Дарья в исподнице пробежала доить коров. На икры белых босых ее ног молозивом брызгала роса, по траве через баз лег дымчатый примятый след.

Пантелей Прокофьевич поглядел, как прямится примятая Дарьиными ногами трава, пошел в горницу.

На подоконнике распахнутого окна мертвенно розовели лепестки отцветавшей в палисаднике вишни. Григорий спал ничком, кинув наотмашь руку.

— Гришка, рыбалить поедешь?

— Чего ты? — шепотом спросил тот и свесил с кровати ноги.

— Поедем, посидим зорю.

Григорий, посапывая, стянул с подвески будничные шаровары, вобрал их в белые шерстяные чулки и долго надевал чирик, выправляя подвернувшийся задник.

— А приваду маманя варила? — сипло спросил он, выходя за отцом в сенцы.

— Варила. Иди к баркасу, я зара́з.

Старик ссыпал в рубашку распаренное пахучее жито, по-хозяйски смел на ладонь упавшие зерна и, припадая на левую ногу, захромал к спуску. Григорий, нахохлясь, сидел в баркасе.

— Куда править?

— К Черному яру. Спробуем возле энтой ка́рши, где надысь сидели.

Баркас, черканув кормою землю, осел в воду, оторвался от берега. Стремя понесло его, покачивая, норовя повернуть боком. Григорий, не огребаясь, правил веслом.

— Гребани, что ль.

— А вот на середку вылупимся.

Пересекая быстрину, баркас двинулся к левому берегу. От хутора догоняли их глухие на воде петушиные переклики. Чертя бортом черный хрящеватый яр, лежавший над водой урубом, баркас причалил к котловине. Саженях в пяти от берега виднелись из воды раскоряченные ветви затонувшего вяза. Вокруг него коловерть гоняла бурые комья пены.

— Разматывай, а я заприважу,— шепнул Григорию отец и сунул ладонь в парное зевло кубышки.

Жито четко брызнуло по воде, словно кто вполголоса шепнул — «шик!». Григорий нанизал на крючок взбухшие зерна, улыбнулся.

— Ловись, ловись, рыбка, большая и малая.

Леса, упавшая в воду кругами, вытянулась струной и снова ослабла, едва грузило коснулось дна. Григорий ногой придавил конец удилища, полез, стараясь не шелохнуться, за кисетом.

— Не будет, батя, дела... Месяц на ущербе.

— Серники захватил?

— Ага.

— Дай огню.

Старик закурил, поглядел на солнце, застрявшее по ту сторону коряги.

— Сазан, он разно берет. И на ущербе иной раз возьмется.

— Чу́тно, мелочь насадку обсекает,— вздохнул Григорий.

Возле баркаса, хлюпнув, схлынула вода, и двухаршинный, словно слитый из красной меди, сазан со стоном прыгнул вверх, сдвоив по воде изогнутым лопушистым хвостом. Зернистые брызги засеяли баркас.

— Теперя жди! — Пантелей Прокофьевич вытер рукавом мокрую бороду.

Около затонувшего вяза, в рукастых оголенных ветвях, одновременно выпрыгнули два сазана; третий, поменьше, ввинчиваясь в воздух, настойчиво раз за разом бился у яра.

* * *

Григорий нетерпеливо жевал размокший конец самокрутки. Неяркое солнце стало в полдуба. Пантелей Прокофьевич израсходовал всю приваду и, недовольно

подобрав губы, тупо глядел на недвижный конец удилища.

Григорий выплюнул остаток цигарки, злобно проследил за стремительным его полетом. В душе он ругал отца за то, что разбудил спозаранку, не дал выспаться. Во рту от выкуренного натощак табаку воняло припаленной щетиной. Нагнулся было зачерпнуть в пригоршню воды,— в это время конец удилища, торчавший на пол-аршина от воды, слабо качнулся, медленно пополз книзу.

— Засекай! — выдохнул старик.

Григорий, встрепенувшись, потянул удилище, но конец стремительно зарылся в воду, удилище согнулось от руки обручем. Словно воротом, огромная сила тянула вниз тугое красноталовое удилище.

— Держи! — стонал старик, отпихивая баркас от берега.

Григорий силился поднять удилище и не мог. Сухо чмокнув, лопнула толстая леса. Григорий качнулся, теряя равновесие.

— Ну и бугай! — пришептывал Пантелей Прокофьевич, не попадая жалом крючка в насадку.

Взволнованно посмеиваясь, Григорий навязал новую лесу, закинул.

Едва грузило достигло дна, конец погнуло.

— Вот он, дьявол!..— хмыкнул Григорий, с трудом отрывая от дна метнувшуюся к стремени рыбу.

Леса, пронзительно брунжа, зачертила воду, за ней косым зеленоватым полотном вставала вода. Пантелей Прокофьевич перебирал обрубковатыми пальцами держак черпала.

— Заверни его на воду! Держи, а то пилой рубанет!

— Небось!

Большой изжелта-красный сазан поднялся на поверхность, вспенил воду, и угнув тупую лобастую голову, опять шарахнулся вглубь.

— Давит, аж рука занемела... Нет, погоди!

— Держи, Гришка!

— Держу-у-у!

— Гляди, под баркас не пущай!.. Гляди!

Переводя дух, подвел Григорий к баркасу лежавшего на боку сазана. Старик сунулся было с черпалом, но сазан, напрягая последние силы, вновь ушел в глубину.

— Голову ему подымай! Нехай глотнет ветру, он посмирнеет.

Выводив, Григорий снова подтянул к баркасу изму-

ченного сазана. Зевая широко раскрытым ртом, тот ткнулся носом в шершавый борт и стал, переливая шевелящееся оранжевое золото плавников.

— Отвоевался! — крякнул Пантелей Прокофьевич, поддевая его черпалом.

Посидели еще с полчаса. Стихал сазаний бой.

— Сматывай, Гришка. Должно, последнего запрягли, ншо не дождемся.

Собрались. Григорий оттолкнулся от берега. Проехали половину пути. По лицу отца Григорий видел, что хочет тот что-то сказать, но старик молча поглядывал на разметанные под горой дворы хутора.

— Ты, Григорий, вот что...— нерешительно начал он, теребя завязки лежавшего под ногами мешка,— примечаю, ты, никак, с Аксиньей Астаховой...

Григорий густо покраснел, отвернулся. Воротник рубахи, врезаясь в мускулистую прижженную солнцегревом шею, выдавил белую полоску.

— Ты гляди, парень,— уже жестко и зло продолжал старик,— я с тобой не так загутарю. Степан нам сосед, и с его бабой не дозволю баловать. Тут дело могет до греха взыграть, а я наперед упреждаю: примечу — запорю!

Пантелей Прокофьевич ссучил пальцы в узловатый кулак,— жмуря выпуклые глаза, глядел, как с лица сына сливала кровь.

— Наговоры,— глухо, как из воды, буркнул Григорий и прямо в синеватую переносицу поглядел отцу.

— Ты помалкивай.

— Мало что люди гутарют...

— Цыц, сукин сын!

Григорий слег над веслом. Баркас заходил скачками. Завитушками заплясала люлюкающая за кормой вода.

До пристани молчали оба. Уже подъезжая к берегу, отец напомнил:

— Гляди, не забудь, а нет — с нонешнего дня прикрыть все игрища. Чтоб с базу ни шагу. Так-то!

Промолчал Григорий. Примыкая баркас, спросил:

— Рыбу бабам отдать?

— Понеси купцам продай,— помягчел старик,— на табак разживешься.

Покусывая губы, шел Григорий позади отца. «Выкуси, батя, хоть стреноженный уйду ноне на игрище»,— думал, злобно обгрызая глазами крутой отцовский затылок.

Дома Григорий заботливо смыл с сазаньей чешуи присохший песок, продел сквозь жабры хворостинку.

У ворот столкнулся с давнишним другом-одногодком Митькой Коршуновым. Идет Митька, играет концом наборного пояска. Из узеньких щелок желто маслятся круглые с наглинкой глаза. Зрачки — кошачьи, поставленные торчмя, оттого взгляд Митькин текуч, неуловим.

— Куда с рыбой?

— Нонешняя добыча. Купцам несу.

— Моховым, что ли?

— Им.

Митька на глазок взвесил сазана.

— Фунтов пятнадцать?

— С половиной. На безмене прикинул.

— Возьми с собой, торговаться буду.

— Пойдем.

— А магарыч?

— Сладимся, нечего впустую брехать.

От обедни рассыпался по улицам народ.

По дороге рядышком вышагивали три брата по кличке Шамили.

Старший, безрукий Алексей, шел в середине. Тугой воротник мундира прямил ему жилистую шею, редкая, курчавым клинышком, бороденка задорно топорщилась вбок, левый глаз нервически подмаргивал. Давно на стрельбище разорвало в руках у Алексея винтовку, кусок затвора изуродовал щеку. С той поры глаз к делу и не к делу подмигивает; голубой шрам, перепахивая щеку, зарывается в кудели волос. Левую руку оторвало по локоть, но и одной крутит Алексей цигарки искусно и без промаха: прижмет кисет к выпуклому заслону груди, зубами оторвет нужный клочок бумаги, согнет его желобком, нагребет табаку и неуловимо поведет пальцем, скручивая. Не успеет человек оглянуться, а Алексей, помаргивая, уже жует готовую цигарку и просит огоньку.

Хоть и безрукий, а первый в хуторе кулачник. И кулак не особенно чтоб особенный — так, с тыкву-травянку величиной; а случилось как-то на пахоте на быка осерчать, кнут затерялся, стукнул кулаком — лег бык на борозде, из ушей кровь, насилу отлежался. Остальные братья — Мартин и Прохор — до мелочей схожи с Алексеем. Такие же низкорослые, шириной в дуб, только рук у каждого по паре.

Григорий поздоровался с Шамилями, Митька прошел, до хруста отвернув голову. На масленице в кулачной стенке не пожалел Алешка Шамиль молодых Митькиных зубов, махнул наотмашь, и выплюнул Митька на сизый, изодранный коваными каблуками лед два коренных зуба.

Ровняясь с ними, Алексей мигнул раз пять подряд.

— Продай чурбака!

— Купи.

— Почем просишь?

— Пару быков да жену в придачу.

Алексей, щурясь, замахал обрубком руки:

— Чудак, ах, чудак!.. Ох-хо-ха, жену... А приплод возьмешь?

— Себе на завод оставь, а то Шамили переведутся,— зубоскалил Григорий.

На площади у церковной ограды кучился народ. В толпе ктитор [1], поднимая над головой гуся, выкрикивал: «Полтинник! От-да-ли. Кто больше?»

Гусь вертел шеей, презрительно жмурил бирюзинку глаза.

В кругу рядом махал руками седенький, с крестами и медалями, завесившими грудь, старичок.

— Наш дед Гришака про турецкую войну брешет.— Митька указал глазами.— Пойдем послухаем?

— Покель будем слухать — сазан провоняется, распухнет.

— Распухнет — весом прибавит, нам выгода.

На площади, за пожарным сараем, где рассыхаются пожарные бочки с обломанными оглоблями, зеленеет крыша моховского дома. Шагая мимо сарая, Григорий сплюнул и зажал нос. Из-за бочки, застегивая шаровары — пряжка в зубах,— вылезал старик.

— Приспичило? — съязвил Митька.

Старик управился с последней пуговицей и вынул изо рта пряжку.

— А тебе что?

— Носом навтыкать бы надо! Бородой! Бородой! Чтоб старуха за неделю не отбанила.

— Я тебе, стерва, навтыкаю! — обиделся старик.

Митька стал, щуря кошачьи глаза, как от солнца.

— Ишь ты, благородный какой. Сгинь, сукин сын! Что присучился? А то и ремнем!

Посмеиваясь, Григорий подошел к крыльцу моховского дома. Перила — в густой резьбе дикого винограда. На крыльце пятнистая ленивая тень.

— Во, Митрий, живут люди...

— Ручка и то золоченая.— Митька приоткрыл дверь на террасу и фыркнул: — Деда бы энтого направить сюда...

---

[1] Ктитор — церковный староста. *(Здесь и далее примеч. автора.)*

— Кто там? — окликнули их с террасы.

Робея, Григорий пошел первый. Крашеные половицы мол сазаний хвост.

— Вам кого?

В плетеной качалке — девушка. В руке блюдце с клубникой. Григорий молча глядел на розовое сердечко полных губ, сжимавших ягодку. Склонив голову, девушка оглядывала пришедших.

На помощь Григорию выступил Митька. Он кашлянул.

— Рыбки не купите?

— Рыбы? Я сейчас скажу.

Она качнула кресло, вставая,— зашлепала вышитыми, надетыми на босые ноги туфлями. Солнце просвечивало белое платье, и Митька видел смутные очертания полных ног и широкое волнующееся кружево нижней юбки. Он дивился атласной белизне оголенных икр, лишь на круглых пятках кожа молочно желтела.

Митька толкнул Григория.

— Гля, Гришка, ну и юбка... Как скло, насквозь все видать.

Девушка вышла из коридорных дверей, мягко присела на кресло.

— Пройдите на кухню.

Ступая на носках, Григорий пошел в дом. Митька, отставив ногу, жмурился на белую нитку пробора, разделявшую волосы на ее голове на два золотистых полукруга. Девушка оглядела его озорными, неспокойными глазами.

— Вы здешний?

— Тутошний.

— Чей же это?

— Коршунов.

— А звать вас как?

— Митрием.

Она внимательно осмотрела розовую чешую ногтей, быстрым движением подобрала ноги.

— Кто из вас рыбу ловит?

— Григорий, друзьяк мой.

— А вы рыбалите?

— Рыбалю и я, коль охота набредет.

— Удочками?

— И удочками рыбалим, по-нашему — притугами.

— Мне бы тоже хотелось порыбалить,— сказала она, помолчав.

— Что ж, поедем, коль охота есть.

— Как бы это устроить? Нет, серьезно?

— Вставать надо дюже рано.

— Я встану, только разбудить меня надо.

— Разбудить можно... А отец?

— Что отец?

Митька засмеялся.

— Как бы за вора не почел... Собаками ишо притравит.

— Глупости! Я сплю одна в угловой комнате. Вот это окно.— Она указала пальцем.— Если придете за мной — постучите мне в окошко, и я встану.

В кухне дробились голоса: робкий — Григория, и густой, мазутный — кухарки.

Митька, перебирая тусклое серебро казачьего пояска, молчал.

— Женаты вы? — спросила девушка, тепля затаенную улыбку.

— А что?

— Так просто, интересно.

— Нет, холостой.

Митька внезапно покраснел, а она, играя улыбкой и веточкой осыпавшейся на пол тепличной клубники, спрашивала:

— Что же, Митя, девушки вас любят?

— Какие любят, а какие нет.

— Ска-жи-те... А отчего это у вас глаза, как у кота?

— У ...кота? — вконец терялся Митька.

— Вот именно, кошачьи.

— Это от матери, должно... Я тут ни при чем.

— А почему же, Митя, вас не женят?

Митька оправился от минутного смущения и, чувствуя в словах ее неуловимую насмешку, замерцал желтизною глаз.

— Женилка не выросла.

Она изумленно взметнула брови, вспыхнула и встала. С улицы по крыльцу шаги.

Ее коротенькая, таящая смех улыбка жиганула Митьку крапивой. Сам хозяин, Сергей Платонович Мохов, мягко шаркая шевровыми просторными ботинками, с достоинством пронес мимо посторонившегося Митьки свое полнеющее тело.

— Ко мне? — спросил, пройдя, не поворачивая головы.

— Это, папа, рыбу принесли.

Вышел с порожними руками Григорий.

III

Григорий пришел с игрищ после первых кочетов. Из сенцев пахнуло на него запахом перекисших хмелин и пряной сухменью богородициной травки.

На цыпочках прошел в горницу, разделся, бережно повесил праздничные, с лампасами, шаровары, перекрестился, лег. На полу — перерезанная крестом оконного переплета золотая дрема лунного света. В углу под расшитыми полотенцами тусклый глянец серебрёных икон, над кроватью на подвеске тягучий гуд потревоженных мух.

Задремал было, но в кухне заплакал братнин ребенок. Немазаной арбой заскрипела люлька. Дарья сонным голосом бормотнула:

— Цыц, ты, поганое дите! Ни сну тебе, ни покою.— Запела тихонько:

— Колода-дуда,
Иде ж ты была?
— Коней стерегла.
— Чего выстерегла?
— Коня с седлом,
С золотым махром...

Григорий, засыпая под мерный баюкающий скрип, вспомнил: «А ить завтра Петру в лагеря выходить. Останется Дашка с дитем... Косить, должно, без него будем».

Зарылся головой в горячую подушку, в уши назойливо сочится:

— А иде ж твой конь?
— За воротами стоит.
— А иде ж ворота?
— Вода унесла.

Встряхнуло Григория заливистое конское ржанье. По голосу угадал Петрова строевого коня.

Обессилевшими со сна пальцами долго застегивал рубаху, опять почти уснул под текучую зыбь песни:

— А иде ж гуси?
— В камыш ушли.
— А иде ж камыш?
— Девки выжали.
— А иде ж девки?
— Девки замуж ушли.
— А иде ж казаки?
— На войну пошли...

Разбитый сном, добрался Григорий до конюшни, вывел коня на проулок. Щекотнула лицо налетевшая паутина, и неожиданно пропал сон.

По Дону наискось волнистый, никем не езженный лунный шлях. Над Доном — туман, а вверху звездное просо. Конь позади сторожко переставляет ноги. К воде спуск дурной. На той стороне утиный кряк, возле берега в тине взвернул и бухнул по воде омахом охотящийся на мелочь сом.

Григорий долго стоял у воды. Прелью сырой и пресной дышал берег. С конских губ ронялась дробная капель. На сердце у Григория сладостная пустота. Хорошо и бездумно. Возвращаясь, глянул на восход, там уже рассосалась синяя полутьма.

Возле конюшни столкнулся с матерью.

— Это ты, Гришка?

— А то кто ж.

— Коня поил?

— Поил,— нехотя отвечает Григорий.

Откинувшись назад, несет мать в завеске на затоп кизяки, шаркает старчески дряблыми босыми ногами.

— Сходил бы Астаховых побудил. Степан с нашим Петром сбирался ехать.

Прохлада вкладывает в Григория тугую дрожащую пружину. Тело в колючих мурашках. Через три порожка взбегает к Астаховым на гулкое крыльцо. Дверь не заперта. В кухне на разостланной полсти спит Степан, под мышкой у него голова жены.

В поредевшей темноте Григорий видит взбитую выше колен Аксиньину рубаху, березово-белые, бесстыдно раскинутые ноги. Он секунду смотрит, чувствуя, как сохнет во рту и в чугунном звоне пухнет голова.

Воровато повел глазами. Зачужавшим голосом хрипло

— Эй, кто тут есть? Вставайте!

Аксинья всхлипнула со сна.

— Ой, кто такое? Ктой-то? — Суетливо зашарила, забилась в ногах голая ее рука, натягивая рубаху. Осталось на подушке пятнышко уроненной во сне слюны: крепок зоревой бабий сон.

— Это я. Мать послала побудить вас...

— Мы зараз... Тут у нас не влезешь... От блох на полу спим. Степан, вставай, слышишь?

По голосу Григорий догадывается, что ей неловко, и спешит уйти.

* * *

Из хутора в майские лагеря уходило человек тридцать казаков. Место сбора — плац. Часам к семи к плацу потянулись повозки с брезентовыми будками, пешие и конные казаки в майских парусиновых рубахах, в снаряжении.

Петро на крыльце наспех сшивал треснувший чумбур. Пантелей Прокофьевич похаживал возле Петрова коня, подсыпая в корыто овес, изредка покрикивал:

— Дуняшка, сухари зашила? А сало пересыпала солью?

Вся в румяном цвету, Дуняшка ласточкой чертила баз от стряпки к куреню, на окрики отца, смеясь, отмахивалась:

— Вы, батя, свое дело управляйте, а я братушке так уложу, что до Черкасского не ворохнется.

— Не поел? — осведомлялся Петро, слюнявя дратву и кивая на коня.

— Жует,— степенно отвечал отец, шершавой ладонью проверяя потники. Малое дело — крошка или былка прилипнет к потнику, а за один переход в кровь потрет спину коню.

— Доисть Гнедой — попоите его, батя.

— Гришка к Дону сводит. Эй, Григорий, веди коня!

Высокий поджарый донец с белой на лбу вызвездью пошел играючись. Григорий вывел его за калитку,— чуть тронув левой рукой холку, вскочил на него и с места — машистой рысью. У спуска хотел придержать, но конь сбился с ноги, зачастил, пошел под гору намётом. Откинувшись назад, почти лежа на спине коня, Григорий увидел спускавшуюся под гору женщину с ведрами. Свернул со стежки и, обгоняя взбаламученную пыль, врезался в воду.

С горы, покачиваясь, сходила Аксинья, еще издали голосисто крикнула:

— Чертяка бешеный! Чудок конем не стоптал! Вот погоди, я скажу отцу, как ты ездишь.

— Но-но, соседка, не ругайся. Проводишь мужа в лагеря, может, и я в хозяйстве сгожусь.

— Как-то ни черт, нужен ты мне!

— Зачнется покос — ишо попросишь,— смеялся Григорий.

Аксинья с подмостей ловко зачерпнула на коромысле ведро воды и, зажимая промеж колен надутую ветром юбку, глянула на Григория.

— Что ж, Степан твой собрался? — спросил Григорий
— А тебе чего?
— Какая ты... Спросить, что ль, нельзя?
Собрался. Ну?
— Остаешься, стал быть, жалмеркой?
— Стал быть, так.

Конь оторвал от воды губы, со скрипом пожевал стекавшую воду и, глядя на ту сторону Дона, ударил по воде передней ногой. Аксинья зачерпнула другое ведро, перекинув через плечо коромысло, легкой раскачкой пошла на гору. Григорий тронул коня следом. Ветер трепал на Аксинье юбку, перебирал на смуглой шее мелкие пушистые завитки. На тяжелом узле волос пламенела расшитая цветным шелком шлычка, розовая рубаха, заправленная в юбку, не морщинясь, охватывала крутую спину и налитые плечи. Поднимаясь в гору, Аксинья клонилась вперед, ясно вылегала под рубахой продольная ложбинка на спине. Григорий видел бурые круги слинявшей под мышками от пота рубахи, провожал глазами каждое движение. Ему хотелось снова заговорить с ней.

— Небось, будешь скучать по мужу? А?

Аксинья на ходу повернула голову, улыбнулась.

— А то как же. Ты вот женись,— переводя дух, она говорила прерывисто,— женись, а после узнаешь, скучают ай нет по дружечке.

Толкнув коня, равняясь с ней, Григорий заглянул ей в глаза.

— А ить иные бабы ажник рады, как мужей проводют Наша Дарья без Петра толстеть зачинает.

Аксинья, двигая ноздрями, резко дышала; поправляя волосы, сказала:

— Муж — он не уж, а тянет кровя. Тебя-то скоро обженим?

— Не знаю, как батя. Должно, после службы.

— Молодой ишо, не женись.

— А что?

— Сухота одна.— Она глянула исподлобья: не разжимая губ, скупо улыбнулась. И тут в первый раз заметил Григорий, что губы у нее бесстыдно-жадные, пухловатые.

Он, разбирая гриву на прядки, сказал:

— Охоты нету жениться. Какая-нибудь и так полюбит.

— Ай приметил?

— Чего мне примечать... Ты вот проводишь Степана...

— Ты со мной не заигрывай!

Ушибешь?

Степану скажу словцо...

Я твоего Степана...

Гляди, храбрый, слеза капнет.

Не пужай, Аксинья!

Я не пужаю. Твое дело с девками. Пущай утирки тебе вышивают, а на меня не заглядывайся.

Нарошно буду глядеть.

Ну, и гляди.

Аксинья примиряюще улыбнулась и сошла со стежки, норовя обойти коня. Григорий повернул его боком, загородил дорогу.

Пусти, Гришка!

Не пущу.

Не дури, мне надо мужа сбирать.

Григорий, улыбаясь, горячил коня: тот, переступая, теснил Аксинью к яру.

Пусти, дьявол, вон люди! Увидют, что́ подумают?

Она метнула по сторонам испуганным взглядом и прошла, хмурясь и не оглядываясь.

На крыльце Петро прощался с родными. Григорий заседлал коня. Придерживая шашку, Петро торопливо сбежал по порожкам, взял из рук Григория поводья.

Конь, чуя дорогу, беспокойно переступал, пенил, гоняя во рту, мундштук. Поймав ногой стремя, держась за луку, Петро говорил отцу:

— Лысых работой не нури, батя! Заосеняет — продадим. Григорию ить коня справлять. А степную траву, гляди, не продавай: в лугу ноне, сам знаешь, какие сена́ будут.

— Ну, с богом. Час добрый,— проговорил старик, крестясь.

Петро привычным движением вскинул в седло свое сбитое тело, поправил позади складки рубахи, стянутые пояском. Конь пошел к воротам. На солнце тускло блеснула головка шашки, подрагивавшая в такт шагам.

Дарья с ребенком на руках пошла следом. Мать, вытирая рукавом глаза и углом завески покрасневший нос, стояла посреди база.

— Братушка, пирожки! Пирожки забыл!.. Пирожки с картошкой!..

Дуняшка козой скакнула к воротам.

— Чего орешь, дура! — досадливо крикнул на нее Григорий.

— Остались пирожки-и! — прислонясь к калитке, сто-

пала Дуняшка, и на измазанные горячие щеки, а со щек на будничную кофтенку — слезы.

Дарья из-под ладони следила за белой, занавешенной пылью рубахой мужа. Пантелей Прокофьевич, качая подгнивший столб у ворот, глянул на Григория.

— Ворота возьмись поправь да стоянóк на углу врой.— Подумав, добавил, как новость сообщил: — Уехал Петро.

Через плетень Григорий видел, как собирался Степан. Принаряженная в зеленую шерстяную юбку Аксинья подвела ему коня. Степан, улыбаясь, что-то говорил ей. Он не спеша, по-хозяйски, поцеловал жену и долго не снимал руки с ее плеча. Сожженная загаром и работой рука угольно чернела на белой Аксиньиной кофточке. Степан стоял к Григорию спиной; через плетень было видно его тугую, красиво подбритую шею, широкие, немного вислые плечи и — когда наклонялся к жене — закрученный кончик русого уса.

Аксинья чему-то смеялась и отрицательно качала головой. Рослый вороной конь качнулся, подняв на стремени седока. Степан выехал из ворот торопким шагом, сидел в седле, как врытый, а Аксинья шла рядом, держась за стремя, и снизу вверх, любовно и жадно, по-собачьи заглядывала ему в глаза.

Так миновали они соседний курень и скрылись за поворотом.

Григорий провожал их долгим неморгающим взглядом.

IV

К вечеру собралась гроза. Над хутором стала бурая туча. Дон, взлохмаченный ветром, кидал на берега гребнистые частые волны. За левадами палила небо сухая молния, давил землю редкими раскатами гром. Под тучей, раскрылатившись, колесил коршун, его с криком преследовали вороны. Туча, дыша холодком, шла вдоль по Дону, с запада. За займищем грозно чернело небо, степь выжидающе молчала. В хуторе хлопали закрываемые ставни, от вечерни, крестясь, спешили старухи, на плацу колыхался серый столбище пыли, и отягощенную внешней жарою землю уже засевали первые зерна дождя.

Дуняшка, болтая косичками, прожгла по базу, захлопнула дверцу курятника и стала посреди база, раздувая ноздри, как лошадь перед препятствием. На улице взбрыкивали ребятишки. Соседский восьмилеток Мишка вертел-

и, приседая на одной ноге,— на голове у него, закрывая ему глаза, кружился непомерно просторный отцовский картуз,— и пронзительно верещал:

Дождюк, дождюк, припусти,
Мы поедем во кусты,
Богу молиться,
Христу поклониться.

Дуняшка завистливо глядела на босые, густо усыпанные цыпками Мишкины ноги, ожесточенно топтавшие землю. Ей тоже хотелось приплясывать под дождем и мочить голову, чтоб волос рос густой и курчавый; хотелось вот так же, как Мишкиному товарищу, укрепиться на придорожной пыли вверх ногами, с риском свалиться в колючки,— но в окно глядела мать, сердито шлепая губами. Вздохнув, Дуняшка побежала в курень. Дождь спустился ядреный и частый. Над самой крышей лопнул гром, осколки покатились за Дон.

В сенях отец и потный Гришка тянули из боковушки скатанный бредень.

— Ниток суровых и иглу-цыганку, шибко! — крикнул Дуняшке Григорий.

В кухне зажгли огонь. Зашивать бредень села Дарья. Старуха, укачивая дитя, бурчала:

— Ты, старый, сроду на выдумки. Спать ложились бы, гас [1] все дорожает, а ты жгешь. Какая теперича ловля? Куда вас чума понесет? Ишо перетопнете, там ить на базу страсть господня. Ишь, ишь, как полыхает! Господи Иисусе Христе, царица небес...

В кухне на секунду стало ослепительно сине и тихо: слышно было, как ставни царапал дождь,— следом ахнул гром. Дуняшка пискнула и ничком ткнулась в бредень. Дарья мелкими крестиками обмахивала окна и двери.

Старуха страшными глазами глядела на ластившуюся у ног ее кошку.

— Дунька! Го-о-ни ты ее, прок... царица небесная, прости меня, грешницу. Дунька, кошку выкинь на баз. Брысь ты, нечистая сила! Чтоб ты...

Григорий, уронив комол бредня, трясся в беззвучном хохоте.

— Ну, чего вы вскагакались! Цыцте! — прикрикнул Пантелей Прокофьевич.— Бабы, живо зашивайте! Надысь ишо говорил: оглядите бредень.

---

[1] Гас — керосин.

— И какая теперя рыба,— заикнулась было старуха.

— Не разумеешь — молчи! Самое стерлядей на косе возьмем. Рыба к берегу зараз идет, боится бурю. Вода, небось, уж мутная пошла. Ну-ка, выбеги, Дуняшка, послухай — играет ерик?

Дуняшка нехотя, бочком, подвинулась к дверям.

— Кто ж бродить пойдет? Дарье нельзя, могет груди застудить,— не унималась старуха.

— Мы с Гришкой, а с другим бреднем — Аксинью покличем, кого-нибудь ишо из баб.

Запыхавшись, вбежала Дуняша. На ресницах, подрагивая, висели дождевые капельки. Пахнуло от нее отсыревшим черноземом.

— Ерик гудет, ажник страшно!

— Пойдешь с нами бродить?

— А ишо кто пойдет?

— Баб покличем.

— Пойду!

— Ну, накинь зипун и скачи к Аксинье. Ежели пойдет, пущай покличет Малашку Фролову!

— Энта не замерзнет,— улыбнулся Григорий,— на ней жиру, как на добром борове.

— Ты бы сенца сухого взял, Гришунька,— советовала мать,— под сердце подложишь, а то нутрё застудишь.

— Григорий, мотай за сеном. Старуха верное слово сказала.

Вскоре привела Дуняшка баб. Аксинья, в рваной подпоясанной веревкой кофтенке и в синей исподней юбке, выглядела меньше ростом, худее. Она, пересмеиваясь с Дарьей, сняла с головы платок, потуже закрутила в узел волосы и, покрываясь, откинув голову, холодно оглядела Григория. Толстая Малашка подвязывала у порога чулки, хрипела простуженно:

— Мешки взяли? Истинный бог, мы ноне шатанем рыбы.

Вышли на баз. На размякшую землю густо лил дождь, пенил лужи, потоками сползал к Дону.

Григорий шел впереди. Подмывало его беспричинное веселье.

— Гляди, батя, тут канава.

— Эка темень-то!

— Держись, Аксюша, при мне, вместе будем в тюрьме,— хрипло хохочет Малашка.

— Гляди, Григорий, никак, Майданниковых пристань?

Она и есть.

Отсель... зачинать...— осиливая хлобыстающий ветер, кричит Пантелей Прокофьевич.

Не слышно, дяденька! — хрипит Малашка.

Заброди, с богом... Я от глуби. От глуби, говорю... Малашка, дьявол глухой, куда тянешь? Я пойду от глуби! Григорий, Гришка! Аксинья пущай от берега!

У Дона стонущий рев. Ветер на клочья рвет косое полотнище дождя.

Ощупывая ногами дно, Григорий по пояс окунулся в воду. Липкий холод дополз до груди, обручем стянул сердце. В лицо, в накрепко зажмуренные глаза, словно кнутом, стегает волна. Бредень надувается шаром, тянет вглубь. Обутые в шерстяные чулки ноги Григория скользят по песчаному дну. Комол рвется из рук... Глубже, глубже. Уступ. Срываются ноги. Течение порывисто несет к середине, всасывает. Григорий правой рукой с силой гребет к берегу. Черная колышущаяся глубина пугает его, как никогда. Нога радостно наступает на зыбкое дно. В колено стукается какая-то рыба.

— Обходи глубе! — откуда-то из вязкой черни голос отца.

Бредень, накренившись, опять ползет в глубину, опять течение рвет из-под ног землю, и Григорий, задирая голову, плывет, отплевывается.

— Аксинья, жива?

— Жива покуда.

— Никак, перестает дождик?

— Маленький перестает, зараз большой тронется.

— Ты потихоньку. Отец услышит — ругаться будет.

— Испужался отца, тоже...

С минуту тянут молча. Вода, как липкое тесто, вяжет каждое движение.

— Гриша, у берега, кубыть, карша. Надоть обвесть.

Страшный толчок далеко отшвыривает Григория. Грохочущий всплеск, будто с яра рухнула в воду глыбища породы.

— А-а-а-а! — где-то у берега визжит Аксинья.

Перепуганный Григорий, вынырнув, плывет на крик.

— Аксинья!

Ветер и текучий шум воды.

— Аксинья! — холодея от страха, кричит Григорий.

— Э-гей!!. Гри-го-ри-ий! — издалека приглушенный отцов голос.

Григорий кидает взмахи. Что-то вязкое под ногами, схватил рукой: бредень.

— Гриша, где ты?..— плачущий Аксиньин голос.

— Чего ж не откликалась-то?..— сердито орет Григорий, на четвереньках выбираясь на берег.

Присев на корточки, дрожа, разбирают спутанный комом бредень.

Из прорехи разорванной тучи вылупливается месяц. За займищем сдержанно поговаривает гром. Лоснится земля невпитанной влагой. Небо, выстиранное дождем, строго и ясно.

Распутывая бредень, Григорий всматривается в Аксинью. Лицо ее мелово-бледно, но красные, чуть вывернутые губы уже смеются.

— Как оно меня шибанет на берег,— переводя дух, рассказывает она,— от ума отошла. Спужалась до смерти! Я думала — ты утоп.

Руки их сталкиваются. Аксинья пробует просунуть свою руку в рукав его рубахи.

— Как у тебя тепло-то в рукаве,— жалобно говорит она,— а я замерзла. Колики по телу пошли.

— Вот он, проклятущий сомяга, где саданул!

Григорий раздвигает на середине бредня дыру аршина полтора в поперечнике.

От косы кто-то бежит Григорий угадывает Дуняшку. Еще издали кричит ей:

— Нитки у тебя?

— Туточка.

Дуняшка, запыхавшись, подбегает.

— Вы чего ж тут сидите? Батянька прислал, чтоб скорей шли к косе. Мы там мешок стерлядей наловили! — В голосе Дуняшки нескрываемое торжество.

Аксинья, лязгая зубами, зашивает дыру в бредне. Рысью, чтобы согреться, бегут на косу.

Пантелей Прокофьевич крутит цигарку рубчатыми от воды и пухлыми, как у утопленника, пальцами; приплясывая, хвалится:

— Раз забрели — восемь штук, а другой раз...— Он делает передышку, закуривает и молча показывает ногой на мешок.

Аксинья с любопытством заглядывает. В мешке скрежещущий треск: трется живучая стерлядь.

— А вы чего ж отбились?

— Сом бредень просадил.

— Зашили?

— Кое-как, ячейки посцепили...

— Ну, дойдем до колена и — домой. Забредай, Гришка, чего ж взноровился?

Григорий переступает одеревеневшими ногами. Аксинья дрожит так, что дрожь ее ощущает Григорий через бредень.

— Не трясись!

— И рада б, да духу не переведу.

— Давай вот что... Давай вылазить, будь она проклята, рыба эта!

Крупный сазан бьет через бредень. Учащая шаг, Григорий загибает бредень, тянет комол, Аксинья, согнувшись, выбегает на берег. По песку шуршит схлынувшая назад вода, трепещет рыба.

— Через займище пойдем?

— Лесом ближе. Эй, вы там, скоро?

— Идите, догоним. Бредень вот пополоскаем.

Аксинья, морщась, выжала юбку, подхватила на плечи мешок с уловом, почти рысью пошла по косе. Григорий нес бредень. Прошли саженей сто, Аксинья заохала:

— Моченьки моей нету! Ноги с пару зашлись.

— Вот прошлогодняя копна, может, погреешься?

— И то. Покуда до дому дотянешь — помереть можно.

Григорий свернул набок шапку копны, вырыл яму. Слежалое сено ударило горячим запахом прели.

— Лезь в середку. Тут — как на печке.

Аксинья, кинув мешок, по шею зарылась в сено.

— То-то благодать!

Подрагивая от холода, Григорий прилег рядом. От мокрых Аксиньиных волос тек нежный волнующий запах. Она лежала, запрокинув голову, мерно дыша полуоткрытым ртом.

— Волосы у тебя дурнопьяном пахнут. Знаешь, этаким цветком белым...— шепнул, наклонясь, Григорий.

Она промолчала. Туманен и далек был взгляд ее, устремленный на ущерб колёсистого месяца.

Григорий, выпростав из кармана руку, внезапно притянул ее голову к себе. Она резко рванулась, привстала.

— Пусти!

— Помалкивай.

— Пусти, а то зашумлю!

— Погоди, Аксинья...

— Дядя Пантелей!..

— Ай заблудилась? — совсем близко, из зарослей боярышника, отозвался Пантелей Прокофьевич.

Григорий, сомкнув зубы, прыгнул с копны.

— Ты чего шумишь? Ай заблудилась? — подходя, переспросил старик.

Аксинья стояла возле копны, поправляя сбитый на затылок платок, над нею дымился пар.

— Заблудиться-то нет, а вот было-к замерзнула.

— Тю, баба, а вот, гля, копна. Посогрейся.

Аксинья улыбнулась, нагнувшись за мешком.

V

До хутора Сетракова — места лагерного сбора — шестьдесят верст. Петро Мелехов и Астахов Степан ехали на одной бричке. С ними еще трое казаков-хуторян: Федот Бодовсков — молодой калмыковатый и рябой казак, второочередник лейб-гвардии Атаманского полка Хрисанф Токин, по прозвищу Христоня, и батареец Томилин Иван, направлявшийся в Персиановку. В бричку после первой же кормежки запрягли двухвершкового [1] Христониного коня и Степанового вороного. Остальные три лошади, оседланные, шли позади. Правил здоровенный и дурковатый, как большинство атаманцев, Христоня. Колесом согнув спину, сидел он впереди, заслонял в будку свет, пугал лошадей гулким октавистым басом. В бричке, обтянутой новеньким брезентом, лежали, покуривая, Петро Мелехов, Степан и батареец Томилин. Федот Бодовсков шел позади; видно, не в тягость было ему втыкать в пыльную дорогу кривые свои калмыцкие ноги.

Христонина бричка шла головной. За ней тянулись еще семь или восемь запряжек с привязанными оседланными и неоседланными лошадьми.

Вихрились над дорогой хохот, крики, тягучие песни, конское порсканье, перезвяк порожних стремян.

У Петра в головах сухарный мешок. Лежит Петро и крутит желтый длиннющий ус.

— Степан!

— А?

— ...на! Давай служивскую заиграем?

— Жарко дюже. Ссохлось все.

— Кабаков нету на ближних хуторах, не жди!

---

[1] Двухвершковый конь — конь ростом в два аршина и два вершка. В царскую армию казак обязан был явиться со своим конем не ниже двух аршин и полвершка.

Ну, заводи. Да ты ить не мастак. Эх, Гришка ваш дишканит! Потянет, чисто нитка серебряная, не голос. Мы с ним на игрищах драли.

Степан откидывает голову,— прокашлявшись, заводит низким звучным голосом:

Эх ты, зоренька-зарница,
Рано на небо взошла...

Томилин по-бабьи прикладывает к щеке ладонь, подхватывает тонким, стенящим подголоском. Улыбаясь, заправив в рот усину, смотрит Петро, как у грудастого батарейца синеют от усилия узелки жил на висках.

Молодая, вот она, бабенка
Поздно по воду пошла...

Степан лежит к Христоне головой, поворачивается, опираясь на руку; тугая красивая шея розовеет.

— Христоня, подмоги!

А мальчишка, он догадался,
Стал коня свово седлать...

Степан переводит на Петра улыбающийся взгляд выпученных глаз, и Петро, вытянув изо рта усину, присоединяет голос.

Христоня, разинув непомерную залохматевшую щетиной пасть, ревет, сотрясая брезентовую крышу будки:

Оседлал коня гнедого —
Стал бабенку догонять...

Христоня кладет на ребро аршинную босую ступню, ожидает, пока Степан начнет вновь. Тот, закрыв глаза,— потное лицо в тени,— ласково ведет песню, то снижая голос до шепота, то вскидывая до металлического звона:

Ты позволь, позволь, бабенка,
Коня в речке напоить...

И снова колокольно-набатным гудом давит Христоня голоса. Вливаются в песню голоса и с соседних бричек. Поцокивают колеса на железных ходах, чихают от пыли кони, тягучая и сильная, полой водой, течет над дорогой песня. От высыхающей степной музги, из горелой коричневой куги взлетывает белокрылый чибис. Он с криком летит

в лощину; поворачивая голову, смотрит изумрудным глазком на цепь повозок, обтянутых белым, на лошадей, кудрявящих смачную пыль копытами, на шагающих по обочине дороги людей, в белых, просмоленных пылью рубахах. Чибис падает в лощине, черной грудью ударяет в подсыхающую, примятую зверем траву — и не видит, что творится на дороге. А по дороге так же громыхают брички, так же нехотя переступают запотевшие под седлами кони; лишь казаки в серых рубахах быстро перебегают от своих бричек к передней, грудятся вокруг нее, стонут в хохоте.

Степан во весь рост стоит на бричке, одной рукой держится за брезентовый верх будки, другой коротко взмахивает; сыплет мельчайшей, подмывающей скороговоркой:

Не садися возле меня,
Не садися возле меня,
Люди скажут — любишь меня,
Любишь меня,
Ходишь ко мне,
Любишь меня,
Ходишь ко мне,
А я роду не простого...

Десятки грубых голосов хватают на лету, ухают, стелют на придорожную пыль:

А я роду не простого,
Не простого —
Воровского,
Воровского —
Не простого,
Люблю сына князевского...

Федот Бодовсков свищет; приседая, рвутся из постромок кони; Петро, высовываясь из будки, смеется и машет фуражкой; Степан, сверкая ослепительной усмешкой, озорно поводит плечами; а по дороге бугром движется пыль; Христоня, в распоясанной длиннющей рубахе, патлатый, мокрый от пота, ходит вприсядку, кружится маховым колесом, хмурясь и стоная, делает казачка, и на сером шелковье пыли остаются чудовищные разлапистые следы босых его ног.

XI

Около лобастого, с желтой песчаной лысиной кургана остановились ночевать.

С запада шла туча. С черного ее крыла сочился дождь. Поили коней в пруду. Над плотиной горбатились под ветром унылые вербы. В воде, покрытой застойной зеленью и чешуей убогих волн, отражаясь, коверкалась молния. Ветер скупо кропил дождевыми каплями, будто милостыню сыпал на черные ладони земли.

Стреноженных лошадей пустили на попас, назначив в караул трех человек. Остальные разводили огни, вешали котлы на дышла бричек.

Христоня кашеварил. Помешивая ложкой в котле, рассказывал сидевшим вокруг казакам:

...Курган, стал быть, высокий, навроде этого. Я и говорю покойничку бате: «А что, атаман [1] не забастует нас за то, что без всякого, стал быть, дозволенья зачнем курган потрошить?»

— Об чем он тут брешет? — спросил вернувшийся от лошадей Степан.

— Рассказываю, как мы с покойничком батей, царство небесное старику, клад искали.

— Где же вы его искали?

— Это, браток, аж за Фетисовой балкой. Да ты знаешь — Меркулов курган...

— Ну-ну...— Степан присел на корточки, положил на ладонь уголек. Плямкая губами, долго прикуривал, катал его по ладони.

— Ну, вот. Стал быть, батя говорит: «Давай, Христан, раскопаем Меркулов курган». От деда слыхал он, что в нем зарытый клад. А клад, стал быть, не кажному в руки дается. Батя сулил богу: отдашь, мол, клад — церкву прекрасную выстрою. Вот мы порешили и поехали туда. Земля станишная — сумнение от атамана могло только быть. Приезжаем к ночи. Дождались, покель смеркнется, кобы-

---

[1] А т а м а н — у казаков в царской России так назывался выборный начальник всех степеней. Во главе Донского войска стоял в о й с к о в о й а т а м а н, во главе станиц — с т а н и ч н ы е а т а м а н ы, при выступлении казацкого отряда в поход выбирался особый, п о х о д н ы й а т а м а н. В широком смысле это слово значило — старшина. С окончательной утратой самостоятельности донского казачества звание атамана всех казачьих войск было присвоено наследнику престола; фактически казачьими войсками управляли н а к а з н ы е (то есть назначенные) а т а м а н ы.

лу, стал быть, стреножили, а сами с лопатами залезли на макушку. Зачали бузовать прямо с темечка. Вырыли яму аршина на два, земля — чисто каменная, захрясла от давности. Взмок я. Батя всё молитвы шепчет, а у меня, братцы, верите, до того в животе бурчит... В летнюю пору, стал быть, харч вам звестный: кислое молоко да квас... Перехватит поперек живот, смерть в глазах — и все! Батя-покойничек, царство ему небесное, и говорит: «Фу, говорит, Христан, и поганец ты! Я молитву прочитываю, а ты не могешь пищу сдерживать, дыхнуть, стал быть, нечем. Иди, говорит, слазь с кургана, а то я тебе голову лопатой срублю. Через тебя, поганца, клад могет в землю уйтить». Я лег под курганом и страдаю животом, взяло на колотье, а батя-покойничек — здоровый был чертяка! — копает один. И дорылся он до каменной плиты. Кличет меня. Я, стал быть, подовздел ломом, поднял эту плиту... Верите, братцы, ночь месячная была, а под плитой так и блестит...

— Ну, и брешешь ты, Христоня! — не вытерпел Петро, улыбаясь и дергая ус.

— Чего «брешешь»? Пошел ты к тетери-ятери! — Христоня поддернул широченные шаровары и оглядел слушателей.— Нет, стал быть, не брешу! Истинный бог — правда!

— К берегу-то прибивайся!

— Так, братцы, и блестит. Я — глядь, а это, стал быть, сожгённый уголь. Там его было мер сорок. Батя и говорит: «Лезь, Христан, выгребай его». Полез. Кидал, кидал этую страмоту, до самого света хватило. Утром, стал быть, глядь, а он — вот он.

— Кто? — поинтересовался лежавший на попоне Томилин.

— Да атаман, кто же. Едет в пролетке: «Кто дозволил, такие-сякие?» Молчим. Он нас, стал быть, сгреб — и в станицу. Позапрошлый год в Каменскую на суд вызывали, а батя догадался — успел помереть. Отписали бумагой, что в живых его нету.

Христоня снял котел с дымившейся кашей, пошел к повозке за ложками.

— Что ж отец-то? Сулил церкву построить, да так и не построил? — спросил Степан, дождавшись, пока Христоня вернулся с ложками.

— Дурак ты, Степа, что ж он за уголья, стал быть, строил ба?

— Раз сулил — значится, должен.

В счет угольев не было никакого уговору, а клад...

От хохота дрогнул огонь. Христоня поднял от котла пристоватую голову и, не разобрав, в чем дело, покрыл голоса остальных густым гоготом.

VII

Аксинью выдали за Степана семнадцати лет. Взяли ее с хутора Дубровки, с той стороны Дона, с песков.

За год до выдачи осенью пахала она в степи, верст за восемь от хутора. Ночью отец ее, пятидесятилетний старик, связал ей треногой руки и изнасиловал.

— Убью, ежели пикнешь слово, а будешь помалкивать — справлю плюшевую кофту и гетры с калошами. Так и помни: убью, ежели что...— пообещал он ей.

Ночью, в одной изорванной исподнице, прибежала Аксинья в хутор. Валяясь в ногах у матери, давясь рыданиями, рассказывала... Мать и старший брат, атаманец, только что вернувшийся со службы, запрягли в бричку лошадей, посадили с собой Аксинью и поехали туда, к отцу. За восемь верст брат чуть не запалил лошадей. Отца нашли возле стана. Пьяный, спал он на разостланном зипуне, около валялась порожняя бутылка из-под водки. На глазах у Аксиньи брат отцепил от брички барок, ногами поднял спящего отца, что-то коротко спросил у него и ударил окованным барком старика в переносицу. Вдвоем с матерью били его часа полтора. Всегда смирная, престарелая мать исступленно дергала на обеспамятевшем муже волосы, брат старался ногами. Аксинья лежала под бричкой, укутав голову, молча тряслась... Перед светом привезли старика домой. Он жалобно мычал, шарил по горнице глазами, отыскивая спрятавшуюся Аксинью. Из оторванного уха его катилась на подушку кровь. Ввечеру он помер. Людям сказали, что пьяный упал с арбы и убился.

А через год приехали на нарядной бричке сваты за Аксинью. Высокий, крутошеий и статный Степан невесте понравился, на осенний мясоед назначили свадьбу. Подошел такой предзимний, с морозцем и веселым ледозвоном день, окрутили молодых; с той поры и водворилась Аксинья в астаховском доме молодой хозяйкой. Свекровь, высокая, согнутая какой-то жестокой бабьей болезнью старуха, на другой же день после гульбы рано разбудила Аксинью, привела ее на кухню и, бесцельно переставляя рогачи, сказала:

— Вот что, милая моя сношенька, взяли мы тебя не кохаться да не вылеживаться. Иди-ка передои коров, а после становись к печке стряпать. Я — старая, немощь одолевает, а хозяйство ты к рукам бери, за тобой оно ляжет.

В этот же день в амбаре Степан обдуманно и страшно избил молодую жену. Бил в живот, в груди, в спину; бил с таким расчетом, чтобы не видно было людям. С той поры стал он прихватывать на стороне, путался с гулящими жалмерками, уходил чуть не каждую ночь, замкнув Аксинью в амбаре или горенке.

Года полтора не прощал ей обиду: пока не родился ребенок. После этого притих, но на ласку был скуп и попрежнему редко ночевал дома.

Большое многоскотинное хозяйство затянуло Аксинью работой. Степан работал с ленцой: начесав чуб, уходил к товарищам покурить, перекинуться в картишки, побрехать о хуторских новостях, а скотину убирать приходилось Аксинье, ворочать хозяйством — ей. Свекровь была плохая помощница. Посуетившись, падала на кровать и, вытянув в нитку блеклую желтень губ, глядя в потолок зверeющими от боли глазами, стонала, сжималась в комок. В такие минуты на лице ее, испятнанном черными уродливо крупными родинками, выступал обильный пот, в глазах накапливались и часто, одна за другой, стекали слезы. Аксинья, бросив работу, забивалась где-нибудь в угол и со страхом и жалостью глядела на свекровьино лицо.

Через полтора года старуха умерла. Утром у Аксиньи начались предродовые схватки, а к полудню за час до появления ребенка, свекровь умерла на ходу, возле дверей старой конюшни. Повитуха, выбежавшая из куреня предупредить пьяного Степана, чтобы не ходил к родильнице, увидела лежащую с поджатыми ногами Аксиньину свекровь.

Аксинья привязалась к мужу после рождения ребенка, но не было у нее к нему чувства, была горькая бабья жалость да привычка. Ребенок умер, не дожив до года. Старая развернулась жизнь. И когда Мелехов Гришка, заигрывая, стал Аксинье поперек пути, с ужасом увидела она, что ее тянет к черному ласковому парню. Он упорно, с бугаиной настойчивостью, ее обхаживал. И это-то упорство и было страшно Аксинье. Она видела, что он не боится Степана, нутром чуяла, что так он от нее не отступится, и, разумом не желая этого, сопротивляясь всеми силами, замечала за собой, что по праздникам и в будни стала тщательней наряжаться, обманывая себя, норовила почаще попадаться ему

ны глаза. Тепло и приятно ей было, когда черные Гришкины глаза ласкали ее тяжело и исступленно. На заре, просыпаясь доить коров, она улыбалась и, еще не сознавая отчего, вспоминала: «Нынче что-то есть радостное. Что же? Григорий... Гриша...» Пугало это новое, заполнявшее всю ее чувство, и в мыслях шла ощупью, осторожно, как через Дон по мартовскому ноздреватому льду.

Проводив Степана в лагеря, решила с Гришкой видеться как можно реже. После ловли бреднем решение это укрепилось в ней еще прочнее.

VIII

За два дня до троицы хуторские делили луг. На дележ ходил Пантелей Прокофьевич. Пришел оттуда в обед, кряхтя скинул чирики и, смачно почесывая натруженные ходьбой ноги, сказал:

— Досталась нам делянка возле Красного яра. Трава не особо чтоб дюже добрая. Верхний конец до лесу доходит, кой-что — голощечины. Пырейчик проскакивает.

— Когда ж косить? — спросил Григорий.

— С праздников.

— Дарью возьмете, что ль? — нахмурилась старуха.

Пантелей Прокофьевич махнул рукой — отвяжись, мол.

— Понадобится — возьмем. Полудновать-то собирай, чего стоишь, раскрылилась!

Старуха загремела заслонкой, выволокла из печи пригретые щи. За столом Пантелей Прокофьевич долго рассказывал о дележке и жуликоватом атамане, чуть было не обмошенничавшем весь сход.

— Он и энтот год смухлевал,— вступилась Дарья,— отбивали улеши, так он подговаривал все Малашку Фролову конаться.

— Стерва давнишняя,— жевал Пантелей Прокофьевич.

— Батяня, а копнить, гресть кто будет? — робко спросила Дуняшка.

— А ты чего будешь делать?

— Одной, батяня, неуправно.

— Мы Аксютку Астахову покличем. Степан надысь просил скосить ему. Надо уважить.

На другой день утром к мелеховскому базу подъехал верхом на подседланном белоногом жеребце Митька Кор-

шунов. Побрызгивал дождь. Хмарь висела над хутором. Митька, перегнувшись в седле, открыл калитку, въехал на баз. Его с крыльца окликнула старуха.

— Ты, забурунный, чего прибег? — спросила она с видимым неудовольствием. Недолюбливала старая отчаянного и драчливого Митьку.

— И чего тебе, Ильинишна, надоть? — привязывая к перилам жеребца, удивился Митька.— Я к Гришке приехал. Он где?

— Под сараем спит. Тебя, что ж, аль паралик вдарил? Пешки, стал быть, не могешь ходить?

— Ты, тетенька, кажной дыре гвоздь! — обиделся Митька. Раскачиваясь, помахивая и щелкая нарядной плеткой по голенищам лакированных сапог, пошел он под навес сарая.

Григорий спал в снятой с передка арбе. Митька, жмуря левый глаз, словно целясь, вытянул Григория плетью.

— Вставай, мужик!

«Мужик» у Митьки было слово самое ругательное. Григорий вскинулся пружиной.

— Ты чего?

— Будя зоревать!

— Не дури, Митрий, покеда не осерчал...

— Вставай, дело есть.

— Ну?

Митька присел на грядушку арбы, обивая с сапога плетью присохшее грязцо, сказал:

— Мне, Гришка, обидно...

— Ну?

— Да как же,— Митька длинно ругнулся,— он не он,— сотник [1], так и задается.

В сердцах он, не разжимая зубов, быстро кидал слова, дрожал ногами. Григорий привстал.

— Какой сотник?

Хватая его за рукав рубахи, Митька уже тише сказал:

— Зараз седлай коня и побегем в займище. Я ему покажу! Я ему так и сказал: «Давай, ваше благородие,

---

[1] Офицерские чины царской армии имели следующие наименования: 1) подпоручик (в кавалерии — корнет, в казачьих войсках — хорунжий), 2) поручик (у казаков — сотник), 3) штабс-капитан (в кавалерии — штаб-ротмистр, в казачьих войсках — подъесаул), 4) капитан (в кавалерии — ротмистр, в казачьих войсках — есаул), 5) подполковник (у казаков — войсковой старшина), 6) полковник. Первые четыре ступени назывались чинами обер-офицерскими, а последние две — штаб-офицерскими.

спробуем».— «Веди, грит, всех друзьев-товарищев, я вас всех покрою, затем что мать моей кобылы в Петербурге на офицерских скачках призы сымала». Да по мне, его кобыла и с матерью,— да будь они прокляты! — а я жеребца не дам обскакать!

Григорий наспех оделся. Митька ходил за ним по пятам; заикаясь от злобы, рассказывал:

— Приехал на гости к Мохову, купцу, энтот самый сотник. Погоди, чей он прозвищем? Кубыть, Листницкий. Такой из себя тушистый, сурьезный. Очки носит. Ну, да нехай! Даром что в очках, а жеребца не дамся обогнать!

Посмеиваясь, Григорий оседлал старую, оставленную на племя матку и через гуменные ворота — чтоб не видел отец — выехал в степь. Ехали к займищу под горой. Копыта лошадей, чавкая, жевали грязь. В займище возле высохшего тополя их ожидали конные: сотник Листницкий на поджарой красавице кобылице и человек семь хуторских ребят верхами.

— Откуда скакать? — обратился к Митьке сотник, поправляя пенсне и любуясь могучими грудными мускулами Митькиного жеребца.

— От тополя до Царева пруда.

— Где это Царев пруд? — Сотник близоруко сощурился.

— А вон, ваше благородие, возле леса.

Лошадей построили. Сотник поднял над головою плетку. Погон на его плече вспух бугром.

— Как скажу «три» — пускать! Ну? Раз, два... три!

Первый рванулся сотник, припадая к луке, придерживая рукой фуражку. Он на секунду опередил остальных. Митька с растерянно-бледным лицом привстал на стременах — казалось Григорию, томительно долго опускал на круп жеребца подтянутую над головой плеть.

От тополя до Царева пруда — версты три. На полпути Митькин жеребец, вытягиваясь в стрелку, настиг кобылицу сотника. Григорий скакал нехотя. Отстав с самого начала, он ехал куцым намётом, с любопытством наблюдая за удалявшейся, разбитой на звенья цепкой скакавших.

Возле Царева пруда — наносный от вешней воды песчаный увал. Желтый верблюжий горб его чахло порос остролистым змеиным луком. Григорий видел, как на увал разом вскочили и стекли на ту сторону сотник и Митька, за ними поодиночке скользили остальные. Когда подъехал он к пруду, потные лошади уже стояли кучей, спешившиеся ребята окружали сотника. Митька лоснился сдерживаемой

радостью. Торжество сквозило в каждом его движении. Сотник, против ожидания, показался Григорию нимало не сконфуженным; он, прислонясь к дереву, покуривая папироску, говорил, указывая мизинцем на свою, словно выкупанную, кобылицу:

— Я на ней сделал пробег в полтораста верст. Вчера только приехал со станции. Будь она посвежей — никогда, Коршунов, не обогнал бы ты меня.

— Могет быть,— великодушничал Митька.

— Резвей его жеребца по всей округе нету,— завидуя, сказал веснушчатый паренек, прискакавший последним.

— Конь добрячий.— Митька дрожащей от пережитого волнения рукой похлопал по шее жеребца и, деревянно улыбаясь, глянул на Григория.

Они вдвоем отделились от остальных, поехали под горою, а не улицей. Сотник попрощался с ними холодновато, сунул два пальца под козырек и отвернулся.

Уже подъезжая по проулку к двору, Григорий увидел шагавшую им навстречу Аксинью. Шла она, ощипывая хворостинку; увидела Гришку — нагнула голову.

— Чего застыдилась, аль мы телешами едем? — крикнул Митька и подмигнул: — Калинушка моя, эх, горьковатенькая!

Григорий, глядя перед собой, почти проехал мимо и вдруг огрел мирно шагавшую кобылу плетью. Та присела на задние ноги — валягнув, забрызгала Аксинью грязью.

— И-и-и, дьявол дурной!

Круто повернув, наезжая на Аксинью разгоряченной лошадью, Григорий спросил:

— Чего не здороваешься?

— Не сто́ишь того!

— За это вот и обляпал — не гордись!

— Пусти! — крикнула Аксинья, махая руками перед мордой лошади.— Что ж ты меня конем топчешь?

— Это кобыла, а не конь.

— Все одно пусти!

— За что серчаешь, Аксютка? Неужели за надышнее, что в займище?..

Григорий заглянул ей в глаза. Аксинья хотела что-то сказать, но в уголке черного ее глаза внезапно нависла слезинка; жалко дрогнули губы. Она, судорожно глотнув, шепнула:

— Отвяжись, Григорий... Я не серчаю... Я...— И пошла.

Удивленный Григорий догнал Митьку у ворот.

— Придешь ноне на игрище? — спросил тот.
— Нет.
— Что так? Либо ночевать покликала?
Григорий потер ладонью лоб и не ответил.

IX

От троицы только и осталось по хуторским дворам: сухой чабрец, рассыпанный на полах, пыль мятых листьев да морщиненная, отжившая зелень срубленных дубовых и ясеневых веток, приткнутых возле ворот и крылец.

С троицы начался луговой покос. С самого утра зацвело займище праздничными бабьими юбками, ярким шитвом завесок, красками платков. Выходили на покос всем хутором сразу. Косцы и гребельщицы одевались будто на годовой праздник. Так повелось исстари. От Дона до дальних ольховых зарослей шевелился и вздыхал под косами опустошаемый луг.

Мелеховы припозднились. Выехали на покос, когда уже на лугу была чуть не половина хутора.

— Долго зорюешь, Пантелей Прокофьевич! — шумели припотевшие косари.

— Не моя вина, бабья! — усмехался старик и торопил быков плетенным из сырца кнутом.

— Доброе здоровье, односум! Припозднился, браток, припозднился...— Высокий казак в соломенной шляпе качал головой, отбивая у дороги косу.

— Аль трава пересохнет?

— Рысью поедешь — успеешь, а то и пересохнет. Твой улеш в каком месте?

— А под Красным яром.

— Ну, погоняй рябых, а то не доедешь ноне.

Позади на арбе сидела Аксинья, закутавшая от солнца платком все лицо. Из узкой, оставленной для глаз щели она смотрела на сидевшего против нее Григория равнодушно и строго. Дарья, тоже укутанная и принаряженная, свесив меж ребер арбы ноги, кормила длинной, в прожилках, грудью засыпавшего на руках ребенка. Дуняшка подпрыгивала на грядушке, счастливыми глазами разглядывая луг и встречавшихся по дороге людей. Лицо ее, веселое, тронутое загаром и у переносицы веснушками, словно говорило: «Мне весело и хорошо оттого, что день, подсиненный безоблачным небом, тоже весел и хорош; оттого, что на душе вот такой же синий покой и чистота. Мне радостно, и боль-

не и ничего не хочу». Пантелей Прокофьевич, натягивая на ладонь рукав бязевой рубахи, вытирал набегавший из-под козырька пот. Согнутая спина его, с плотно прилипшей рубахой, темнела мокрыми пятнами. Солнце насквозь пронизывало седой каракуль туч, опускало на далекие серебряные обдонские горы, степь, займище и хутор веер дымчатых преломленных лучей.

День перекипал в зное. Обдерганные ветром тучки ползли вяло, не обгоняя тянувшихся по дороге быков Пантелея Прокофьевича. Сам он тяжело поднимал кнут, помахивал им, словно в нерешительности: ударить по острым бычьим кострецам или нет. Быки, видно, понимая это, не прибавляли шагу, так же медленно, ощупью переставляли клешнятые ноги, мотали хвостами. Пыльно-золотистый с оранжевым отливом слепень кружился над ними.

Луг, скошенный возле хуторских гумен, светлел бледно-зелеными пятнами; там, где еще не сняли травы, ветерок шершавил зеленый с глянцевитой чернью травяной шелк.

— Вот наша делянка.— Пантелей Прокофьевич махнул кнутом.

— От лесу будем зачинать? — спросил Григорий.

— Можно и с этого краю. Тут я глаголь вырубил лопатой.

Григорий отпряг занудившихся быков. Старик, посверкивая серьгой, пошел искать отметину — вырубленный у края глаголь.

— Бери косы! — вскоре крикнул он, махая рукой.

Григорий пошел, уминая траву. От арбы по траве потек за ним колыхающийся след. Пантелей Прокофьевич перекрестился на беленький стручок далекой колокольни, взял косу. Горбатый нос его блистал, как свежелакированный, во впадинах черных щек томилась испарина. Он улыбнулся, разом обнажив в вороной бороде несчетное число белых, частых зубов, и занес косу, поворачивая морщинистую шею вправо. Саженное полукружье смахнутой травы легло под его ногами.

Григорий шел за ним следом, полузакрыв глаза, стелил косой травье. Впереди рассыпанной радугой цвели бабьи завески, но он искал глазами одну, белую с прошитой каймой; оглядывался на Аксинью и, снова приноравливаясь к отцову шагу, махал косой.

Аксинья неотступно была в его мыслях; полузакрыв глаза, мысленно целовал ее, говорил ей откуда-то набре-

давние на язык горячие и ласковые слова, потом отбрасывал это, шагал под счет — раз, два, три; память подсовывала отрезки воспоминаний: «Сидели под мокрой копной... в индове свиристела турчелка... месяц над займищем.. и с куста в лужину редкие капли вот так же — раз, два, три... Хорошо, ах, хорошо-то!. »

Возле стана засмеялись. Григорий оглянулся: Аксинья, наклоняясь, что-то говорила лежащей под арбой Дарье, та намахала руками, и снова обе засмеялись. Дуняшка сидела на виё [1], тонюсеньким голоском пела.

«Дойду вон до энтого кустика, косу отобью», — подумал Григорий и почувствовал, как коса прошла по чему-то мязкому. Нагнулся посмотреть: из-под ног с писком заковылял в траву маленький дикий утенок. Около ямки, где было гнездо, валялся другой, перерезанный косой надвое, остальные с чулюканьем рассыпались по траве. Григорий положил на ладонь перерезанного утенка. Изжелта-коричневый, на днях только вылупившийся из яйца, он еще таил в пушке живое тепло. На плоском раскрытом клювике розовенький пузырек кровицы, бисеринка глаза хитро прижмурена, мелкая дрожь горячих еще лапок.

Григорий с внезапным чувством острой жалости глядел на мертвый комочек, лежавший у него на ладони.

— Чего нашел, Гришунька?..

По скошенным рядам, подпрыгивая, бежала Дуняшка. На груди ее метались мелко заплетенные косички. Морщась, Григорий уронил утенка, злобно махнул косой.

Обедали на-скорях. Сало и казачья присяга — откидное кислое молоко, привезенное из дому в сумке,— весь обед.

— Домой ехать не из чего,— сказал за обедом Пантелей Прокофьевич.— Пущай быки пасутся в лесу, а завтра, покель подберет солнце росу, докосим.

После обеда бабы начали гресть. Скошенная трава вяла и сохла, излучая тягучий дурманящий аромат.

Смеркалось, когда бросили косить. Аксинья догребла оставшиеся ряды, пошла к стану варить кашу. Весь день она зло высмеивала Григория, глядела на него ненавидящими глазами, словно мстила за большую, незабываемую обиду. Григорий, хмурый и какой-то полинявший, угнал к Дону поить быков. Отец наблюдал за ним и за Аксиньей все время. Неприязненно поглядывая на Григория, сказал:

— Повечеряешь, а после постереги быков. Гляди, в траву не пущай. Зипун мой возьмешь.

---

[1] Виё — дышло в бычачьей упряжке.

Дарья уложила под арбой дитя и с Дуняшкой пошла в лес за хворостом.

Над займищем по черному недоступному небу, избочившись, шел молодой месяц. Над огнем метелицей порошили бабочки. Возле костра на раскинутом ряднище собрали вечерять. В полевом задымленном котле перекипала каша. Дарья подолом исподней юбки вытерла ложки, крикнула Григорию:

— Иди вечерять!

Григорий в накинутом на плечи зипуне вылез из темноты, подошел к огню.

— Ты чего это такой ненастный? — улыбнулась Дарья.

— К дождю, видно, поясницу ломит,— попробовал Григорий отшутиться.

— Он быков стеречь не хочет, ей-богу.— Дуняшка улыбнулась, подсаживаясь к брату, заговорила с ним, но разговор как-то не плелся.

Пантелей Прокофьевич истово хлебал кашу, хрустел на зубах недоваренным пшеном. Аксинья ела, не поднимая глаз, на шутки Дарьи нехотя улыбалась. Испепеляя щеки, сжигал ее беспокойный румянец.

Григорий встал первый, ушел к быкам.

— Гляди, траву чужую быками не потрави! — вслед ему крикнул отец и поперхнулся кашей, долго трескуче кашлял.

Дуняшка пыжила щеки, надуваясь смехом. Догорал огонь. Тлеющий хворост обволакивал сидевших медовым запахом прижженной листвы.

* * *

В полночь Григорий, крадучись, подошел к стану, стал шагах в десяти. Пантелей Прокофьевич сыпал на арбу переливчатый храп. Из-под пепла золотым павлиньим глазком высматривал не залитый с вечера огонь.

От арбы оторвалась серая укутанная фигура и зигзагами медленно двинулась к Григорию. Не доходя два-три шага, остановилась. Аксинья. Она. Гулко и дробно сдвоило у Григория сердце; приседая, шагнул вперед, откинув полу зипуна, прижал к себе послушную, полыхающую жаром. У нее подгибались в коленях ноги, дрожала вся, сотрясаясь, вызванивая зубами. Рывком кинул ее Григорий на руки — так кидает волк к себе на хребтину зарезанную овцу,— путаясь в полах распахнутого зипуна, задыхаясь, пошел.

Ой, Гри-и-иша... Гри-шень-ка!.. Отец...

Молчи!..

Вырываясь, дыша в зипуне кислиной овечьей шерсти, давясь горечью раскаяния, Аксинья почти крикнула низким стонущим голосом:

Пусти, чего уж теперь... Сама пойду!..

X

Не лазоревым алым цветом [1], а собачьей бесилой, дурнопьяном придорожным цветет поздняя бабья любовь.

С лугового покоса переродилась Аксинья. Будто кто отметину сделал на ее лице, тавро выжег. Бабы при встрече с ней ехидно ощерялись, качали головами вслед, девки завидовали, а она гордо и высоко несла свою счастливую, но срамную голову.

Скоро про Гришкину связь узнали все. Сначала говорили об этом шепотом,— верили и не верили,— но после того как хуторской пастух Кузька Курносый на заре увидел их возле ветряка, лежавших под неярким светом закатного месяца в невысоком жите, мутной прибойной волной покатилась молва.

Дошло и до ушей Пантелея Прокофьевича. Как-то в воскресенье пошел он к Мохову в лавку. Народу — не дотолпишься. Вошел — будто раздались, заулыбались. Протиснулся к прилавку, где отпускали мануфактуру. Товар ему взялся отпускать сам хозяин, Сергей Платонович.

— Что-то тебя давненько не видать, Прокофьич?

— Делишки всё. Неуправка в хозяйстве.

— Что так? Сыны вон какие, а неуправка.

— Что ж сыны-то: Петра в лагеря проводил, двое с Гришкой и ворочаем.

Сергей Платонович надвое развалил крутую гнедоватую бородку, многозначительно скосил глаза на толпившихся казаков.

— Да, голубчик, ты что же это примолчался-то?

— А что?

— Как что? Сына задумал женить, а сам ни гугу.

— Какого сына?

— Григорий у тебя ведь неженатый.

— Покедова ишо не собирался женить.

---

[1] Лазоревым цветком называют на Дону степной тюльпан.

— А я слышал, будто в снохи берешь... Степана Астахова Аксинью.

— Я? От живого мужа... Да ты что ж, Платоныч, навроде смеешься? А?

— Какой смех? Слышал от людей.

Пантелей Прокофьевич разгладил на прилавке развернутую штуку материи и, круто повернувшись, захромал к выходу. Он направился прямо домой. Шел, по-бычьи угнув голову, сжимая связку жилистых пальцев в кулак; заметней припадал на хромую ногу. Минуя астаховский двор, глянул через плетень: Аксинья, нарядная, помолодевшая, покачиваясь в бедрах, шла в курень с порожним ведром.

— Эй, погоди-ка!..

Пантелей Прокофьевич чертом попер в калитку. Аксинья стала, поджидая его. Вошли в курень. Чисто выметенный земляной пол присыпан красноватой супесью, в переднем углу на лавке вынутые из печи пироги. Из горницы пахнет слежалой одеждой и почему-то — анисовыми яблоками.

Под ноги Пантелею Прокофьевичу подошел было поластиться рябой большеголовый кот. Сгорбил спину и дружески толкнулся о сапог. Пантелей Прокофьевич шваркнул его об лавку и, глядя Аксинье в брови, крикнул:

— Ты что ж это?.. А? Не остыл мужьин след, а ты уже хвост набок! Гришке я кровь спущу за это самое, а Степану твоему пропишу!.. Пущай знает!.. Ишь ты, курва, мало тебя били... Чтоб с нонешнего дня и ноги твоей на моем базу не ступало. Шашлы заводить с парнем, а Степан придет да мне же...

Аксинья, сузив глаза, слушала. И вдруг бесстыдно мотнула подолом, обдала Пантелея Прокофьевича запахом бабьих юбок и грудью пошла на него, кривляясь и скаля зубы.

— Ты что мне, свекор? А? Свекор?.. Ты что меня учишь? Иди свою толстозадую учи! На своем базу распоряжайся!.. Я тебя, дьявола хромого, культяпого, в упор не вижу!.. Иди отсель, не спужаешь!

— Погоди, дура!

— Нечего годить, тебе не родить!.. Ступай, откель пришел! А Гришку твоего, захочу — с костями съем и ответа держать не буду!.. Вот на! Выкуси! Ну, люб мне Гришка. Ну? Вдаришь, что ль?.. Мужу пропишешь?.. Пиши хучь наказному атаману, а Гришка мой! Мой! Мой! Владаю им и буду владать!..

Аксинья напирала на оробевшего Пантелея Прокофьевича грудью (билась она под узкой кофточкой, как стрепет в силке), жгла его полымем черных глаз, сыпала слова — одно другого страшней и бесстыжей. Пантелей Прокофьевич, подрагивая бровями, отступал к выходу, нащупал поставленный в углу костыль и, махая рукой, задом отворил дверь. Аксинья вытесняла его из сенцев, задыхаясь, выкрикивала, бесновалась:

- За всю жизнь за горькую отлюблю!.. А там хучь убейте! Мой Гришка! Мой!

Пантелей Прокофьевич, что-то булькая себе в бороду, зачикилял к дому.

Гришку он нашел в горнице. Не говоря ни слова, достал его костылем вдоль спины. Григорий, изогнувшись, повис на отцовской руке.

- За что, батя?

- За дело, су-у-у-кин сын!..

- За что?

— Не пакости соседу! Не страми отца! Не таскайся, кобелина! — хрипел Пантелей Прокофьевич, тягая по горнице Григория, силясь вырвать костыль.

— Драться не дам! — глухо сапнул Григорий и, стиснув челюсти, рванул костыль. На колено его и — хряп!..

Пантелей Прокофьевич — сына по шее тугим кулаком.

— На сходе запорю!.. Ах, ты чертово семя, прокля-я-а-а-тый сын! — Он сучил ногами, намереваясь еще раз ударить.— На Марфушке-дурочке женю!.. Я те выхолощу!.. Ишь ты!..

На шум прибежала мать.

— Прокофьич, Прокофьич!.. Охолонь трошки!.. Погоди!..

Но старик разошелся не на шутку: поднес раз жене, опрокинул столик со швейной машиной и, навоевавшись, вылетел на баз. Не успел Григорий скинуть рубаху с разорванным в драке рукавом, как дверь крепко хлястнула и на пороге вновь тучей буревой укрепился Пантелей Прокофьевич.

— Женить сукиного сына!..— Он по-лошадиному стукнул ногой, уперся взглядом в мускулистую спину Григория.— Женю!.. Завтра же поеду сватать! Дожил, что сыном в глаза смеются!

— Дай рубаху-то надеть, посля женишь.

— Женю!.. На дурочке женю!..— Хлопнул дверью, по крыльцу протарахтели шаги и стихли.

XI

За хутором Сетраковым в степи рядами вытянулись повозки с брезентовыми будками. Невидимо быстро вырос городок, белокрыший и аккуратный, с прямыми улочками и небольшой площадкой в центре, по которой похаживал часовой.

Лагеря зажили обычной для мая месяца, ежегодно однообразной жизнью. По утрам команда казаков, караулившая на попасе лошадей, пригоняла их к лагерям. Начинались чистка, седловка, перекличка, построения. Зычно покрикивал заведующий лагерями штаб-офицер, шумоватый войсковой старшина Попов, горланили, муштруя молодых казаков, обучавшие их урядники. За бугром сходились в атаках, хитро окружали и обходили «противника». Стреляли по мишени из дробовиц. Казаки помоложе охотно состязались в рубке, постарше — отвиливали от занятий.

Люди хрипли от жары и водки, а над длинными шеренгами крытых повозок тек пахучий волнующий ветер, издалека свистели суслики, степь тянула подальше от жилья и дыма выбеленных куреней.

За неделю до выхода из лагерей к Андрею Томилину, родному брату батарейца Ивана, приехала жена. Привезла домашних сдобных бурсаков, всякого угощенья и ворох хуторских новостей.

На другой день спозаранку уехала. Повезла от казаков домашним и близким поклоны, наказы. Лишь Степан Астахов ничего не пересылал с ней. Накануне заболел он, лечился водкой и не видел не только жены Томилина, но и всего белого света. На ученье не поехал; по его просьбе фельдшер кинул ему кровь, поставил на грудь дюжину пиявок. Степан в одной исподней рубахе сидел у колеса своей брички,— фуражка с белым чехлом мазалась, вытирая колесную мазь,— оттопырив губу, смотрел, как пиявки, всосавшись в выпуклые полушария его груди, набухали черной кровью.

Возле стоял полковой фельдшер, курил, процеживая сквозь редкие зубы табачный дым.

— Легчает?

— От грудей тянет. Сердцу кубыть просторней...

— Пиявки — первое средство!

К ним подошел Томилин. Мигнул.

— Степан, словцо бы сказать хотел.

— Говори.

— Поди на-час [1].

Степан, кряхтнув, поднялся, отошел с Томилиным.

— Ну, выкладывай.

— Баба моя приезжала... Ноне уехала.

— А...

— Про твою женёнку по хутору толкуют...

— Что?

Гутарют недобро.

— Ну?

— С Гришкой Мелеховым спуталась. В открытую.

Степан, бледнея, рвал с груди пиявок, давил их ногою. Последнюю раздавил, застегнул воротник рубахи и, словно испугавшись чего-то, снова расстегнул... Белые губы не находили покоя: подрагивая, расползались в нелепую улыбку, ежились, собираясь в синеватый комок... Томилину казалось, что Степан жует что-то твердое, неподатливое на зубы. Постепенно к лицу вернулась краска, прихваченные изнутри зубами, окаменели в недвижности губы. Степан снял фуражку, рукавом размазал по белому чехлу пятно колесной мази, сказал звонко:

— Спасибо за вести.

— Хотел упредить... Ты извиняй... Так, мол, и так дома...

Томилин сожалеюще хлопнул себя по штанине и ушел к нерасседланному коню. Лагеря в гуле голосов. Приехали с рубки казаки. Степан с минуту стоял, разглядывая сосредоточенно и строго черное пятно на фуражке. На сапог ему карабкалась полураздавленная, издыхающая пиявка.

XII

Оставалось полторы недели до прихода казаков из лагерей

Аксинья неистовствовала в поздней горькой своей любви. Несмотря на угрозы отца, Григорий, таясь, уходил к ней с ночи и возвращался с зарей.

За две недели вымотался он, как лошадь, сделавшая непосильный пробег.

От бессонных ночей коричневая кожа скуластого его лица отливала синевою, из ввалившихся глазниц устало глядели черные, сухие глаза.

---

[1] На-час — на минутку.

Аксинья ходила, не кутая лица платком, траурно чернели глубокие ямы под глазами; припухшие, слегка вывернутые, жадные губы ее беспокойно и вызывающе смеялись.

Так необычайна и явна была сумасшедшая их связь, так исступленно горели они одним бесстыдным полымем, людей не совестясь и не таясь, худея и чернея в лицах на глазах у соседей, что теперь на них при встречах почему-то стыдились люди смотреть.

Товарищи Григория, раньше трунившие над ним по поводу связи с Аксиньей, теперь молчали, сойдясь, и чувствовали себя в обществе Григория неловко, связанно. Бабы, в душе завидуя, судили Аксинью, злорадствовали в ожидании прихода Степана, изнывали, снедаемые любопытством. На развязке плелись их предположения.

Если б Григорий ходил к жалмерке Аксинье, делая вид, что скрывается от людей, если б жалмерка Аксинья жила с Григорием, блюдя это в относительной тайне, и в то же время не отказывала бы другим, то в этом не было бы ничего необычного, хлещущего по глазам. Хутор поговорил бы и перестал. Но они жили, почти не таясь, вязало их что-то большое, не похожее на короткую связь, и поэтому в хуторе решили, что это преступно, безнравственно, и хутор прижух в поганеньком выжиданьице: придет Степан — узелок развяжет.

В горнице над кроватью протянута веревочка. На веревочку нанизаны белые и черные порожние, без ниток, катушки. Висят для красоты. На них ночлежничают мухи, от них же к потолку — пряжа паутины. Григорий лежит на голой прохладной Аксиньиной руке и смотрит в потолок на цепку катушек. Аксинья другой рукой — огрубелыми от работы пальцами — перебирает на запрокинутой голове Григория жесткие, как конский волос, завитки. Аксиньины пальцы пахнут парным коровьим молоком; когда поворачивает Григорий голову, носом втыкаясь Аксинье в подмышку,— хмелем невыбродившим бьет в ноздри острый сладковатый бабий пот.

В горнице, кроме деревянной крашеной кровати с точеными шишками по углам, стоит возле дверей окованный уемистый сундук с Аксиньиным приданым и нарядами. Под передним углом — стол, клеенка с генералом Скобелевым, скачущим на склоненные перед ним махровитые знамена; два стула, вверху — образа в бумажных яркоубогих ореолах. Сбоку, на стене — засиженные мухами фотографии. Группа казаков — чубатые головы, выпячен-

ные груди с часовыми цепками, оголенные клинки палашей: Степан с товарищами еще с действительной службы. На вешалке висит неприбранный Степанов мундир. Месяц глазастеет в оконную прорезь, недоверчиво щупает две белые урядницкие лычки на погоне мундира.

Аксинья со вздохом целует Григория повыше переносицы, на развилке бровей.

— Гриша, колосочек мой...

— Чего тебе?

— Осталося девять дён...

— Ишо не скоро.

— Что я, Гриша, буду делать?

— Я почем знаю.

Аксинья удерживает вздох и снова гладит и разбирает спутанный Гришкин чуб.

— Убьет меня Степан...— не то спрашивает, не то утвердительно говорит она.

Григорий молчит. Ему хочется спать. Он с трудом раздирает липнущие веки, прямо над ними — мерцающая синевой чернь Аксиньиных глаз.

— Придет муж — небось, бросишь меня? Побоишься?

— Мне что его бояться, ты — жена, ты и боись.

— Зараз, с тобой, я не боюсь, а посередь дня раздумаюсь — и оторопь возьмет...

Григорий зевает, перекатывая голову, говорит:

— Степан придет — это не штука. Батя вон меня женить собирается.

Григорий улыбается, хочет еще что-то сказать, но чувствует: рука Аксиньи под его головой как-то вдруг дрябло мякнет, вдавливается в подушку и, дрогнув, через секунду снова твердеет, принимает первоначальное положение.

— Кого усватали? — приглушенно спрашивает Аксинья.

— Только собирается ехать. Мать гутарила, кубыть к Коршуновым, за ихнюю Наталью.

— Наталья... Наталья — девка красивая... Дюже красивая. Что ж, женись. Надысь видала ее в церкви... Нарядная была...

Аксинья говорит быстро, но слова расползаются, не доходят до слуха неживые и бесцветные слова.

— Мне ее красоту за голенищу не класть. Я бы на тебе женился.

Аксинья резко выдергивает из-под головы Григория руку, сухими глазами смотрит в окно. По двору — желтая ночная стынь. От сарая — тяжелая тень. Свиристят кузне-

чики. У Дона гудят водяные быки, угрюмые басовитые звуки ползут через одинарное оконце в горницу.

— Гриша!

— Надумала что?

Аксинья хватает неподатливые, черствые на ласку Гришкины руки, жмет их к груди, к холодным, помертвевшим щекам, кричит стонущим голосом:

— На что ты, проклятый, привязался ко мне? Что я буду делать!.. Гри-и-ишка!.. Душу ты мою вынаешь!.. Сгубилась я... Придет Степан — какой ответ держать стану?.. Кто за меня вступится?..

Григорий молчит. Аксинья скорбно глядит на его красивый хрящеватый нос, на покрытые тенью глаза, на немые губы... И вдруг рвет плотину сдержанности поток чувства: Аксинья бешено целует лицо его, шею, руки, жесткую курчавую черную поросль на груди. В промежутки, задыхаясь, шепчет, и дрожь ее ощущает Григорий:

— Гриша, дружечка моя... родимый... давай уйдем. Милый мой! Кинем все, уйдем. И мужа и все кину, лишь бы ты был... На шахты уйдем, далеко. Кохать тебя буду, жалеть... На Парамоновских рудниках у меня дядя родной в стражниках служит, он нам пособит... Гриша! Хучь словцо урони.

Григорий углом переламывает левую бровь, думает и неожиданно открывает горячие свои, нерусские глаза. Они смеются. Слепят насмешкой.

— Дура ты, Аксинья, дура! Гутаришь, а послухать нечего. Ну, куда я пойду от хозяйства? Опять же на службу мне на энтот год. Не годится дело... От земли я никуда не тронусь. Тут степь, дыхнуть есть чем, а там? Прошлую зиму ездил я с батей на станцию, так было-к пропал. Паровозы ревут, дух там чижелый от горелого угля. Как народ живет — не знаю, может, они привыкли к этому самому угару...— Григорий сплевывает и еще раз говорит: — Никуда я с хутора не пойду.

За окном темнеет, на месяц наплыло облачко. Меркнет желтая, разлитая по двору стынь, стираются выутюженные тени, и уже не разобрать, что темнеет за плетнем: прошлогодний порубленный хворост ли, или прислонившийся к плетню старюка-бурьян.

В горнице тоже густеет темень, блекнут Степановы урядницкие лычки на висящем у окна казачьем мундире, и в серой застойной непрогляди Григорий не видит, как у Аксиньи мелкой дрожью трясутся плечи и на подушке молча подпрыгивает стиснутая ладонями голова.

XIII

С того дня, как приезжала баба Томилина, подурнел Степан с лица. Висли на глаза брови, ложбинка глубокая и черствая косо прорезала лоб. Он мало говорил с товарищами, из-за пустяков вспыхивал и начинал ссору, ни с того ни с сего поругался с вахмистром Плешаковым, на Петра Мелехова почти не глядел. Лопнула вожжина дружбы, раньше соединявшая их. В тяжкой накипевшей злобе своей шел Степан под гору, как лошадь, понесшая седока. Домой возвращались они врагами.

Надо же было приключиться такому случаю, ускорившему развязку неопределенных и враждебных отношений, установившихся между ними за последнее время. Из лагерей поехали по-прежнему впятером. В бричку запрягли Петрова коня и Степанова. Христоня на своем ехал верхом. Андрея Томилина трясла лихорадка, лежал он в будке под шинелью. Федот Бодовсков ленился править, поэтому кучеровал Петро. Степан шел возле брички, плетью сбивая пунцовые головки придорожного татарника. Падал дождь. Густой чернозем смолою крутился на колесах. Небо по-осеннему сизело, запеленатое в тучи. Спустилась ночь. Огней хутора, сколько ни приглядывались, не было видно. Петро щедро сыпал лошадям кнута. И вот тут-то в темноте крикнул Степан:

— Ты что же... Своего коня прижеливаешь, а с моего кнут не сходит?

— Гляди дюжей. Чей не тянет, того и погоняю.

— Как бы я тебя не подпрег. Турки — они тягущи...

Петро бросил вожжи.

— Тебе что надо?

— Сиди уж, не вставай.

— То-то, помолчал бы.

— Ты чего к нему прискипался? — загудел Христоня, подъезжая к Степану.

Тот промолчал. В темноте не видно было его лица. С полчаса ехали молча. Шелестела под колесами грязь. Дремотно вызванивал по брезентовой крыше будки сеянный на сито дождь. Петро, бросив вожжи, курил. Перебирал в уме все те обидные слова, которые он при новой стычке скажет Степану. Его подмывала злоба. Хотелось хлестко выругать этого подлеца Степана, осмеять.

— Посторонись. Дай в будку пролезть.— Степан легонько толкнул Петра, вскочил на подножку.

Тут-то неожиданно дернулась бричка и стала. Осколь-

нались по грязи, затопотали лошади, из-под подков брызнули искры. Громыхнул натянутый барок.

— Трррр!..— крикнул Петро, прыгая с брички.

— Что там такое? — всполошился Степан.

Подскакал Христоня.

— Обломались, черти?

— Засвети огонь.

— Серники у кого?

— Степан, кинь серники!

Впереди, всхрапывая, билась лошадь. Кто-то чиркнул спичкой. Оранжевое колечко света — и опять темь. Дрожащими руками Петро щупал спину упавшей лошади. Дернул под уздцы.

— Но!..

Лошадь, вздохнув, повалилась на бок, хряпнуло дышло. Подбежавший Степан зажег щепоть спичек. Конь его лежал, вскидывая голову. Передняя нога по колено торчала в заваленной сурчине.

Христоня, суетясь, отцепил постромки.

— Ногу ему выручай!

— Отпрягай Петрова коня, ну, живо!

— Стой, про-кля-тый! Трррр!..

— Он брыкается, дьявол. Сторонись!

С трудом подняли Степанова коня на ноги. Измазанный Петро держал его под уздцы, Христоня ползал в грязи на коленях, ощупывая безжизненную поднятую ногу.

— Должно, переломил...— пробасил он.

Федот Бодовсков шлепнул по дрожащей лошадиной спине ладонью.

— А ну, проведи. Может, пойдет?

Петро потянул на себя поводья. Конь прыгнул, не наступая на левую переднюю, и заржал. Томилин, надевая шинель в рукава, горестно топтался около.

— Врюхались!.. Сгубили коня, эх!..

Молчавший все время Степан словно этого и ждал: отпихнув Христоню, кинулся на Петра. Целил в голову, но промахнулся — в плечо попал. Сцепились. Упали в грязь. Треснула на ком-то рубаха. Степан подмял Петра и, придавив коленом голову, гвоздил кулачьями. Христоня растянул их, матерясь.

— За что?..— выхаркивая кровь, кричал Петро.

— Правь, гадюка! Бездорожно не езди!..

Петро рванулся из Христониных рук.

— Но-но-но! Балуй у меня! — гудел тот, одной рукой прижимая его к бричке.

В пару к Петрову коню припрягли низкорослого, но тягущего конишку Федота Бодовскова.

— Садись на моего! — приказал Степану Христоня. Сам полез в будку к Петру.

Уже в полночь приехали на хутор Гниловской. Стали у крайнего куренька. Христоня пошел проситься на ночевку. Не обращая внимания на кобеля, хватавшего его за полы шинели, он прошлюхал к окну, открыл ставень, поскреб ногтем о стекло.

— Хозяин!

Шорох дождя и заливистый собачий брех.

— Хозяин! Эй, добрые люди! Пустите ради Христа заночевать. А? Служивые, из лагерей. Сколько? Пятеро нас. Ага, ну, спаси Христос. Заезжай! — крикнул он, поворачиваясь к воротам.

Федот ввел во двор лошадей. Споткнулся о свиное корыто, брошенное посреди двора, выругался. Лошадей поставили под навес сарая. Томилин, вызванивая зубами, пошел в хату. В будке остались Петро и Христоня.

На заре собрались ехать. Вышел из хаты Степан, за ним семенила древняя горбатая старушонка. Христоня, запрягавший коней, пожалел ее:

— Эх, бабуня, как тебя согнуло-то! Небось, в церкви поклоны класть способно, чудок нагнулась — и вот он пол.

— Соколик мой, атаманец, мне — поклоны класть, на тебе — собак вешать способно... Всякому свое,— старуха сурово улыбнулась, удивив Христоню густым рядом несъеденных мелких зубов.

— Ишь ты, какая зубастая, чисто щука. Хучь бы мне на бедность подарила с десяток. Молодой вот, а жевать нечем.

— А я с чем останусь, хороший мой?

— Тебе, бабка, лошадиные вставим. Все одно помирать, а на том свете на зубы не глядят: угодники — они ить не из цыганев.

— Мели, Емеля,— улыбнулся, влезая на бричку, Томилин.

Старуха прошла со Степаном под сарай.

— Какой из них?

— Вороной,— вздохнул Степан.

Старуха положила на землю свой костыль и мужским, уверенно сильным движением подняла коню испорченную ногу. Скрюченными тонкими пальцами долго щупала коленную чашечку. Конь прижимал уши, ощеряя коричневый навес зубов, приседал от боли на задние ноги.

— Нет полому, казачок, нету. Оставь, полечу.

— Толк-то будет, бабуня?

— Толк? А кто ж его знает, славный мой... Должно, будет толк.

Степан махнул рукой и пошел к бричке.

— Оставишь ай нет? — щурилась вслед старуха.

— Пущай остается.

— Она его вылечит: оставил об трех ногах — возьмешь кругом без ног. Ветинара с горбом нашел,— хохотал Христоня.

XIV

— ...Тоскую по нем, родная бабунюшка. На своих глазыньках сохну. Не успеваю юбку ушивать — что ни день, то шире становится... Пройдет мимо база, а у меня сердце закипает... упала б наземь, следы б его целовала... Может, присушил чем?.. Пособи, бабунюшка! Женить его собираются... Пособи, родная! Что сто̀ит — отдам. Хучь последнюю рубаху сыму, только пособи!

Светлыми, в кружеве морщин, глазами глядит бабка Дроздиха на Аксинью, качает головой под горькие слова рассказа.

— Чей же паренек-то?

— Пантелея Мелехова.

— Турка, что ли?

— Его.

Бабка жует ввалившимся ртом, медлит с ответом.

— Придешь, бабонька, пораньше завтра. Чуть займется зорька, придешь. К Дону пойдем, к воде. Тоску отольем. Сольцы прихвати щепоть из дому... Так-то.

Аксинья кутает желтым полушалком лицо и, сгорбившись, выходит за ворота.

Темная фигура ее рассасывается в ночи. Сухо черкают подошвы чириков. Смолкают и шаги. Где-то на краю хутора дерутся и ревут песни.

С рассветом Аксинья, не спавшая всю ночь,— у Дроздихиного окна.

— Бабушка!

— Кто там?

— Я, бабушка. Вставай.

— Зараз оденусь.

По проулку спускаются к Дону. У пристани, возле мостков, мокнет в воде брошенный передок арбы. Песок

у воды ледянисто колок. От Дона течет сырая, студеная мгла.

Дроздиха берет костистой рукой Аксиньину руку, тянет ее к воде.

— Соль взяла? Дай сюды. Кстись на восход.

Аксинья крестится. Злобно глядит на счастливую розовость востока.

— Зачерпни воды в пригоршню. Испей,— командует Дроздиха.

Аксинья, измочив рукава кофты, напилась. Бабка черным пауком раскорячилась над ленивой волной, присела на корточки, зашептала:

— Студены ключи, со дна текучие... Плоть горючая... Зверем в сердце... Тоска-лихоманица... И крестом святым... Пречистая, пресвятая... Раба божия Григория...— доносилось до слуха Аксиньи.

Дроздиха посыпала солью влажную песчаную россыпь под ногами, сыпанула в воду, остатки — Аксинье за пазуху.

— Плесни через плечо водицей. Скорей!

Аксинья проделала. С тоской и злобой оглядела коричневые щеки Дроздихи.

— Все, что ли?

— Поди, милая, позорюй. Все.

Запыхавшись, прибежала Аксинья домой. На базу мычали коровы. Мелехова Дарья, заспанная и румяная, поводя красивыми дугами бровей, гнала в табун своих коров. Она, улыбаясь, оглядела бежавшую мимо Аксинью.

— Здорово ночевала, соседка!

— Слава богу.

— Гдей-то спозаранку моталась?

— Тут в одно место, по делу.

Зазвонили к утрене. Рассыпчато и ломко падали медноголосые всплески. На проулке щелкал арапником подпасок.

Аксинья, спеша, выгнала коров, понесла в сенцы цедить молоко. Вытерла о завеску руки с засученными по локоть рукавами; думая о чем-то своем, плескала в запенившуюся цедилку молоко.

По улице резко зацокали колеса. Заржали кони. Аксинья подставила цибарку, пошла глянуть в окно.

К калитке, придерживая шашку, шел Степан. Обгоняя друг друга, скакали к площади казаки. Аксинья скомкала в пальцах завеску и села на лавку. По крыльцу шаги... Шаги в сенцах... Шаги у самой двери...

Степан стал на пороге, исхудавший и чужой.

— Ну...

Аксинья, вихляясь всем своим крупным, полным телом, пошла навстречу.

— Бей! — протяжно сказала она и стала боком.

— Ну, Аксинья...

— Не таюсь,— грех на мне. Бей, Степан!

Она, вобрав голову в плечи, сжавшись в комок, защищая руками только живот, стояла к нему лицом. С тупого, обезображенного страхом лица глядели глаза в черных кругах, не мигая. Степан качнулся и прошел мимо. Пахнуло запахом мужского пота и полынной дорожной горечью от нестираной рубахи. Он, не скинув фуражки, лег на кровать. Полежал, повел плечом, сбрасывая портупею. Всегда лихо закрученные русые усы его квело свисали вниз. Аксинья, не поворачивая головы, сбоку глядела на него. Редко вздрагивала. Степан положил ноги на спинку кровати. С сапог вязко тянулась закрутевшая грязь. Он смотрел в потолок, перебирал пальцами ременный темляк шашки.

— Ишо не стряпалась?

— Нет...

— Собери-ка что-нибудь пожрать.

Хлебал из чашки молоко, обсасывая усы. Хлеб жевал подолгу, на щеках катались обтянутые розовой кожей желваки. Аксинья стояла у печки. С жарким ужасом глядела на маленькие хрящеватые уши мужа, ползавшие при еде вверх и вниз.

Степан вылез из-за стола, перекрестился.

— Расскажи, милаха,— коротко попросил он.

Нагнув голову, Аксинья собирала со стола. Молчала.

— Расскажи, как мужа ждала, мужнину честь берегла? Ну?

Страшный удар в голову вырвал из-под ног землю, кинул Аксинью к порогу. Она стукнулась о дверную притолоку спиной, глухо ахнула.

Не только бабу квелую и пустомясую, а и ядреных каршеватых атаманцев умел Степан валить с ног ловким ударом в голову. Страх ли поднял Аксинью, или снесла бабья живучая натура, но она отлежалась, отдышалась, встала на четвереньки.

Закуривал Степан посреди хаты и прозевал, как поднялась Аксинья в дыбки. Кинул на стол кисет, а она уже дверью хлопнула. Погнался.

Аксинья, залитая кровью, ветром неслась к плетню,

отделявшему их двор от мелеховского. У плетня Степан настиг ее. Черная рука его ястребом упала ей на голову. Промеж сжатых пальцев набились волосы. Рванул и повалил на землю, в золу — в ту золу, которую Аксинья, истопив печь, изо дня в день сыпала у плетня.

Что из того, что муж, заложив руки за спину, охаживает собственную жену сапогами?.. Шел мимо безрукий Алешка Шамиль, поглядел, поморгал и раздвинул кустастую бороденку улыбкой: очень даже понятно, за что жалует Степан свою законную.

Остановился бы Шамиль поглядеть (на кого ни доведись, все ж таки любопытно ведь) — до смерти убьет или нет, — но совесть не дозволяет. Не баба, как-никак.

Издали на Степана глядеть — казачка человек вытанцовывает. Так и подумал Гришка, увидев из окна горницы, как подпрыгивает Степан. А доглядел — и выскочил из куреня. К плетню бежал на цыпочках, плотно прижав к груди занемевшие кулаки; за ним следом тяжко тупал сапогами Петро.

Через высокий плетень Григорий махнул птицей. С разбегу сзади хлобыстнул занятого Степана. Тот качнулся и, обернувшись, пошел на Гришку медведем.

Братья Мелеховы дрались отчаянно. Клевали Степана, как стервятники падаль. Несколько раз Гришка катился наземь, сбитый Степановой кулачной свинчаткой. Жидковат был против заматеревшего Степана. Но низенький вьюн Петро гнулся под ударами, как камыш под ветром, а на ногах стоял твердо.

Степан, сверкая одним глазом (другой затек опухолью цвета недоспелой сливы), отступал к крыльцу.

Разнял их Христоня, пришедший к Петру за уздечкой.

— Разойдись! — махал он клешнятыми руками.— Разойдись, а то к атаману!

Петро бережно выплюнул на ладонь кровь и половину зуба, сказал хрипло:

— Пойдем, Гришка. Мы его в однорядь подсидим...

— Нешто не попадешься ты мне! — грозил с крыльца подсиненный во многих местах Степан.

— Ладно, ладно!

— И без ладного душу с потрохами выну!

— Ты всурьез или шутейно?

Степан быстро сошел с крыльца. Гришка рванулся к нему навстречу, но Христоня, толкая его в калитку, пообещал:

— Только свяжись — измотаю, как цуцика!

С этого дня в калмыцкий узелок завязалась между Мелеховыми и Степаном Астаховым злоба.

Суждено было Григорию Мелехову развязывать этот узелок два года спустя в Восточной Пруссии, под городом Столыпином.

XV

— Петру скажи, чтоб запрягал кобылу и своего коня.

Григорий вышел на баз. Петро выкатывал из-под навеса сарая бричку.

— Батя велит запрягать кобылу и твоего.

— Без него знаем. Пущай заткнется! — направляя дышло, отозвался Петро.

Пантелей Прокофьевич, торжественный, как ктитор у обедни, дохлебывал щи, омывался горячим потом.

Дуняшка шустро оглядела Григория, где-то в тенистом холодке выгнутых ресниц припрятала девичий свой смешок-улыбку. Ильинична, кургузая и важная, в палевой праздничной шали, тая в углах губ материнскую тревогу, взглянула на Григория и — к старику:

— Будя тебе, Прокофьич, напихиваться. Чисто оголодал ты!

— Поисть не даст. То-то латоха́!

В дверь просунул длинные пшенично-желтые усы Петро.

— Пжалте, фаитон подан.

Дуняшка прыснула смехом и закрылась рукавом.

Прошла через кухню Дарья, поиграла тонкими ободьями бровей, оглядывая жениха.

Свахой ехала двоюродная сестра Ильиничны, жох-баба, вдовая тетка Василиса. Она первая угнездилась в бричке, вертя круглой, как речной голыш, головой, посмеиваясь, из-под оборки губ показывая кривые черные зубы.

— Ты, Васенка, там-то не скалься,— предупредил ее Пантелей Прокофьевич,— могешь все дело испакостить через свою пасть... Зубы-то у тебя пьяные посажены в рот: один туда кривится, другой совсем наоборот даже...

— Эх, куманек, не за меня сватают-то. Не я женихом.

— Так-то так, а все ж таки не смеись. Дюже уж зубы-то не того... Чернота одна, погано глядеть даже.

Василиса обижалась, а тем часом Петро расхлебенил ворота. Григорий разобрал пахучие ременные вожжи, вскочил на козлы. Пантелей Прокофьевич с Ильинич-

ной в заду брички рядком, ни дать ни взять — молодые.

— Кнута им ввали! — крикнул Петро, выпуская из рук поводья.

— Играй, черт! — Гришка куснул губу и — кнутом коня, перебиравшего ушами.

Лошади натянули постромки, резво взяли с места.

— Гляди! Зацепишься!..— взвизгнула Дарья, но бричка круто вильнула и, подпрыгивая на придорожных кочках, затараторила вдоль по улице.

Свешиваясь набок, Григорий горячил кнутом игравшего в упряжке Петрова строевика. Пантелей Прокофьевич ладонью держал бороду, словно опасаясь, что подхватит и унесет ее ветер.

— Кобылу рубани! — ворочая по сторонам глазами, сипел он, наклоняясь к Григорьевой спине.

Ильинична кружевным рукавом кофты вытирала выжатую ветром слезинку, мигая, глядела, как на спине Григория трепещет, надуваясь от ветра горбом, сатиновая синяя рубаха. Встречные казаки сторонились, подолгу глядели вслед. Собаки, выскакивая из дворов, катились под ноги лошадям. Лая не было слышно за гулом заново ошиненных колес.

Григорий не жалел ни кнута, ни лошадей, и через десять минут хутор лег позади, у дороги зелено закружились сады последних дворов. Коршуновский просторный курень. Дощатый забор. Григорий дернул вожжи, и бричка, оборвав железный рассказ на полуслове, стала у крашеных, в мелкой резьбе, ворот.

Григорий остался у лошадей, а Пантелей Прокофьевич захромал к крыльцу. За ним в шелесте юбок поплыли красномаковая Ильинична и Василиса, неумолимо твердо спаявшая губы. Старик спешил, боясь утратить припасенную дорогой смелость. Он споткнулся о высокий порожек, зашиб хромую ногу и, морщась от боли, буйно затопотал по вымытым сходцам.

Вошел он в курень почти вместе с Ильиничной. Ему невыгодно было стоять рядом с женой, была она выше его на добрую четверть, поэтому он ступил от порога шаг вперед, поджав по-кочетиному ногу, и, скинув фуражку, перекрестился на черную, мутного письма икону.

— Здоро́во живете!

— Слава богу,— ответил, привстав с лавки, хозяин — невысокий конопатый престарелый казак.

— Принимай гостей, Мирон Григорьевич!

— Гостям завсегда рады. Марья, дай людям на что присесть.

Пожилая плоскогрудая хозяйка для виду обмахнула табуреты, подвинула их гостям. Пантелей Прокофьевич сел на краешек, вытирая утиркой взмокший смуглый лоб.

— А мы это к вам по делу,— начал он без обиняков.

В этом месте речи Ильинична и Василиса, подвернув юбки, тоже присели.

— Жалься: по какому такому делу,— улыбнулся хозяин.

Вошел Григорий. Зыркнул по сторонам.

— Здорово ночевали.

— Слава богу,— протяжно ответила хозяйка.

— Слава богу,— подтвердил и хозяин. Сквозь веснушки, устрекавшие его лицо, проступила коричневая краска: тут только догадался он, зачем приехали гости.— Скажи, чтоб коней ихних ввели на баз. Нехай им сена кинут,— обратился он к жене.

Та вышла.

— Дельце к вам по малости имеем...— продолжал Пантелей Прокофьевич. Он ворошил кудрявую смолу бороды, подергивал в волнении серьгу.— У вас — девка невеста, у нас — жених... Не снюхаемся ли каким случаем? Узнать бы хотелось — будете ли вы ее выдавать зараз, нет ли? А то, может, и породнились бы?

— Кто же ее знает...— Хозяин почесал лысеющую голову.— Не думали, признаться, в нонешний мясоед выдавать. Тут делов пропастишша, а тут-таки и годков ей не дюже чтоб много. Осьмнадцатая весна только перешла. Так ить, Марья?

— Так будет.

— Теперича самое светок лазоревый, что ж держать,— аль мало перестарков в девках кулюкают? — выступила Василиса, ерзая по табурету (ее колол украденный в сенцах и сунутый под кофту веник: по приметам, сваты, укравшие у невесты веник, не получат отказа).

— За нашу наезжали сваты ишо на провесне. Наша не засидится. Девка — нечего бога-милостивца гневовать — всем взяла: что нá полях, что дома...

— Попадется добрый человек, и выдать можно,— протиснулся Пантелей Прокофьевич в бабий трескучий разговор.

— Выдать не вопрос,— чесался хозяин,— выдать в любое время можно.

Пантелей Прокофьевич подумал, что им отказывают,— заторичился.

Оно само собой — дело хозяйское... Жених, он навроде старца, где хошь просит. А уж раз вы, к примеру, ищете, может, купецкого звания жениха аль ишо что, то уж, совсем наоборот, звиняйте.

Дело и сорвалось бы: Пантелей Прокофьевич пыхтел и наливался бураковым соком, невестина мать кудахтала, как наседка на тень коршуна, но в нужную минуту ввязалась Василиса. Посыпала мелкой тишайшей скороговоркой, будто солью на обожженное место, и связала разрыв.

Что уж там, родимые мои! Раз дело такое зашло, значится надо порешить его порядком и дитю своему на счастье... Хучь бы и Наталья — да таких-то девок по белу свету поискать! Работа варом в руках: что рукодельница, что хозяйка! И собою, уж вы, люди добрые, сами видите.— Она разводила с приятной округлостью руками, обращаясь к Пантелею Прокофьевичу и надутой Ильиничне.— Он и женишок хучь куда. Гляну, ажник сердце в тоску вдарится, до чего ж на моего покойного Донюшку схож... и семейство ихнее шибко работящее. Прокофьич-то — кинь по округе — всему свету звестный человек и благодетель... По доброму слову, аль мы детям своим супротивники и лиходеи?

Тек Пантелею Прокофьевичу в уши патокой свашенькин журчливый голосок. Слушал старик Мелехов и думал, восхищаясь: «Эк чешет, дьявол, языкастая! Скажи, как чулок вяжет. Петлюет — успевай разуметь, что и к чему. Иная баба забьет и казака разными словами... Ишь ты, моль в юбке!» — любовался он свахой, пластавшейся в похвалах невесте и невестиной родне, начиная с пятого колена.

— Чего и гутарить, зла мы дитю своему не желаем.

— Про то речь, что выдавать кубыть и рано,— миротворил хозяин, лоснясь улыбкой.

— Не рано! Истинный бог, не рано! — уговаривал его Пантелей Прокофьевич.

— Придется, рано ль, поздно ль, расставаться...— всхлипнула хозяйка полупритворно, полуискренне.

— Кличь дочерю, Мирон Григорьевич, поглядим.

— Наталья!

В дверях несмело стала невеста, смуглыми пальцами суетливо перебирая оборку фартука.

— Пройди, пройди! Ишь засовестилась,— подбодрила мать и улыбнулась сквозь слезную муть.

Григорий, сидевший возле тяжелого — в голубых слинялых цветах — сундука, глянул на нее.

Под черной стоячей пылью коклюшкового[1] шарфа смелые серые глаза. На упругой щеке дрожала от смущения и сдержанной улыбки неглубокая розовеющая ямка. Григорий перевел взгляд на руки: большие, раздавленные работой. Под зеленой кофточкой, охватившей плотный сбитень тела, наивно и жалко высовывались, поднимаясь вверх и врозь, небольшие девичье-каменные груди, пуговками торчали остренькие соски.

Григорьевы глаза в минуту обежали всю ее — с головы до высоких красивых ног. Осмотрел, как барышник оглядывает матку-кобылицу перед покупкой, подумал: «Хороша»,— и встретился с ее глазами, направленными на него в упор. Бесхитростный, чуть смущенный, правдивый взгляд словно говорил: «Вот я вся, какая есть. Как хочешь, так и суди меня».— «Славная»,— ответил Григорий глазами и улыбкой.

— Ну ступай.— Хозяин махнул рукой.

Наталья, прикрывая за собой дверь, глянула на Григория, не скрывая улыбки и любопытства.

— Вот что, Пантелей Прокофьевич,— начал хозяин, переглянувшись с женой,— посоветуйте вы, и мы посоветуем промеж себя, семейно. А потом уж и порешим дело, будем мы сватами аль не будем.

Сходя с крыльца, Пантелей Прокофьевич сулил:

— К пребудущему воскресенью набегем.

Хозяин, провожавший их до ворот, умышленно промолчал, как будто ничего и не слышал.

XVI

Только после того как узнал от Томилина про Аксинью, понял Степан, вынашивая в душе тоску и ненависть, что, несмотря на плохую жизнь с ней, на ту давнишнюю обиду, любил он ее тяжкой, ненавидящей любовью.

По ночам лежал в повозке, укрывшись шинелью, заломив над головою руки, думал о том, как вернется домой, как встретит его жена, и чувствовал, словно вместо сердца копошится в груди ядовитый тарантул... Лежал, готовя в уме тысячи подробностей расправы, и было такое ощу-

---

[1] Коклюшковый — связанный на коклюшках, то есть на палочках.

шенье, будто на зубах зернистый и крупный песок. Расплескал злобу в драке с Петром. Домой приехал вялый, поэтому-то легко отделалась Аксинья.

С того дня прижился в астаховском курене невидимый покойник. Аксинья ходила на цыпочках, говорила шепотом, но в глазах, присыпанных пеплом страха, чуть приметно тлел уголек, оставшийся от зажженного Гришкой пожара.

Вглядываясь в нее, Степан скорее чувствовал это, чем видел. Мучился. По ночам, когда в кухне над камельком засыпало мушиное стадо и Аксинья, дрожа губами, стлала постель, бил ее Степан, зажимая рот черной шершавой ладонью. Выспрашивал бесстыдно подробности о связи с Гришкой. Аксинья металась по твердой, с запахом овчины кровати, трудно дышала. Степан, приморившись истязать мягкое, как закрутевшее тесто, тело, шарил по лицу ее рукою, слез искал. Но щеки Аксиньи были пламенно сухи, двигались под пальцами Степана, сжимаясь и разжимаясь, челюсти.

— Скажешь?

— Нет!

— Убью!

— Убей! Убей, ради Христа... Отмучаюсь... Не житье...

Стиснув зубы, Степан закручивал на жениной груди прохладную от пота тонкую кожу.

Аксинья вздрагивала, стонала.

— Больно, что ль? — веселел Степан.

— Больно.

— А мне, думаешь, не больно было?

Засыпал он поздно. Во сне, сжимаясь, двигал черными, пуклыми в суставах пальцами. Аксинья, приподнявшись на локте, подолгу глядела на красивое измененное сном лицо мужа. Роняя на подушку голову, что-то шептала.

Гришки она почти не видела. Раз как-то у Дона повстречалась с ним. Григорий пригонял поить быков, поднимался по спуску, помахивая красненькой хворостинкой, глядя под ноги. Аксинья шла ему навстречу. Увидела и почувствовала, как похолодело под руками коромысло и жаром обсыпала кровь виски.

После, вспоминая эту встречу, ей стоило немалых усилий, чтобы уверить себя, что это было наяву. Григорий увидел ее, когда она почти поравнялась с ним. На требовательный скрип ведер приподнял голову, дрогнул бровями и глупо улыбнулся. Аксинья шла, глядя через его голову на

зеленый, дышащий волнами Дон, еще дальше — на гребень песчаной косы.

Краска выжала из глаз ее слезы.

Ксюша!

Аксинья прошла несколько шагов и стала, нагнув голову, как под ударом. Григорий, злобно хлестнув хворостиной отставшего муругого быка, сказал, не поворачивая головы:

— Степан когда выедет жито косить?

— Зараз... запрягает.

— Проводишь — иди в наши подсолнухи, в займище, и я приду.

Поскрипывая ведрами, Аксинья сошла к Дону. У берега желтым пышным кружевом на зеленом подоле волны змеилась пена. Белые чайки-рыболовы с криком носились над Доном.

Серебряным дождем сыпала над поверхностью воды мелочь-рыбешка. С той стороны, за белью песчаной косы, величаво и строго высились седые под ветром вершины старых тополей. Аксинья, черпая воду, уронила ведро. Поднимая левой рукой юбку, забрела по колено. Вода защекотала натертые подвязками икры, и Аксинья в первый раз после приезда Степана засмеялась, тихо и неуверенно.

Оглянулась на Гришку: так же помахивая хворостинкой, будто отгоняя оводов, медленно взбирался он по спуску.

Аксинья ласкала мутным от прихлынувших слез взором его сильные ноги, уверенно попиравшие землю. Широкие Гришкины шаровары, заправленные в белые шерстяные чулки, алели лампасами. На спине его, возле лопатки, трепыхался клочок свежепорванной грязной рубахи, желтел смуглый треугольник оголенного тела. Аксинья целовала глазами этот крохотный, когда-то ей принадлежавший кусочек любимого тела; слезы падали на улыбавшиеся побледневшие губы.

Она поставила на песок ведра и, цепляя дужку зубцом коромысла, увидела на песке след, оставленный остроносым Гришкиным чириком. Вороватo огляделась — никого, лишь на дальней пристани купаются ребятишки. Присела на корточки и прикрыла ладонью след, потом вскинула на плечи коромысло и, улыбаясь на себя, заспешила домой.

Над хутором, задернутое кисейной полумглой, шло солнце. Где-то под курчавым табуном белых облачков сияла глубокая, прохладная пастбищная синь, а над хуто-

ром, над раскаленными железными крышами, над безлюдьем пыльных улиц, над дворами с желтым, выжженным сумежем травы висел мертвый зной.

Аксинья, плеская из ведер воду на растрескавшуюся землю, покачиваясь, подошла к крыльцу. Степан в широкополой соломенной шляпе запрягал в косилку лошадей. Поправляя шлею на дремавшей в хомуте кобыле, глянул на Аксинью.

— Налей воды в баклагу.

Аксинья вылила в баклагу ведро, обожгла руки о железные склепанные обручи.

— Леду бы надо. Степлится вода,— сказала, глядя на мокрую от пота спину мужа.

— Поди возьми у Мелеховых... Не ходи!..— крикнул Степан, вспомнив.

Аксинья пошла затворять брошенную настежь калитку. Степан, опустив зрачки, ухватил кнут.

— Куда?..

— Калитку прикрыть.

— Вернись, подлюга... сказано — не ходи!

Она торопливо подошла к крыльцу, хотела повесить коромысло, но дрогнувшие руки отказались служить,— коромысло покатилось по порожкам.

Степан кинул на переднее сиденье брезентовый плащ; усаживаясь, расправил вожжи.

— Ворота отвори.

Распахнув ворота, Аксинья осмелилась спросить:

— Когда приедешь?

— К вечеру. Сложился косить с Аникушкой. Харчи ему отнеси. Из кузни придет — поедет на́ поля.

Мелкие колеса косилки, повизгивая, врезаясь в серый плюш пыли, выбрались за ворота. Аксинья вошла в дом, постояла, прижимая ладони к сердцу, и, накинув платок, побежала к Дону.

«А ну, как вернется? Что тогда?» — опалила мысль. Стала, словно под ногами увидела глубокий яр, поглядела назад и — чуть не рысью по-над Доном к займищу.

Плетни. Огороды. Желтая марь засматривающих солнцу в глаза подсолнухов. Зеленый в бледной цветени картофель. Вот шамилевские бабы, припоздав, допалывают картофельную делянку; согнуты, в розовых рубахах спины, короткие взлеты мотыг, падающих на серую пахоту. Аксинья, не переводя духа, дошла до мелеховского огорода. Оглянулась: скинув хворостинный кляч с устоя, открыла дверцы. По утоптанной стежке дошла до зеленого частоко-

ла подсолнечных будыльев. Пригибаясь, забралась в самую гущину, измазала лицо золотистой цветочной пылью; подбирая юбку, присела на расшитую повителью землю.

Прислушалась: тишина до звона в ушах. Где-то вверху одиноко гудит шмель. Полые, в щетинистом пушке будылья подсолнечников молча сосут землю.

С полчаса сидела, мучаясь сомненьем — придет или нет, хотела уж идти, привстала, поправляя под платком волосы,— в это время тягуче заскрипели дверцы. Шаги.

— Аксютка!

— Сюда иди...

— Ага, пришла.

Шелестя листьями, подошел Григорий, сел рядом. Помолчали.

— В чем это у тебя щека?

Аксинья рукавом размазала желтую пахучую пыль.

— Должно, с подсолнуха.

— Ишо вот тут, возле глаза.

Вытерла. Встретились глазами. И, отвечая на Гришкин немой вопрос, заплакала.

— Мочи нету... Пропала я, Гриша.

— Чего ж он?

Аксинья злобно рванула ворот кофты. На вывалившихся розоватых, девически крепких грудях вишнево-синие частые подтеки.

— Не знаешь чего?.. Бьет каждый день!.. Кровь высасывает!.. И ты тоже хорош... Напаскудил, как кобель, и в сторону... Все вы... — Дрожащими пальцами застегивала кнопки и испуганно — не обиделся ли — глядела на отвернувшегося Григория.

— Виноватого ищешь? — перекусывая травяную былку, протянул он

Спокойный голос его обжег Аксинью.

— Аль ты не виноват? — крикнула запальчиво.

— Сучка не захочет — кобель не вскочит.

Аксинья закрыла лицо ладонями. Крепким, рассчитанным ударом упала обида.

Морщась, Григорий сбоку поглядел на нее. В ложбинке между указательным и средним пальцами просачивалась у нее слеза.

Кривой, запыленный в зарослях подсолнухов луч просвечивал прозрачную капельку, сушил оставленный ею на коже влажный след.

Григорий не переносил слез. Он беспокойно заерзал по земле, ожесточенно стряхнул со штанины коричневого

муравья и снова коротко взглянул на Аксинью. Она сидела не изменив положения, только на тыльной стороне ладони вместо одной уже три слезные дробинки катились вперегонку.

— Чего кричишь? Обидел? Ксюша! Ну, погоди... Постой, хочу что-то сказать.

Аксинья оторвала от мокрого лица руки.

— Я за советом пришла... За что ж ты?.. И так горько, а ты...

«Лежачего вдарил...» — Григорий побагровел.

— Ксюша... сбрехнул словцо, ну, не обижайся...

— Я не навязываться пришла... Не боись!

В эту минуту она сама верила, что не затем пришла, чтобы навязываться Григорию; но когда бежала над Доном в займище, думала, не отдавая себе ясного отчета: «Отговорю! Нехай не женится. С кем же жизнь свяжу?!» Вспомнила тогда о Степане и норовисто мотнула головой, отгоняя некстати подвернувшуюся мысль.

— Значится, кончилась наша любовь? — спросил Григорий и лег на живот, облокотившись и выплевывая розовые, изжеванные под разговор лепестки повительного цветка.

— Как кончилась? — испугалась Аксинья.— Как же это? — переспросила она, стараясь заглянуть ему в глаза.

Григорий ворочал синими выпуклыми белками, отводил глаза в сторону.

Пахла выветренная, истощенная земля пылью, солнцем. Ветер шуршал, переворачивая зеленые подсолнечные листья. На минуту затуманилось солнце, заслоненное курчавой спиной облака, и на степь, на хутор, на Аксинью понурую голову, на розовую чашечку цветка повители упала, клубясь и уплывая, дымчатая тень.

Григорий вздохнул — с выхрипом вышел вздох — и лег на спину, прижимая лопатки к горячей земле.

— Вот что, Аксинья, — заговорил он, медленно расставливая слова,— муторно так-то, сосет гдей-то в грудях. Я надумал...

Над огородом, повизгивая, поплыл скрип арбы.

— Цоб, лысый! Цобэ! Цобэ!..

Окрик показался Аксинье настолько громким, что она ничком упала на землю. Григорий, приподнимая голову, шепнул:

— Платок сыми. Белеет. Как бы не увидали.

Аксинья сняла платок. Струившийся между подсолнухами горячий ветер затрепал на шее завитки золотистого пуха. Утихая, повизгивала отъезжавшая арба.

Я вот что надумал,— начал Григорий и оживился,— что случилось, того ить не вернешь, чего ж тут виноватого искать? Надо как-то дальше проживать...

Аксинья, насторожившись, слушала, ждала, ломала отнятую у муравья былку.

Глянула Григорию в лицо — уловила сухой и тревожный блеск его глаз.

— ...Надумал я, давай с тобой прикончим...

Качнулась Аксинья. Скрюченными пальцами вцепилась в жилистую повитель. Раздувая ноздри, ждала конца фразы. Огонь страха и нетерпения жадно лизал ей лицо, сушил во рту слюну. Думала, скажет Григорий: «...прикончим Степана», но он досадливо облизал пересохшие губы (тяжело ворочались они), сказал:

— ...прикончим эту историю. А?

Аксинья встала, натыкаясь грудью на желтые болтающиеся головки подсолнечников, пошла к дверцам.

— Аксинья! — придушенно окликнул Григорий.

В ответ тягуче заскрипели дверцы.

XVII

За житом — не успели еще свозить на гумна — подошла и пшеница. На суглинистых местах, на пригорках желтел и сворачивался в трубку подгорающий лист, пересыхал отживший свое стебель.

Урожай, хвалились люди, добрый. Колос ядреный, зерно тяжеловесное, пухлое.

Пантелей Прокофьевич, посоветовавшись с Ильиничной, порешил — если сосватают у Коршуновых, отложить свадьбу до крайнего спаса.

За ответом еще не ездили: тут покос подошел, а тут праздника ждали.

Косить выехали в пятницу. В косилке шла тройка лошадей. Пантелей Прокофьевич подтесывал на арбе люшню, готовил хода к возке хлеба. На покос выехали Петро и Григорий.

Григорий шел, придерживаясь за переднее стульце, на котором сидел брат; хмурился. От нижней челюсти, наискось к скулам, дрожа, перекатывались желваки. Петро знал: это верный признак того, что Григорий кипит и готов на любой безрассудный поступок, но, посмеиваясь в пшеничные свои усы, продолжал дразнить брата:

— Ей-бо, рассказывала!

— Ну и пущай,— урчал Григорий, прикусывая волосок усины.

— «Иду, гутарит, с огорода, слышу: в мелеховских подсолнухах, кубыть, людские голоса».

— Петро, брось!

— Да-а-а... голоса. «Я это, дескать, заглянула через плетень...»

Григорий часто заморгал глазами.

— Перестанешь? Нет?

— Вот чудак, дай досказать-то!

— Гляди, Петро, подеремся,— пригрозил Григорий, отставая.

Петро пошевелил бровями и пересел спиной к лошадям, лицом к Григорию, шагавшему позади.

— «Заглянула, мол, через плетень, а они, любушки, лежат в обнимку».— «Кто?» — спрашиваю, а она: «Да Аксютка Астахова с твоим братом». Я говорю...

Григорий ухватил за держак короткие вилы, лежавшие в задке косилки, кинулся к Петру. Тот, бросив вожжи, прыгнул с сиденья, вильнул к лошадям наперед.

— Тю, проклятый... Сбесился!.. Тю! Тю! Глянь на него...

Оскалив по-волчьи зубы, Григорий метнул вилы. Петро упал на руки, и вилы, пролетев над ним, на вершок вошли в кремнисто-сухую землю, задрожали, вызванивая.

Потемневший Петро держал под уздцы взволнованных криком лошадей, ругался:

— Убить бы мог, сволочь!

— И убил бы!

— Дурак ты! Черт бешеный! Вот в батину породу выродился, истованный черкесюка!

Григорий выдернул вилы, пошел следом за тронувшейся косилкой.

Петро поманил его пальцем.

— Поди ко мне. Дай-ка вилы.

Передал в левую руку вожжи и взял вилы за выбеленный зубец.

Дернул ничего не ожидавшего Григория держаком вдоль спины.

— С потягом бы надо! — пожалел, оглядывая отпрыгнувшего в сторону Григория.

Через минуту, закуривая, глянули друг другу в глаза и захохотали.

Христонина жена, ехавшая с возом по другой дороге, видела, как Гришка запустил вилами в брата. Она приста-

ла на возу, но не могла разглядеть, что происходило у Мелеховых,— заслоняли косилка и лошади. Не успела въехать в проулок, крикнула соседке:

— Климовна! Надбеги, скажи Пантелею-турку, что ихние ребята возля Татаровского кургана вилами попоролись. Задрались, а Гришка — ить он же взгальный! — как саданет Петра вилами в бок, а энтот тем часом его... Там кровищи натекло — страсть!

Петро уж охрип орать на нудившихся лошадей и заливисто посвистывал. Григорий, упираясь черной от пыли ногой в перекладину, смахивал с косилки наметанные крыльями валы. Лошади, в кровь иссеченные мухами, крутили хвостами и недружно натягивали постромки.

По степи, до голубенькой каемки горизонта, копошились люди. Стрекотали, чечекали ножи косилок, пятнилась валами скошенного хлеба степь. Передразнивая погонычей, свистели на кургашках сурки.

— Ишо два загона — и закурим! — сквозь свист крыльев и перестук косогона крикнул, оборачиваясь, Петро.

Григорий только кивнул. Обветренные, порепавшиеся губы трудно было разжимать. Он короче перехватил вилы, чтоб легче было метать тяжелые вороха хлеба, порывисто дышал. Мокрая от пота грудь чесалась. Из-под шляпы тек горький пот; попадая в глаза, щипал, как мыло. Остановили лошадей, напились и закурили.

— По шляху кто-то ве́рхи бегет,— глядя из-под ладони, проговорил Петро.

Григорий всмотрелся и изумленно поднял брови.

— Батя, никак.

— Очумел ты! На чем он поскачет, кони в косилке ходют.

— Он.

— Обознался, Гришка!

— Ей-богу, он!

Через минуту ясно стало видно лошадь, стлавшуюся в броском намете, и седока.

— Батя...— Петро в испуганном недоумении затоптался на месте.

— Должно, дома что-нибудь...— высказал Григорий общую мысль.

Пантелей Прокофьевич, не доезжая саженей сто, придержал лошадь, затрусил рысью.

— Пе-ре-по-рю-ю-у-у-у... сукины сыны!..— завопил он еще издали и размотал над головой ременный арапник.

— Чего он? — окончательно изумился Петро, до половины засовывая в рот пшеничный свой ус.

— Хоронись за косилку! Истинный бог, стебанет кнутом. Покель разберемся, а он выпорет... — посмеиваясь, сказал Григорий и на всякий случай зашел на ту сторону косилки.

Взмыленная лошадь шла по жнивью тряской рысцой. Пантелей Прокофьевич, болтая ногами (ехал он без седла, охлюпкой), потрясал арапником.

— Что вы тут наделали, чертово семя?!

— Косим...— Петро развел руками и опасливо покосился на арапник.

— Кто кого вилами порол? За что дрались?..

Повернувшись к отцу спиной, Григорий шепотом считал разметанные ветром облака.

— Ты что? Какими вилами? Кто дрался?..— Петро, моргая, глядел на отца снизу вверх, переступая с ноги на ногу.

— Да как же, мать ее курица, прибегла и орет: «Ребята наши вилами попоролись!» А? Это как?..— Пантелей Прокофьевич исступленно затряс головой и, бросив повод, соскочил с задыхавшейся лошади.— Я у Семишкина Федьки коня ухватил да в намёт. А?..

— Да кто это говорил?

— Баба!

— Врешет она, батя! Спала, проклятая, на возу, и привиделось ей такое.

— Баба! — визгливо закричал Пантелей Прокофьевич, измываясь над собственной бородой.— Климовна-курва! Ах ты, бо-ж-же мой!.. А? Запорю сучку!..— он затопотал ногами, припадая на левую, хромую.

Подрагивая от немого смеха, Григорий глядел под ноги. Петро глаз не спускал с отца, поглаживая потную голову.

Пантелей Прокофьевич напрыгался и притих. Сел на косилку, проехал, скидывая, два загона и, чертыхаясь, влез на лошадь. Выехал на шлях, обогнав два воза с хлебом, напылил в хутор. На борозде остался позабытый мелко витой, с нарядным махром арапник. Петро покрутил его в руках, головой покачал — и к Гришке:

— Было б нам с тобой, парнишша. Ишь, это разве арапник? Это, брат, увечье,— голову отсечь можно!

XVIII

Коршуновы слыли первыми богачами в хуторе Татарском. Четырнадцать пар быков, косяк лошадей, матки с Провальских заводов, полтора десятка коров, пропасть гулевого скота, гурт в несколько сот овец. Да и так поглядеть есть на что: дом не хуже моховского, о шести комнатах — под железом, ошелеван пластинами. Дворовая служба крыта черепицей, нарядной и новой; сад — десятины полторы с левадой. Чего же еще человеку надо?

Поэтому-то с робостью и затаенной неохотой ехал первый раз Пантелей Прокофьевич свататься. Коршуновы для своей дочери жениха не такого, как Григорий, могли подыскать. Пантелей Прокофьевич понимал это, боялся отказа, не хотел кланяться своенравному Коршунову; но Ильинична точила его, как ржавь железо, и под конец сломила упрямство старика. Пантелей Прокофьевич согласился и поехал, кляня в душе и Гришку, и Ильиничну, и весь белый свет.

Надо было ехать во второй раз, за ответом, ждали воскресенья, а в это время под крашенной медянкой крышей коршуновского куреня горела глухая междоусобица. После отъезда сватов невеста на материн вопрос ответила:

— Люб мне Гришка, а больше ни за кого не пойду!

— Нашла жениха, дуреха,— урезонивал отец,— только и доброго, что черный, как цыган. Да рази я тебе, моя ягодка, такого женишка сыщу?

— Не нужны мне, батенька, другие...— Наталья краснела и роняла слезы.— Не пойду, пущай и не сватают. А то хучь в Усть-Медведицкий монастырь везите...

— Потаскун, бабник, по жалмеркам бегает,— козырял отец последним доводом,— слава на весь хутор легла.

— Ну и нехай!

— Тебе нехай, а мне и подавно! С моей руки — куль муки, когда такое дело.

Наталья — старшая дочь — была у отца любимицей, оттого не теснил ее выбором. Еще в прошлый мясоед наезжали сваты издалека, с речки Цуцкана, богатые невпроворот староверы-казаки; прибивались и с Хопра сваты и с Чира [1], но женихи Наталье не нравились, и пропадала даром сватовская хлеб-соль.

Мирону Григорьевичу в душе Гришка нравился за казацкую удаль, за любовь к хозяйству и работе. Старик

---

[1] Хопер — левый, Чир — правый приток Дона.

выделил его из толпы станичных парней еще тогда, когда на скачках Гришка за джигитовку снял первый приз; но казалось обидным отдать дочь за жениха небогатого и опороченного дурной славой.

- Работящий паренек и собой с лица красивенький...— нашептывала по ночам ему жена, поглаживая его насеянную веснушками и рыжей щетиной руку,— а Наталья, Григорич, по нем чисто ссохлась вся... Дюже к сердцу пришелся.

Мирон Григорьевич поворачивался спиной к жениной костлявой холодной груди, сердито бурчал:

— Отвяжись, репей! Выдавай хучь за Пашу-дурачка, мне-то что? То-то умом бог обнес! «С лица красивенький»...— косноязычил он.— Что, ты с его морды урожай будешь сымать, что ли?..

— Так уж урожай...

— Да понятно, на что тебе его личность? Был бы он из себя человек. Да мне, признаться, и зазорно трошки выдавать свою дочерю к туркам. Уж были бы люди, как люди...— гордился Мирон Григорьевич, подпрыгивая на кровати.

— Работящая семья и при достатке...— нашептывала жена и, придвигаясь к плотной спине мужа, успокаивающе гладила его руку.

— Э, черт, отодвинься, что ли! Чисто тебе места окромя нету. Что ты меня гладишь-то, как стельную корову? А с Натальей как знаешь. Выдавай хучь за стриженую девку!..

— Дитя своего жалеть надо. Бог с ним — и с богатством...— сипела Лукинична в заросшее волосами ухо Мирона Григорьевича.

Тот сучил ногами, влипал в стенку и всхрапывал, будто засыпая.

Приезд сватов застал их врасплох. После обедни подкатили те на тарантасе к воротам. Ильинична, наступив на подножку, едва не опрокинула тарантас, а Пантелей Прокофьевич прыгнул с сиденья молодым петухом; хотя и осушил ноги, но виду не подал и молодецки зачикилял к куреню.

— Вот они! Как черт их принес! — охнул Мирон Григорьевич, выглядывая в окно.

— Светики-кормильцы, я-то как стряпалась, так и не скинула буднюю юбку! — вскудахталась хозяйка.

— Хороша и так! Небось, не за тебя сватаются, кому нужна-то, лишай конский!..

— Сроду безобразник, а под старость дюжей свихнулся.

— Но-но, ты у меня помалкивай!

— Рубаху ба чистую надел, кобаржину вон на спине видать, и не совестно? Ишь, нечистый дух! — ругалась жена, оглядывая Мирона Григорьевича, пока сваты шли по базу.

— Небось, гляди, угадают и в этой. Рогожку надену, и то не откажутся.

— Доброго здоровья! — спотыкаясь о порог, кукарекнул Пантелей Прокофьевич и, сконфузясь зычного своего голоса, лишний раз перекрестился на образ.

— Здравствуйте,— приветствовал хозяин, чертом оглядывая сватов.

— Погодку дает бог.

— Слава богу, держится.

— Народ хучь трошки подуправится.

— Уж это так.

— Та-а-ак.

— Кгм.

— Вот мы и приехали, значится, Мирон Григорич, с тем, чтоб узнать, как вы промеж себя надумали и сойдемся ли сватами али не сойдемся...

— Проходите, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста,— приглашала хозяйка, кланяясь, обметая подолом длинной сборчатой юбки натертый кирпичом пол.

— Не беспокойтесь, пожалуйста.

Ильинична уселась, шелестя поплином подворачиваемого платья. Мирон Григорьевич облокотился о принаряженный новой клеенкой стол, помолчал. От клеенки дурно пахло мокрой резиной и еще чем-то; важно глядели покойники цари и царицы с каемчатых углов, а на середине красовались августейшие девицы в белых шляпах и обсиженный мухами государь Николай Александрович.

Мирон Григорьевич порвал молчание:

— Что ж... Порешили мы девку отдать. Породнимся, коли сойдемся...

В этом месте речи Ильинична откуда-то из неведомых глубин своей люстриновой, с буфами на рукавах, кофты, как будто из-за спины, выволокла наружу высокий белый хлеб, жиякнула его на стол.

Пантелей Прокофьевич хотел зачем-то перекреститься, но заскорузлые клешнятые пальцы, сложившись в крестное знамение и поднявшись до половины следуемого пути, изменили форму: большой черный ногтястый палец против воли хозяина нечаянно просунулся между указательным и средним, и этот бесстыдный узелок пальцев

вороватo скользнул за оттопыренную полу синего чекменя, а оттуда извлек схваченную за горло красноголовую бутылку.

— Давайте теперь, дорогие вы мои сваточки, помолимся богу и выпьем и поговорим про наших деточек и про уговор...

Пантелей Прокофьевич, растроганно моргая, глядел на масоянное конопушками лицо свата и ласково шлепал широкой, как лошадиное копыто, ладонью по дну бутылки.

Через час сваты сидели так тесно, что смолянистые кольца мелеховской бороды щупали прямые рыжие пряди коршуновской. Пантелей Прокофьевич сладко дышал соленым огурцом и уговаривал.

— Дорогой мой сват,— начинал он гудящим шепотом,— дорогой мой сваточек! — сразу повышал голос до крика.— Сват! — ревел он, обнажая черные, притупленные резцы.— Кладка ваша чересчур очень даже непереносимая для меня! Ты вздумай, дорогой сват, вздумай, как ты меня желаешь обидеть: гетры с калошами — раз, шуба донская — два, две платьи шерстяных — три, платок шелковый — четыре. Ить это разор-ре-нья!..

Пантелей Прокофьевич широко разводил руками, швы на плечах его лейб-казачьего мундира трещали, и пучками поднималась пыль. Мирон Григорьевич, снизив голову, глядел на залитую водкой и огуречным рассолом клеенку. Прочитал вверху завитую затейливым рисунком надпись: «Самодержцы всероссийские». Повел глазами пониже: «Его императорское величество государь император Николай...» Дальше легла картофельная кожура. Всмотрелся в рисунок: лица государя не видно, стоит на нем опорожненная водочная бутылка. Мирон Григорьевич, благоговейно моргая, пытался разглядеть форму богатого, под белым поясом мундира, но мундир был густо заплеван огуречными скользкими семечками. Из круга бесцветно одинаковых дочерей самодовольно глядела императрица в широкополой шляпе. Стало Мирону Григорьевичу обидно до слез. Подумал: «Глядишь зараз дюже гордо, как гусыня из кошелки, а вот придется дочек выдавать замуж — тогда я по-гляжу-у... небось, тогда запрядаешь!»

Под ухом его большим черным шмелем гудел Пантелей Прокофьевич.

Поднял Коршунов на него в мутной слизи глаза, прислушался.

— Нам, чтоб справить для твоей, а теперя оно все одно и моей дочери... для моей и твоей дочери такую кладку...

опять же гетры с калошами и шуба донская... нам надо скотиняку с базу согнать и продать.

— Жалко?..— Мирон Григорьевич стукнул кулаком.

— Не в том случае, что жалко...

— Жалко?

— Погоди, сват...

— А коли жалко, так!..

Мирон Григорьевич повел растопыренной потной рукой по столу, сгреб на пол рюмки.

— Твоей же дочери жить придется и наживать!

— И пу-щай! А кладку клади, иначе не сваты!..

— Скотиняку с базу сгонять...— Пантелей Прокофьевич крутил головой. Серьга дрожала в ухе, скупо поблескивая.

— Кладка должна быть!.. У ней своего наряду сундуки, а ты мне-е-е уважь, ежли по сердцу она вам пришлась!.. Такая наша казацкая повадка. В старину было, а нам — к старине лепиться...

— Уважу!..

— Уважь.

— Уважу!..

— А наживать — пущай молодые наживают. Мы нажили и живем не хуже людей, мать их черт, нехай и они наживут себе!..

Сваты сплели бороды разномастным плетнем. Пантелей Прокофьевич заел поцелуй бессочным, вялым огурцом и заплакал от многих, слившихся воедино, чувств.

Свахи, обнявшись, сидели на сундуке, глушили одна другую треском голосов. Ильинична полыхала вишневым румянцем, сваха ее зеленела от водки, как зашибленная морозом лесная груша-зимовка.

— Дитё, таких-то и на свете нет! Была б тебе слухменая и почтительная, уж эта из-под власти не выйдет. Слово, милая свашенька, вспоперек боится сказать.

— И-и-и, моя милушка,— перебивала ее Ильинична, левой рукой подпирая щеку, а правой поддерживая под локоть левую,— до скольких разов гутарила ему, сукину сыну! В надышнее воскресенье так-то вечером сбирается идтить, табаку в кисет сыпет, а я и говорю: «Ты когда ж ее бросишь, анчибел проклятый? До каких пор мне такую страму на старости лет примать? Ить он, Степан, вя́зы[1] тебе в одночась свернет!..»

Из кухни в горницу через верхнюю дверную щель

---

[1] Вязы — шея.

выглядывал Митька, внизу шушукались две младшие Натальины сестренки.

Наталья сидела в дальней угловой комнате на лежанке, сушила слезы узким рукавом кофточки. Пугала ее новая, стоявшая у порога жизнь, томила неизвестностью.

В горнице доканчивали третью бутылку водки; сводить жениха с невестой порешили на первый спас.

XIX

В коршуновском курене предсвадебная суета. Невесте наспех дошивали кое-что из белья. Наталья вечера просиживала, вывязывая жениху традиционный шарф из козьего дымчатого пуха и пуховые перчатки.

Мать ее Лукинична гнулась до потемок над швейной машиной — помогала портнихе, взятой из станицы.

Митька приезжал с отцом и работниками с поля,— не умываясь и не скидывая с намозоленных ног тяжелых полевых чириков, проходил к Наталье в горницу, подсаживался. Изводить сестру было для него большущим удовольствием.

— Вяжешь? — коротко спрашивал он и подмигивал на пушистые махры шарфа.

— Вяжу, а тебе чего?

— Вяжи-вяжи, дура, а он замест благодарности морду тебе набьет.

— За что?

— За здорово живешь,— я Гришку знаю, друзьяки с ним. Это такой кобель — укусит и не скажет за что.

— Не бреши уж! Кубыть я его не знаю.

— Я-то подюжей знаю. В школу вместе ходили.

Митька тяжело и притворно вздыхал, разглядывая исцарапанные вилами ладони, низко гнул высокую спину.

— Пропадешь ты за ним, Наташка! Сиди лучше в девках. Чего в нем доброго нашла? Ну? Страшон,— конем не наедешь, дурковатый какой-то... Ты приглядись: поганый парень!..

Наталья сердилась, глотала слезы, клонила над шарфом жалкое лицо.

— А главное — сухота у него есть...— безжалостно скидничал Митька.— Чего же ты кричишь? Глупая ты, Наташка. Откажись! Я зараз заседлаю коня и поеду скажу: мол, не заявляйтесь боле...

Выручал Наталью дед Гришака: входил он в горенку, щупая шишкастым костылем прочность пола и разглаживая желтую коноплю свалявшейся бороды; тыча в Митьку костылем, спрашивал:

— Ты чего, поганец, заявился сюда, ась?

— На провед зашел, дедуня,— оправдывался Митька.

— Проведать? Ась? Я тебе, поганец, велю уйтить отселя. Шагом-арш!

Дед взмахивал костылем и подступал к Митьке, нетвердо переставляя высохшие в былку ноги.

Дед Гришака топтал землю шестьдесят девять лет. Участвовал в турецкой кампании 1877 года, состоял ординарцем при генерале Гурко, попал в немилость и был отослан в полк. За боевые отличия под Плевной и Рошичем имел два Георгия и Георгиевскую медаль и, доживая у сына, пользуясь в хуторе всеобщим уважением за ясный до старости ум, неподкупную честность и хлебосольство, короткие остатки жизни тратил на воспоминания.

Летом с восхода до заката солнца сиживал на завалинке, чертил костылем землю, угнув голову, думал неясными образами, обрывками мыслей, плывущими сквозь мглу забвения тусклыми отсветами воспоминаний...

От потрескавшегося козырька казачьей слинявшей фуражки падала на черные веки закрытых глаз черная тень: от тени морщины щек казались глубже, седая борода отливала сизью. По пальцам, скрещенным над костылем, по кистям рук, по выпуклым черным жилам шла черная, как чернозем в логу, медленная в походе кровь.

Год от года холодела кровь. Жалился дед Гришака Наталье — любимой внучке:

— Шерстяные чулки, а не греют мои ноженьки. Ты мне, чадушка, свяжи крючковые.

— Что ты, дедуня, ить зараз лето! — смеялась Наталья и, подсаживаясь на завалинку, глядела на большое морщеное и желтое ухо деда.

— Дык что ж, моя чадунюшка, хучь оно и лето, а кровь, как земля в глубе, холодная.

Наталья смотрела на сетчатку жил на дедовой руке, вспоминала: во дворе рыли колодец, и она — тогда еще девчонка,— вычерпывая из бадьи влажную глину, делала тяжелых кукол и коров с рассыпчатыми рогами. Она живо восстанавливала в памяти ощущение, испытываемое руками от прикосновения к мертвой, леденистой земле, добытой с пятисаженной глубины, и уже со страхом смотрела на

дедовы руки в коричневых, глиняного цвета, старческих веснушках.

Казалось ей, что по дедовым рукам течет не веселая алая кровь, а буро-синяя суглинистая земля.

— Боишься помирать, дедуня? — спрашивала она.

Дед Гришака крутил тонкой, в морщинах и сухожильях шеей, словно выпрастывал ее из стоячего воротника поношенного мундира; шевелил зеленой сединой усов.

— Жду смертыньку, как дорогого гостя. Пора уж... и пожил, и царям послужил, и водки попил на своем веку,— добавлял он, улыбаясь белозубым ртом и дрожа морщинками глаз.

Наталья гладила дедовы руки и отходила, а он, все так же сгорбившись, царапая землю вытертым у ручки костылем, сидел на завалинке в сереньком, заштопанном во многих местах мундире, и молодо и задорно смеялись красные веселые петлицы на тугом стоячем воротнике.

Известие о том, что Наталью сватают, принял он с внешним спокойствием, но в душе горевал и злобился: Наталья за столом подсовывала ему лучший кусок, Наталья стирала его бельишко, штопала, вязала чулки и чинила шаровары и рубахи,— оттого дед Гришака, узнав, и глядел дня два на нее с суровой строгостью.

— Мелеховы — славные казаки. Покойный Прокофий молодецкий был казачок. А внуки как? Ась?

— И внуки ничего,— уклончиво отвечал Мирон Григорьевич.

— Гришка-то непочтительный, поганец. Надысь иду из церкви, встретился со мной и не поздравствовался. Старики ноне не дюже в почете...

— Он ласковый паренек,— вступилась Лукинична за будущего зятя.

— Ась? Ласковый, гутаришь? Ну что ж, давай бог. Абы Наташке по душам был...

В сговоре дед Гришака участия почти не принимал, на минутку выполз из горенки, посидел за столом, с трудом процедил сквозь суженное горло рюмку водки и, согревшись, чувствуя, что пьянеет, ушел.

Два дня молча поглядывал на встревоженно-счастливую Наталью, жевал, двигал пучками белых с прозеленью усов; потом, видно, смягчился.

— Наташка! — окликнул как-то.

Наталья подошла.

— Ты чего же, внучушка, рада, небось? Ась?

— Я и сама не знаю, дедуня,— призналась Наталья.

— Ну-ну... ну-ну... Ишь ты... Ну, Христос с тобой. Дай бог.— И с досадой и горечью упрекнул: — Не дождалась, поганка, покеда помру, тогда бы и вышла... Без тебя горькая будет мне жизня.

Митька, подслушавший из кухни их разговор, сказал:

— Ты, дед, может, ишо сто годов проживешь, а она будет дожидаться? Штукарь ты добрый.

Дед Гришака покраснел до черноты и удушья. Застучал костылем, ногами:

— Цы-ы-ыц, поганец, сукин сын! Пошел! Пошел... Ах ты, нечистый дух!.. Подслухал, вражина!..

Митька сбежал на баз, посмеиваясь, а дед Гришака долго возмущался, ругал Митьку, и ноги его, обутые в шерстяные короткие чулки, дрожали в коленях.

Две младшие Натальины сестренки: Маришка — подросток лет двенадцати, и Грипка — восьмилетняя пройдоха и баловница — с нетерпением ожидали дня свадьбы.

Сдержанную радость выказывали и работники, постоянно жившие у Коршуновых. Они ждали щедрого от хозяина угощенья и надеялись на пару свободных во время гульбы дней. Один из них, высокий — с колодезный журавль — богучарский украинец с диковинной фамилией Геть-Баба, в полгода раз пил запоем. Пропивал все с себя и заработок. Давно уже подмывало его знакомое чувство сосущей тошноты, но он сдерживался, приурочивая начало запоя к свадьбе.

Второй, мозглявый и смуглый казачок станицы Мигулинской, по имени Михей, жил у Коршуновых недавно; разоренный пожаром, нанялся в работники и, сдружившись с Гетьком (так сокращенно звали Геть-Бабу), начал время от времени попивать. Был он страстным любителем лошадей; подвыпив, плакал, размазывая слезы по остренькому безбровому лицу, приставал к Мирону Григорьевичу:

— Хозяин! Любушка ты моя! Будешь дочерю выдавать — Михейкю в поезжанье допусти. Уж я проеду, так видно будет! Сквозь полымя проскачу и волоска на конях не опалю. У меня самого кони были... Эх!..

Постоянно мрачный и нелюдимый Гетько почему-то привязался к Михею, изводил его одной и той же шуткой:

— Михей, чуешь? Ты якой станицы? — спрашивал его, потирая длинные, по коленные чашечки, руки, и сам же отвечал, меняя голос: «Мигулевский».— А що це ты такой хреновский? — «Та у нас уся порода такая».

Он неизменно и хрипло хохотал над постоянно повторявшейся шуткой, шлепал себя ладонями по длинным,

сухим до звона голеням, а Михей ненавидяще оглядывал выбритое Гетьково лицо, кадык, трепетавший на горле, и ругал его «сычом» и «коростой».

Свадьбу назначили в первый мясоед. Оставалось три недели. На успенье приезжал Григорий проведать невесту. Посидел в горенке за круглым столом, полущил семечки и орехи с девками — подругами невесты — и уехал. Наталья его провожала. Под навесом сарая, где кормился у яслей Гришкин конь, подседланный новехоньким нарядным седлом, шмыгнула рукой за пазуху и, краснея, глядя на Григория влюбленными глазами, сунула ему в руку мягкий, таящий тепло девичьих ее грудей матерчатый комочек. Принимая подарок, Григорий ослепил ее белизною своих волчьих зубов, спросил:

— Это что?

— Там увидишь... кисет расшила.

Григорий нерешительно притянул ее к себе, хотел поцеловать, но она с силой уперлась руками ему в грудь, гибко перегнулась назад и со страхом метнула глазами на окна.

— Увидют!

— А нехай!

— Совестно...

— Это по-первам,— пояснил Григорий.

Она держала поводья, Григорий, жмурясь, ловил ногой иззубренное стремя. Он уселся поудобней на подушке седла и поехал с база. Наталья отворила ворота, из-под ладони глядела вслед: Григорий сидел по-калмыцки, слегка свесившись на левый бок, ухарски помахивая плетью.

«Одиннадцать дён осталось»,— высчитывала в уме Наталья и вздохнула и засмеялась.

XX

Всходит остролистая зеленая пшеница, растет; через полтора месяца грач хоронится в ней с головой, и не видно; сосет из земли соки, выколосится; потом зацветет, золотая пыль кроет колос; набухнет зерно пахучим и сладким молоком. Выйдет хозяин в степь — глядит, не нарадуется. Откуда ни возьмись, забрел в хлеба табун скота: ископытили, в пахоть затолочили грузные колосья. Там, где валялись — круговины примятого хлеба... дико и горько глядеть.

Так и с Аксиньей: на вызревшее в золотом цветенье чувство наступил Гришка тяжелым сыромятным чириком. Испепелил, испоганил — и все.

Пусто и одичало, как на забытом затравевшем лебедою и бурьяном гумне, стало на душе у Аксиньи после того, как пришла с мелеховского огорода из подсолнухов.

Шла и жевала концы платка, а горло распирал крик. Вошла в сенцы, упала на пол, задохнулась в слезах, в муке, в черной пустоте, хлынувшей в голову... А потом прошла. Где-то на донышке сердца сосало и томилось остренькое.

Встает же хлеб, потравленный скотом. От росы, от солнца поднимается втолоченный в землю стебель; сначала гнется, как человек, надорвавшийся непосильной тяжестью, потом прямится, поднимает голову, и так же светит ему день, и тот же качает ветер...

По ночам, исступленно лаская мужа, думала Аксинья о другом, и плелась в душе ненависть с великой любовью. В мыслях шла баба на новое бесчестье, на прежний позор: решила отнять Гришку у счастливой, ни горя, ни радости любовной не видавшей Натальи Коршуновой. По ночам передумывала вороха мыслей, моргала сухими глазами в темь. На правой руке тяжелела во сне голова Степана, красивая, с курчавым длинным чубом на сторону. Он дышал полуоткрытым ртом, черная рука его, позабытая на жениной груди, шевелила растрескавшимися от работы железными пальцами. Думала Аксинья. Примеряла. Передумывала. Одно лишь решила накрепко: Гришку отнять у всех, залить любовью, владеть им, как раньше.

И на донышке сердца остренькое, похожее на оставленное жало пчелы, точило сукровичную боль.

Это — ночами, а днем топила Аксинья думки в заботах, в суете по хозяйству. Встречала где-либо Гришку и, бледнея, несла мимо красивое, стосковавшееся по нем тело, бесстыдно-зазывно глядела в черную дичь его глаз.

Чувствовал Гришка после встречи с ней сосущую тоску. Без причины злобствовал, рвал зло на Дуняшке, на матери, а чаще всего брал шашку, уходил на задний баз и, омываясь пòтом, двигая желваками скул, рубил понатыканные в землю толстые хворостины. За неделю нарубил ворох. Пантелей Прокофьевич ругался, сверкал серьгой и желтыми белками глаз.

— Нарубил, дьявол паршивый, на два плетня хватило бы! Ишь чжигит нашелся, мать твоя курица. Вон в хворост поезжай и чжигитуй... Погоди, парень, пойдешь на службу, там нарубишься!.. Там вашего брата скоро объездют...

XXI

За невестой в поезжанье нарядили четыре пароконные подводы. По-праздничному нарядные люди толпились на мелеховском базу возле бричек.

Дружко — Петро — в черном сюртуке и голубых с лампасами шароварах, левый рукав его перевязан двумя белыми платками, под пшеничными усами постоянная твердая усмешка. Он — возле жениха.

— Ты, Гришка, не робей! Голову по-кочетиному держи, что насупонился-то?

Возле бричек бестолковщина, шумок.

— Где же подженишник делся? Пора бы выезжать.

— Кум!

— А?

— Кум, ты на второй бричке поедешь. Слышишь, кум?

— Люльки поприцепили на бричках?

— Небось, не рассыпешься и без люлек. Мягкая!

Дарья — в малиновой шерстяной юбке, гибкая и тонкая, как красноталовая хворостинка,— поводя подкрашенными дугами бровей, толкала Петра.

— Пора ехать, говори бате. Там заждались теперича.

Пошептавшись с прихромавшим откуда-то отцом, Петро распорядился:

— Рассаживайся! На мою бричку пятеро с женихом. Аникей, ты за кучера.

Разместились. Багровая и торжественная Ильинична отворила ворота. Четыре брички захватили по улице наперегонки.

Петро сидел рядом с Григорием. Против них махала кружевной утиркой Дарья. На ухабах и кочках рвались голоса, затянувшие песню. Красные околыши казачьих фуражек, синие и черные мундиры и сюртуки, рукава в белых перевязях, рассыпанная радуга бабьих шалевых платков, цветные юбки. Кисейные шлейфы пыли за каждой бричкой. Поезжанье.

Аникей, сосед Мелеховых, доводившийся Григорию троюродным братом, правил лошадьми. Свешиваясь, почти падая с козел, он щелкал кнутом, взвизгивал, и запотевшие лошади рвали постромки, вытягиваясь в струну.

— Сыпь им! Сыпь!..— орал Петро.

Безусый скопцеватый Аникей подмигивал Григорию, морща голое, бабье лицо тонкой улыбкой, взвизгивал и порол лошадей кнутом.

— Сто-ро-нись!..— прогремел, обгоняя их, Илья Ожо-

гип, дядя жениха по материнской линии. За его спиной разглядел Григорий счастливое, с подпрыгивающими смуглыми щеками лицо Дуняшки.

— Нет, погоди!..— крикнул Аникей, вскочив на ноги, и пронзительно свистнул.

Лошади захлестнулись в бешеной скачке.

— Уп-па-па-де-ошь!..— визжала Дарья, подпрыгивая, обнимая руками лакированные сапоги Аникея.

— Держись!..— ухал в стороне дядя Илья. Голос его тонул в сплошном стоне колес.

Остальные две брички, доверху набитые цветными воющими кучами людей, скакали по дороге рядом. Лошади в кумачных, голубых, бледно-розовых попонах, в бумажных цветах, в лентах, заплетенных в гривы и челки, в перезвяке громышков, стлались над кочковатой дорогой, роняя шмотья мыла, и попонки над взмыленными, мокрыми спинами хлопали, рябились, полоскаемые ветром.

У коршуновских ворот поезжанье сторожила ватага ребятишек. Увидели пыль на дороге и сыпанули во двор.

— Едут!

— Скачут!

— За-видне-лись!

Встреченного Гетька окружили.

— Шо згуртовались? Геть, вражьи горобци! Зачулюкалы — аж глушно!

— Хохол-мазница, давай с тобой дражниться! Хохол!.. Хохол!.. Дегтярник!..— верещала детвора, прыгая вокруг мешочных широких шаровар Гетька.

Тот, наклоняя голову, будто в колодец засматривая, оглядывал бесновавшихся ребят и чесал длинный тугой живот, снисходительно улыбался.

Брички с гомоном вкатили во двор. Петро повел Григория на крыльцо, следом потекли приехавшие в поезжанье.

Из сеней в кухню дверь заперта. Петро постучался.

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас.

— Аминь,— откликнулись из-за двери.

Петро повторил стук и слова до трех раз, ему глухо откликались.

— Разрешите взойтить?

— Милости просим.

Дверь распахнулась. Свашка — крестная мать Натальи — вдовая красивая баба, встретила Петра поклоном и тонкой малиновой усмешкой.

— Прими, дружко, на доброе здоровие.

Она протянула стакан с мутным, невыстоявшимся

иносом. Петро разгладил усы, выпил, крякнул под общий сдержанный смех.

Ну, свашенька, и угостила!.. Погоди, ягодка моя сменинная, я тебя не так угощу, еще наплачешься!..

Извиняйте, пожалуйста,— кланялась свашка, даря Петра отточенной, с лукавцем, улыбкой.

Пока дружко со свашкой состязались в острословии, жениховой родне, согласно уговору, поднесли по три рюмки водки.

Наталью, уже одетую в подвенечное платье и фату, стерегли за столом. Маришка в вытянутой руке держала скалку, Грипка задорно трясла посевкой.

Запотевший, хмельной от водки Петро с поклоном поднес им в рюмке по полтиннику. Сваха мигнула Маришке, та — по столу скалкой:

Мало! Не продадим невесту!..

Еще раз поднес Петро позванивающую в рюмке щепоть серебряной мелочи.

Не отдадим! — лютовали сестры, толкая локтями потупившуюся Наталью.

Чего уж там! И так плочено-переплочено.

Уступайте, девки,— приказал Мирон Григорьевич и, улыбаясь, протиснулся к столу. Рыжие волосы его, приглаженные топленым коровьим маслом, пахли потом и навозной прелью.

Сидевшие за столом родственники и близкие невесты встали, очищая место.

Петро сунул Григорию в руку конец платка, вспрыгнул на лавку, повел его по-за столом к невесте, сидевшей под образами. Другой конец взяла Наталья потной от смущенья рукой.

За столом чавкали, раздирая вареную курятину руками, вытирая руки о волосы. Аникей грыз куриную кобаргу, по голому подбородку стекал на воротник желтый жир.

Григорий с внутренним сожалением поглядывал на свою и Натальину ложки, связанные платочком, на дымившуюся в обливной чашке лапшу. Ему хотелось есть, неприятно и глухо бурчало в животе.

Дарья угощалась, сидя рядом с дядей Ильей. Тот, обгрызывая ядреными клыками баранье ребро, наверное шептал Дарье непристойности, потому что та, суживая глаза, подрагивая бровями, краснела и посмеивалась.

Ели основательно и долго. Запах смолистого мужского пота мешался с едким и пряным бабьим. От слежавшихся в сундуках юбок, сюртуков и шалек пахло нафталином

и еще чем-то сладко-тяжелым,— так пахнут старушечьи затасканные канунницы.

Григорий искоса поглядывал на Наталью. И тут в первый раз заметил, что верхняя губа у нее пухловата, свисает над нижней козырьком. Заметил еще, что на правой щеке, пониже скулы, лепится коричневая родинка, а на родинке два золотистых волоска, и от этого почему-то стало муторно. Вспомнил Аксиньину точеную шею с курчавыми пушистыми завитками волос, и явилось такое ощущение, будто насыпали ему за ворот рубахи на потную спину колючей сенной трухи. Поежился, с задавленной тоской оглядел чавкающих, хлюпающих, жрущих людей

Когда выходили из-за стола, кто-то, дыша взваром и сытой окисью пшеничного хлеба, нагнулся над ним, всыпал за голенище сапога горсть пшена: для того, чтобы не сделалось чего с женихом с дурного глаза. Всю обратную дорогу пшено терло ногу, тугой ворот рубахи душил горло, и Григорий — удрученный свадебными обрядами — в холодной отчаянной злобе шептал про себя ругательства.

XXII

Отдохнувшие у Коршуновых лошади шли, добираясь до мелеховского база, из последних сил. На ременных шлеях, стекая, клубилась пена.

Подвыпившие кучера гнали безжалостно.

Поезжанье встретили старики. Пантелей Прокофьевич, блистая черные выложенной сединным серебром бородой, держал икону. Ильинична стояла рядом; каменно застыли ее тонкие губы.

Григорий с Натальей подошли под благословенье, засыпанные винным хмелем и зернами пшеницы. Благословляя, уронил Пантелей Прокофьевич слезу и засуетился, нахмурился, жалея, что люди были свидетелями такой его слабости.

Нареченные вошли в дом. Красная от водки, езды и солнцепека Дарья выскочила на крыльцо, обрушилась на бежавшую из стряпки Дуняшку:

— Где Петро?..

— Не видала.

— К попу надо бечь, а он, проклятый, запропал.

Петро, через меру хлебнувший водки, лежал на арбе, снятой с передка, и стонал. Дарья вцепилась в него коршуном.

— Нажра-а-ался, идолюка! К попу надо бечь!.. Вставай!

— Пошла ты! Не признаю! Ты что за начальство? — резонно заметил тот, шаря по земле руками, сгребая в кучу куриный помет и объедья соломы.

Дарья, плача, просунула два пальца, придавила болтавший несуразное язык, помогла облегчиться. Ошалелому от неожиданности, вылила Петру на голову цибарку колодезной воды, досуха вытерла подвернувшейся под руку попоной, проводила к попу.

Через час Григорий стоял в церкви рядом с похорошевшей в сиянии свечей Натальей, давил в руке восковой стержень свечки, скользя по густой стене шепчущегося народа невидящими глазами, повторял в уме одно назойливое слово: «Отгулялся... отгулялся». Сзади покашливал опухший Петро, где-то в толпе мельтешились Дуняшкины глаза, чьи-то как будто знакомые и незнакомые лица; доносились разнобоистый хор голосов и тягучие возгласы дьякона. Безразличие оковало Григория. Он ходил вокруг налоя, наступая гундосому отцу Виссариону на задники стоптанных сапог, останавливался, когда Петро неприметно дергал его за полу сюртука; глядел на струйчатые язычки огней и боролся с сонной, овладевшей им одурью.

— Поменяйтесь кольцами,— сказал отец Виссарион, жалковато глянув Григорию в глаза.

Поменялись. «Скоро кончится?» — спросил Григорий глазами, поймав сбоку Петров взгляд. И Петро шевельнул углами губ, гася улыбку: «Скоро». Потом Григорий три раза целовал влажные безвкусные губы жены, в церкви угарно завоняло чадом потушенных свечей, к выходу загомонили выпиравшие в притвор люди.

Держа в своей руке шершавую крупную руку Натальи, Григорий вышел на паперть. Кто-то нахлобучил ему на голову фуражку. Пахнуло полынным теплым ветерком с юга. Из степи тянуло прохладой. Где-то за Доном синё вилась молния, находил дождь, а за белой оградой, сливаясь с гулом голосов, зазывно и нежно позванивали бубенцы на переступавших с ноги на ногу лошадях.

XXIII

Коршуновы приехали уже после того, как жениха с невестой увезли в церковь. Пантелей Прокофьевич до этого выходил за ворота, вглядывался вдоль улицы, но

серая дорога, промереженная зарослями игольчатой колючки, была наголо вылизана безлюдьем. Он переводил взгляд за Дон. Там приметно желтел лес, вызревший махорчатый камыш устало гнулся над задонским озерцом, над осокой.

Предосенняя, тоскливая, синяя дрема, сливаясь с сумерками, обволакивала хутор, Дон, меловые отроги, задонские, в лиловой дымке тающие леса, степь. За поворотом на шляху у перекрестка тонко вырисовывалась остроугольная верхушка часовни.

До слуха Пантелея Прокофьевича доплыл чуть слышный строчащий перестук колес и собачий брех. С площади на улицу вырвались две брички. На передней, покачиваясь в люльке, сидели рядом Мирон Григорьевич с Лукиничной, против них — дед Гришака в свежем мундире с Георгиями и медалями. Правил Митька, небрежно сидя на козлах, не показывая озверевшим от скачки сытым вороным лошадям подоткнутого под сиденье кнута. На второй Михей, падая назад, передергивал вожжами, силился перевести скакавших лошадей на рысь. Остренькое безбровое лицо Михея крылось фиолетовым румянцем, изпод треснувшего пополам козырька обильно сыпался пот.

Пантелей Прокофьевич распахнул ворота, и брички одна за другой въехали на баз.

С крыльца гусыней поплыла Ильинична, обметая подолом ошлепки навозной грязи, занесенной на порожки.

— Милости просим, дорогие сваточки! Сделайте честь нашему бедному куреню! — и она гнула дородный стан.

Пантелей Прокофьевич, кособоча голову, широко разводил руками:

— Покорнейше просим, сваточки! Проходите.— Он крикнул, чтоб отпрягли лошадей, и пошел к свату.

Мирон Григорьевич тер ладонью шаровары, счищая пыль. Поздоровавшись, пошли к крыльцу. Дед Гришака, растрясенный небывалой ездой, приотстал.

— Проходите, сваточек, проходите! — упрашивала Ильинична.

— Ничего, благодарствуем... пройдем.

— Заждались вас, проходите. Зараз веник дам, свату мундир почистить. Пыль ноне, ажник дыхнуть нечем.

— Так точно, сушь... Оттого и пыль. Не беспокойтесь, сваха, я вот толечко...— Дед Гришака, кланяясь недогадливой свахе, задом подвигался к сараю и скрылся за крашеным боком веялки.

— Привязалась к старику, дуреха! — накинулся Пан

лей Прокофьевич, встречая Ильиничну у крыльца.— Он по своей стариковской надобности, а она... тьфу, господи, да и глупая!..

Я-то почем знала? — смутилась Ильинична.

— Должна разуметь. Ну, нечего там. Иди, проводи сваху.

За накрытыми столами нетрезвый гуд подвыпивших гостей. Сватов усадили в горнице за стол. Вскоре приехали из церкви молодые. Пантелей Прокофьевич, наливая из четверти, прослезился.

— Ну, сваточки, за наших детей. Чтоб оно все по-хорошему, как мы сходились... и чтоб они в счастье и здравии свою жизнь проживали...

Деду Гришаке налили пузатую рюмку и вылили половину в рот, залохматевший прозеленью бороды, половину на стоячий воротник мундира. Пили чокаясь. Просто пили. Гомон ярмарочный. Сидевший на самом краю стола дальний родственник Коршуновых, старый атаманец Никифор Коловейдин, поднимая раскляченную руку, ревел:

— Горька!

— Го-о-рь-ко-а!..— подхватывали за столом.

— Ох, горька!..— отзывалась битком набитая кухня.

Хмурясь, Григорий целовал пресные губы жены, водил по сторонам затравленным взглядом.

Красные лица. Мутные во хмелю, похабные взгляды и улыбки. Рты, смачно жующие, роняющие на расшитые скатерти пьяную слюну. Гульба — одним словом.

Никифор Коловейдин щерил щербатую пасть, поднимал руку.

— Горька!..

На рукаве его голубого атаманского мундира морщились три золотые загогулины — нашивки за сверхсрочную службу.

— Го-о-рь-ка!..

Григорий с ненавистью вглядывался в щербатый рот Коловейдина. У того в порожнюю меж зубов скважину при слове «горько» трубочкой вылезал слизистый багровый язык.

— Целуйтесь, тетери-ятери...— шипел Петро, шевеля кончиками намокших в водке усов.

В кухне Дарья, подпившая и румяная, завела песню. Подхватили. Перекинули в горницу.

Вот и речка, вот и мост,
Через речку перевоз...

Плелись голоса, и, обгоняя других, сотрясая стекла окон, грохотал Христоня:

А кто ба нам поднес,
Мы ба вы-пи-и-ли.

А в спальне сплошной бабий визг·

Потерял, растерял
Я свой голосочек.

И в помощь — чей-то старческий, дребезжащий, как обруч на бочке, мужской голосок:

Потерял, ух, растерял, ух,
Я свой голосочек.
Ой, по чужим садам летучи,
Горькую ягоду-калину клюючи.

— Гуляем, люди добрые!..
— Баранинки спробуй.
— Прими лапу-то... муж, вон он, глядит.
— Горь-ка-а-а!..
— Дружко развязный, ишь со свахой как обходится.
— Ну, не-е-ет, ты нас баранинкой не угощай... Я, может, стерлядь ем... И буду исть: она жир-на-я.
— Кум Прошка, давай стременную чекалдыкнем.
— Так по зебрам и пошел огонь...
— Семен Гордеевич!
— А?
— Семен Гордеевич!
— Да пошел ты!

В кухне закачался, выгибаясь, пол, затарахтели каблуки, упал стакан; звон его потонул в общем гуле. Григорий глянул через головы сидевших за столом в кухню: под уханье и взвизги топтались в круговой бабы. Трясли полными задами (худых не было, на каждой по пять — семь юбок), махали кружевными утирками, сучили в пляске локтями.

Требовательно резнула слух трехрядка. Гармонист заиграл казачка с басовыми переливами.

— Круг дайте! Круг!
— Потеснитесь, гостечки! — упрашивал Петро, толкая разопревшие от пляса бабьи животы.

Григорий, оживившись, мигнул Наталье.

— Петро зараз казачка урежет, гляди.
— С кем это он?

— Не видишь? С матерью твоей.

Лукинична уперла руки в боки, в левой — утирка.

— Ходи, ну, а то я!..

Петро, мелко перебирая ногами, прошел до нее, сделал чудеснейшее коленце, вернулся к месту. Лукинична подобрала подол, будто собираясь через лужу шагать,— выбила дробь носком, пошла, под гул одобрения, выбрасывая ноги по-мужски.

Гармонист пустил на нижних ладах мельчайшей дробью, смыла эта дробь Петра с места, и, ухнув, ударился он вприсядку, щелкая ладонями о голенище сапог, закусив углом рта кончик уса. Ноги его трепетали, выделывая неуловимую частуху коленец; на лбу, не успевая за ногами, метался мокрый от пота чуб.

Григорию загородили Петра спины столпившихся у дверей. Он слышал лишь текучий треск кованых каблуков, словно сосновая доска горела, да взвинчивающие крики пьяных гостей.

Под конец плясал Мирон Григорьевич с Ильиничной, плясал деловито и серьезно,— как и все, что он делал.

Пантелей Прокофьевич стоял на табуретке, мотал хромой ногой, чмокал языком. Вместо ног у него плясали губы, не находившие себе покоя, да серьга.

Бились в казачке и завзятые плясуны и те, которые не умели ног согнуть по-настоящему.

Всем кричали:

— Не подгадь!

— Режь мельче! Ух, ты!..

— Ноги легкие, а зад мешается.

— Сыпь, сыпь!

— Наш край побивает.

— Дай вавару, а то я.

— Запалился, стерьва. Пляши, а то бутылкой!

Пьяненький дед Гришака обнимал ширококостную спину соседа по лавке, брунжал по-комариному ему в ухо:

— Какого года присяги?

Сосед его, каршеватый, вроде дуба-перестарка, старик, гудел, отмахиваясь рукой:

— Тридцать девятого, сынок.

— Какого? Ась? — Дед Гришака оттопыривал морщинистую раковину уха.

— Тридцать девятого, сказано тебе.

— Чей же будете? Из каких?

— Вахмистр Баклановского полка Максим Богатырев. Сам рожак с хутора... с хутора Красный Яр.

— Родствие Мелеховым?
— Как?
— Родствие, говорю?
— Ага, дедом довожусь.
— Полка-то Баклановского?

Старик потухшими глазами глядел на деда Гришаку, катая по голым деснам непрожеванный кусок, кивал головой.

— Значится, в кавказской кампании пребывали?

— С самим покойничком Баклановым, царство небесное, служил, Кавказ покоряли... В наш полк шел казак редкостный... Брали гвардейского росту, одначе сутулых...— какие длиннорукие и в плечах тоже — нонешний казак поперек уляжется... Вот, сынок, какие народы были... Их превосходительство, покойник генерал, в ауле Челенджийском в одночась изволили меня плетью...

— А я в турецкой кампании побывал... Ась? Побывал, да.— Дед Гришака прямил ссохшуюся грудь, вызванивая Георгиями.

— Заняли мы этот аул на рассвете, а в полдни играет трубач тревогу...

— Довелось и нам царю белому послужить. Под Рошичем был бой, и наш полк, Двенадцатый Донской казачий, сразился с ихними янычирами...

— Играет это трубач тревогу...— продолжает баклановец, не слушая деда Гришаку.

— Янычиры ихние навроде атаманцев. Да-с.— Дед Гришака горячится, сердясь, машет рукой.— Службу при своем царе несут, и на головах у них белые мешки. Ась? Белые мешки на головах.

— Я и говорю своему полчанину: «Это, Тимоша, отступать будем, тяни ковер со стены, а мы его в торока...»

— Два Егория имею! Награжден за боевые геройства!.. Турецкого майора живьем заполонил...

Дед Гришака плачет и стучит сухим кулачком по гулкой и медвежковатой спине деда-баклановца; но тот, макая кусок курятины вместо хрена в вишневый кисель, безжизненно глядит на скатерть, залитую лапшой, шамшит провалившимся ртом:

— Вот, сынок, на какой грех попутал нечистый...— Глаза деда с мертвой настойчивостью глядят на белые морщины скатерти, словно видит он не скатерть, залитую водкой и лапшой, а снеговые слепящие складки Кавказских гор.— До этого сроду не брал чужого... бывало, займем черкесский аул, в саклях имение, а я не завидую... Чужое

пречь от нечистого... А тут поди ж ты... Влез в глаза ковер... с махрами... Вот, думаю, попона коню будет.

— Мы этих разных разностев повидали. Тоже бывали в заморских землях.— Дед Гришака пытается заглянуть соседу в глаза, но глубокие глазницы заросли, как буерак бурьяном, седыми клочьями бровей и бороды; не доберется дед Гришака до глаз, кругом одна щетинистая непролазь волос.

Он пускается на хитрость; он хочет привлечь внимание соседа ударным местом своего рассказа, а поэтому начинает без предварительной подготовки прямо с середины.

— И командует есаул Терсинцев: «Взводными колоннами намётом — арш-арш!»

Дед-баклановец вскидывает голову, как строевой конь при звуке трубы; роняя на стол узловатый кулак, шепчет:

— Пики к бою, шашки вон, баклановцы!..— Тут голос его внезапно крепчает, мерклые зрачки блестят и загораются былым, загашенным старостью огнем.— Баклановцы-молодцы! — ревет он, раскрывая пасть с желтыми нагими деснами.— В атаку... марш-марш!..

И осмысленно и молодо глядит на деда Гришаку и не утирает замызганным рукавом чекменя щекочущих подбородок слез.

Дед Гришака тоже оживляется.

— Подал он нам этакую команду и махнул палашом. Поскакали мы, а янычиры построились вот так-то,— он чертит на скатерти пальцем неровный четырехугольник,— и нас палят. Два раза мы на них ходили — собьют и собьют. Откель ни возьмись, с флангу из лесочка ихняя конница. Наш командир сотни дает команду. Завернули мы правым крылом, перестроились — и на них. Вдарили. Стоптали. Какая конница супротив казаков устоит? То-то и оно. Поскакали они к лесу, воют... Вижу я, скачет попереди меня ихний офицер на караковом коне. Молодецкий такой офицер, черные усы книзу, оглядывается все на меня и пистолет из чехла вынает. А чехло к седлу приторочено... Стрельнул и не попал. Тут придавил я коня, догоняю его. Хотел срубить, а после раздумал. Человек ить... Правой рукой обхватил его поперек, так он, извольте видеть, так из седла и вылетел. Руку мне искусал, а все ж таки взял я его...

Дед Гришака, торжествуя, глянул на соседа: тот, уронив на грудь огромную угловатую голову, уснул под шум, уютно всхрапывая.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Сергей Платонович Мохов издалека ведет свою родословную.

В годы царствования Петра I шла однажды в Азов по Дону государева баржа с сухарями и огнестрельным зельем. Казаки «воровского» городка Чигонаки, угнездившегося в верховьях Дона, неподалеку от устья Хопра, ночью напали на эту баржу, стражу сонную перерезали, сухари и зелье разграбили, а баржу затопили.

По цареву приказу из Воронежа пришли войска, «воровской» тот городок Чигонаки сожгли, казаков, причастных к разбойному на баржу нападению, нещадно в бою разбили, а взятого в плен есаула Якирку и с ним сорок казаков перевешали на плавучих виселицах, и для устрашения низовых волновавшихся станиц были пущены качели те вниз по Дону.

Лет десять спустя на том месте, где раньше дымились курени Чигонацкой станицы, поселились пришлые казаки и те, что уцелели от разгрома. Вновь выросла и опоясалась боевыми валами станица. С той-то поры и пришел в нее из Воронежского указа царев досмотрщик и глаз — мужик Мохов Никишка. Торговал он с рук разной, необходимой в казачьем обиходе рухлядью: черенками для ножей, табаком, кремнями; скупал и продавал краденое и два раза в год ездил в Воронеж, будто за товаром, а на самом деле доносил, что в станице пока-де спокойно и казаки нового злодейства не умышляют.

От этого-то Мохова Никишки и повелся купеческий род Моховых. Крепко поосели они на казачьей земле. Пообсеменились и вросли в станицу, как бурьян-копытник: рви —

не вырвешь; свято блюли полуистлевшую грамоту, какой жаловал прадеда воронежский воевода, посылая в бунтовскую станицу. Может, сохранилась бы она и до наших времен, да в большом пожаре, еще при деде Сергея Платоновича, сгорела вместе с деревянной шкатулкой, хранившейся на божнице. Дед разорился, промотал все состояние, играя в карты; снова поднялся было на ноги, но пожар слизал все, и Сергею Платоновичу пришлось начинать сызнова. Похоронив параличного отца, он со щербатого рубля повел дело. Начал скупать по хуторам щетину и пух. Лет пять бедствовал, жулил и прижимал казаков окрестных хуторов на каждой копейке, а потом как-то сразу вырос из Сережки-шибая в Сергея Платоновича, открыл в станице галантерейную лавчушку, женился на дочке полусумасшедшего попа, взял немалое за ней приданое и открыл мануфактурный магазин. Вовремя начал Сергей Платонович мануфактурное дело. Из левобережных станиц, где бесплодна и жестка песчаная с каменным суглинком земля, на правую сторону Дона по распоряжению войскового правительства стали переселяться казаки целыми хуторами. Выросла и обросла постройками молодая Краснокутская станица; на рубеже с бывшими помещичьими землями, по рекам Чиру, Черной и Фроловке, над степными балками и логами, гранича с украинскими слободами, повылупились новые хутора. За товаром ездили верст за пятьдесят и больше, а тут вот она — лавка со свежими сосновыми полками, туго набитыми пахучим красным товаром. Широко, как трехрядную гармонь, развернул Сергей Платонович дело, помимо красного товара торговал всем, что надо в сельском немудром хозяйстве: кожевенный товар, соль, керосин, галантерея. В последнее время даже сельскохозяйственными машинами снабжал. С Аксайского завода косилки, сеялки-рядовки, плуги, веялки, сортировки чинным порядком стояли возле зеленостворчатой, прохладной в летнюю пору лавки. В чужом гаманце трудно деньгу считать, но, видно, немалую прибыль давала торговля смекалистому Сергею Платоновичу. Через три года открыл он хлебную ссыпку, а на другой год после смерти первой жены взялся за постройку паровой мельницы.

В смуглый кулачок, покрытый редким, глянцевито-черным волосом, крепко зажал он хутор Татарский и окрестные хутора. Что ни двор — то вексель у Сергея Платоновича: зелененькая с оранжевым позументом бумажка — за косилку, за набранную дочери справу (подошло время девку замуж отдавать, а на Парамоновской ссыпке прижи-

мают с ценой на пшеницу.— «Дай в долг, Платонович!»), мало ли за что еще... На мельнице девять человек рабочих, в магазине семеро да дворовой челяди четверо — вот их двадцать ртов, что жуют по купеческой милости. От первой жены у него осталось двое детей: девочка Лиза и мальчик — на два года моложе ее, вялый, золотушный Владимир. Вторая жена — сухая, узконосая Анна Ивановна — оказалась бездетной. Вся запоздалая, невылитая материнская любовь и скопившаяся желчь (вышла она за Сергея Платоновича на закате тридцать четвертого года) вылились на оставшихся детишек. Нервный характер мачехи влиял не по-хорошему на воспитание детей, а отец уделял им внимания не больше, чем конюху Никите или кухарке. Дела и поездки съедали весь досуг: то в Москву, то в Нижний, то в Урюпинскую, то по станичным ярмаркам. Без догляда росли дети. Нечуткая Анна Ивановна не пыталась проникать в тайники детских душ, не до этого было за большим хозяйством,— оттого и выросли брат с сестрой чуждые друг другу, разные по характерам, не похожие на родных. Владимир рос замкнутым, вялым, с исподлобным взглядом и недетской серьезностью. Лиза, вращавшаяся в обществе горничной и кухарки, распутной, виды видавшей бабы, рано глянула на изнанку жизни. Женщины будили в ней нездоровое любопытство, и она — тогда еще угловатый и застенчивый подросток,— предоставленная самой себе, росла, как в лесу куст дикой волчьей ягоды.

Стекали неторопливые годы.

Старое, как водится, старилось; молодое росло зеленями.

И вот как-то за вечерним чаем несказанно удивился Сергей Платонович, глянув на дочь (Елизавета, к тому времени окончившая гимназию, успела выровняться в видную, недурную девушку); глянул, и блюдце с янтарным чаем запрыгало в руках: «На мать-покойницу похожа. Господи, вот сходство!» — Лизка, а ну, повернись! — Проглядел, что дочь с раннего детства разительно напоминала мать.

...Владимир Мохов, гимназист пятого класса, узкий, болезненно-желтый паренек, шел по мельничному двору. Они с сестрой недавно приехали на летние каникулы, и Владимир, как всегда, с приездом пошел на мельницу посмотреть, потолкаться в толпе осыпанных мучной пылью людей, послушать равномерный гул вальцов, шестерен, шелест скользящих ремней. Ему льстил почтительный шепот завозчиков-казаков:

Хозяйский наследник...

Осторожно обходя кучи бычачьего помета и подводы, рассыпанные по двору, Владимир дошел до калитки и вспомнил, что не был в машинном отделении. Вернулся.

Возле красной нефтяной цистерны, стоявшей около входа в машинное, вальцовщик Тимофей, весовщик, по прозвищу Валет, и помощник вальцовщика, молодой белозубый парень Давыдка, засучив по колено штаны, месили большой круг глины.

— А-а-а, хозяин!..— с насмешливым приветом обратился к нему Валет.

— Здравствуйте.

— Здравствуй, Владимир Сергеевич!

— Что это вы?..

— А вот глину месим,— с трудом выпрастывая ноги из вязкой, пахнущей навозом гущи, злобно усмехнулся Давыдка.— Папаша твой жалеет целковый — баб нанять, на нас ездит. Жила у тебя отец! — добавил он, с чавканьем переставляя ноги.

Владимир покраснел. Он чувствовал к вечно улыбающемуся Давыдке, к его пренебрежительному тону, даже к белым зубам непреодолимую неприязнь.

— Как жила?

— Так. Скупой страшно. Из-под себя ест,— просто пояснил Давыдка и улыбнулся.

Валет и Тимофей одобрительно посмеивались. Владимир почувствовал укол обиды. Он холодно оглядел Давыдку.

— Ты, что же... значит, недоволен?

— Залезь-ка, помеси, а тогда узнаешь. Какой же дурак будет доволен? Папашку твоего сюда бы заправить, живот-то стрясло бы!

Раскачиваясь, Давыдка тяжело ходил по кругу, высоко задирал ноги и теперь уже беззлобно и весело улыбался. Предвкушая приятное удовлетворение, Владимир тасовал мысли. Нужный ответ нашелся.

— Хорошо,— с расстановкой сказал он,— я передам папе, что ты недоволен службой.

Он искоса взглянул на лицо Давыдки и поразился произведенным впечатлением: губы Давыдки жалко и принужденно улыбались, лица других нахмурились. С минуту все трое молча месили крутевшую глину. Давыдка, наконец, оторвал от своих грязных ног глаза и заискивающе-злобно сказал:

— Я ить пошутил, Володя... Ну, шутейно сказал...

— Я передам папе, что́ ты говорил.

Чувствуя на глазах слезы обиды и за себя, и за отца, и за Давыдкину жалкую улыбку, Владимир прошел мимо цистерны.

— Володя!.. Владимир Сергеевич!..— испуганно крикнул Давыдка и вылез из глины, опуская штаны прямо на измазанные по колено ноги.

Владимир остановился. Давыдка подбежал к нему, тяжело дыша.

— Не говорите папаше. Нарочно сказано было... Уж простите меня, дурака... Ей-богу, без умысла!.. Нарочно...

— Ладно. Не скажу!..— морщась выкрикнул Владимир и пошел к калитке.

Жалость к Давыдке взяла верх. С чувством облегчения он зашагал около белого частокола. Из кузни, примостившейся в углу мельничного двора, слышался игривый перестук молотка: раз по железу — глухой и мягкий, два раза — с подскоком — по звенящей наковальне.

— На что трогал? — донесся до слуха уходившего Владимира приглушенный бас Валета.— Не тронь, оно вонять не будет.

«Ишь, сволочь,— озлобясь, подумал Владимир,— выражается... Сказать или не сказать?»

Оглянувшись, увидел прежнюю белозубую Давыдкину улыбку и твердо решил: «Скажу!»

На площади возле магазина стояла привязанная к столбу, запряженная в арбу лошадь. С крыши пожарного сарая ребятишки гоняли серую свиристящую тучу воробьев. С террасы гремел звучный баритон студента Боярышкина и еще чей-то голос — надтреснутый, сиповатый.

Владимир взошел на крыльцо, над ним заколыхалась листва дикого винограда, буйно заплетавшая крыльцо и террасу, висевшая с голубой резьбы карниза зелеными пенистыми шапками.

Боярышкин качал обритой фиолетовой головой, говорил, обращаясь к сидевшему около него молодому, но бородатому учителю Баланде:

— Читаю его и, несмотря на то, что я сын казака хлебороба и ко всем привилегированным классам питаю вполне естественную злобу,— тут, представьте, я до чертиков жалею это отмирающее сословие. Я сам чуть не становлюсь дворянином и помещиком, с восторгом всматриваюсь в их идеал женщины, болею за их интересы,— словом, черт знает что! Вот, дорогой, что значит гений! Можно и веру переменить.

Баланда мял кисть шелкового пояса и, иронически улыбаясь, рассматривал на подоле своей рубахи красные, вышитые гарусом узоры. Лиза, развалясь, сидела в кресле. Разговор ее, видимо, нимало не интересовал. Она всегдашними, что-то потерявшими и чего-то ищущими глазами скучливо глядела на фиолетовую, в царапинах, голову Боярышкина.

Поклонившись, Владимир прошел мимо, постучался к отцу в кабинет. Сергей Платонович на прохладной кожаной кушетке перелистывал июньскую книжку «Русского богатства». На полу валялся пожелтевший костяной нож.

- Тебе что?

Владимир вобрал голову в плечи, нервно оправил на себе рубашку.

— Я шел с мельницы...— начал он нерешительно, но вспомнил слепящую Давыдкину усмешку и, глядя на круглый отцовский живот, обтянутый чесучовой жилеткой, уже решительно продолжал: — ...и слышал, как Давыдка говорил...

Сергей Платонович выслушал внимательно, сказал:

— Уволим. Иди.— И, кряхтя, нагнулся за ножом.

По вечерам у Сергея Платоновича собиралась хуторская интеллигенция: Боярышкин — студент Московского технического училища; тощий, снедаемый огромным самолюбием и туберкулезом учитель Баланда; его сожительница — учительница Марфа Герасимовна — девушка нестареющая и круглая, с постоянно неприлично выглядывающей нижней юбкой; почтмейстер — чудаковатый, заплесневелый, с запахом сургуча и дешевых духов холостяк. Изредка наезжал из своего имения гостивший у отца — помещика и дворянина — молодой сотник Евгений Листницкий. По вечерам пили на террасе чай, тянули никчемные разговоры, и, когда обрывались вялые разговорные нити, кто-либо из гостей заводил дорогой, в инкрустациях хозяйский граммофон.

Изредка, в большие праздники, любил Сергей Платонович пустить пыль в глаза: созывал гостей и угощал дорогими винами, свежей осетровой икрой, ради этого случая выписанной из Батайска, лучшими закусками. В остальное время жил узко. Единственное, в чем не отказывал себе — это в книгах. Любил Сергей Платонович читать и до всего доходить собственным цепким, как повитель, умом.

Компаньон его, белокурый, с острой бородкой и потаенными щелками глаз, Емельян Константинович Атепин, выходил редко. Был он женат на бывшей усть-медведицкой

монашке, наплодил с ней за пятнадцать лет супружеской жизни восьмерых детей и бо́льшую часть времени проводил дома. Из полковых писарей вылез Емельян Константинович в люди, оттуда же принес в семью затхлый душок подхалимства, заискивания. Дети в его присутствии ходили на цыпочках, говорили шепотом. Каждое утро, умывшись, выстраивались в столовой в ряд, под черным висячим гробом громадных стенных часов, мать стояла позади, и едва из спальни долетало сухое покашливание отца, начинали разноголосо и фальшиво: «Спаси, господи, люди твоя», потом «Отче наш».

Емельян Константинович успевал одеться к концу молитвы, выходил, щуря щелки капустных глаз, по-архиерейски вытягивал мясистую голую руку. Дети подходили поочередно и целовали. Емельян Константинович целовал жену в щеку, говорил, нетвердо выговаривая букву «ч»:

— Полицка, заварила цаек?

— Заварила, Емельян Константинович.

— Налей покрепце.

Магазинную бухгалтерию вел он. Пятнил страницы под жирными заголовками «дебет» — «кредит» писарским, в кудряшках, почерком. Читал «Биржевые ведомости», без нужды ущемляя шишкастый нос в золотое пенсне. Со служащими обращался вежливо.

— Иван Петровиц, отпустите целовеку таврицанского ситцику.

Жена звала его Емельяном Константиновичем, дети — папацкой, а приказчики магазина — Цацой.

Два священника — отец Виссарион и благочинный отец Панкратий — дружбы с Сергеем Платоновичем не вели, были у них давнишние счеты. Между собой и то жили неладно. Строптивый кляузник отец Панкратий умело гадил ближним, а вдовый, живший с украинкой-экономкой отец Виссарион, от сифилиса гундосый, от природы приветливый, сторонился и не любил благочинного за непомерную гордыню и кляузный характер.

Все, кроме учителя Баланды, имели в хуторе собственные дома. На площади красовался ошелеванный пластинами, крашенный в синее домище Мохова. Против него на самой пуповине площади раскорячился магазин со сквозными дверями и слинявшей вывеской:

«ТОРГОВЫЙ ДОМ МОХОВ С. П. и АТЕПИН Е. К.»

К магазину примыкал низкорослый, длинный, с подвалом, сарай, саженях в двадцати от него — кирпичный

перстень церковной ограды и церковь с куполом, похожим на вызревшую зеленую луковицу. По ту сторону церкви — выбеленные, казенно-строгие стены школы и два нарядных дома: голубой, с таким же палисадником — отца Панкратия, и коричневый (чтобы не похож был), с резным забором и широким балконом — отца Виссариона. С угла на угол двухэтажный, несуразно тонкий домик Атепина, за ним почта, соломенные и железные крыши казачьих куреней, покатая спина мельницы с жестяными ржавыми петухами на крыше.

Жили, закрывшись от всего синего мира наружными и внутренними, на болтах, ставнями. С вечера, если не шли в гости, зачековывали болты, спускали с привязи цепных собак, и по немому хутору тарахтела лишь деревянным языком стукотушка ночного сторожа.

II

В конце августа Митька Коршунов случайно встретился возле Дона с дочерью Сергея Платоновича Елизаветой. Он только что приехал из-за Дона и, примыкая к коряге баркас, увидел крашеную легонькую лодку, легко бороздившую течение. Лодка шла из-под горы, направляясь к пристани, на веслах сидел Боярышкин. Голая голова его блестела пóтом, на лбу и висках вздулись веточки жил.

Митька не сразу узнал Елизавету. На глаза ее падала от соломенной шляпы сизая тень. Загорелыми руками прижимала к груди ворох желтых водяных кувшинок.

— Коршунов! — Она закивала головой, увидев Митьку.— Обманул меня?

— Как так обманул?

— А помнишь, обещался ехать со мной рыбалить?

Боярышкин бросил весла и разогнул спину. Лодка с разлета вылезла носом на землю, с хрустом дробя прибрежный мел.

— Помнишь? — смеялась Лиза, выскакивая из лодки.

— Некогда было. Работа,— оправдывался Митька и с перехваченным дыханием следил за подходившей к нему девушкой.

— Нет! Это невозможно!.. Я, Елизавета Сергеевна, отказываюсь. Вот вам хомут и дуга, а я вам больше не слуга! Подумайте, сколько исколесили по этой проклятой воде. У меня кровавые мозоли от весел. То ли дело материк.

Боярышкин твердо ступил на колючую крошку мела

длинной босой ступней, вытер лоб верхом измятой студенческой фуражки. Не отвечая ему, Лиза подошла к Митьке. Тот неумело пожал протянутую ему руку.

— Когда же поедем рыбалить? — спросила, запрокидывая голову, щуря глаза.

— Хучь завтра. Обмолотились, теперича можно.

— Обманешь?

— Ну, нет!

— Рано зайдешь?

— До света.

— Буду ждать.

— Приду, ей-богу, приду!

— Не забыл, в какое окно стучать?

— Найду,— улыбнулся Митька.

— Я, наверное, скоро уеду. Хотелось бы порыбалить.

Митька молча вертел в руке заржавленный ключ от баркаса и смотрел ей в губы.

— Скоро? — спросил Боярышкин, рассматривая на ладони узорную ракушку.

— Сейчас поедем.

Она помолчала и, чему-то улыбаясь, спросила:

— Ведь у вас какая-то свадьба была?

— Сестру выдавали.

— За кого же это? — И, не дожидаясь ответа, улыбнулась непонятно и коротко.— Приходи же! — Снова, как тогда, в первый раз, на террасе моховского дома, улыбка жиганула Митьку крапивным укусом.

Он проводил девушку глазами до лодки. Боярышкин, раскорячившись, сталкивал лодку; Лиза с улыбкой смотрела через его голову на Митьку, игравшего ключом, кивала ему головой.

Отъехав саженей пять, Боярышкин спросил тихо:

— Что это за молодчик?

— Знакомый.

— Друг сердца?

Митька, слышавший их разговор, за скрипом уключин не расслышал ответа. Он видел, как Боярышкин, налегая на весла, откидываясь, засмеялся, но ее лица не видел: она сидела к нему спиной. Сиреневая лента стекала со шляпы на оголенный покат плеча, дрожала от бессильного ветра, таяла, дразнила Митькин затуманенный взгляд.

Митька, редко ходивший рыбалить удочками, никогда не собирался с таким рвением, как в этот вечер. Он наколол кизяков и сварил в огороде пшенную кашу, наскоро перевязал отопревшие завязки крючков.

Михей, глядя на его приготовления, попросил:

— Возьми меня, Митрий. Одному неспособно.

— Управлюсь и один.

Михей вздохнул.

— Давно мы с тобой не ездили. Теперя подержал бы сазаника эдак в полпуда бы.

Митька, морщась от пара, бившего из чугуна с кашей горячим столбом, промолчал. Окончив сборы, пошел в горенку.

Дед Гришака сидел у окна; оседлав нос круглыми, в медной оправе очками, читал Евангелие.

— Дедушка! — окликнул Митька, подпирая плечом притолоку.

Дед Гришака лупнул глазами поверх очков.

— Ась?

— Разбуди меня после первых кочетов.

— Куда в такую спозаранку?

— Рыбалить.

Дед, любивший рыбу, для видимости запротивился:

— Отец говорил — конопи молотить завтра. Нечего баглайничать. Ишь, рыбалка!

Митька оттолкнулся от притолоки, схитрил:

— Мне все одно. Хотел бы рыбкой покормить деда, а раз конопи,— значит, не пойду.

— Погоди, куда ж ты? — испугался дед Гришака, стаскивая очки.— Я погутарю с Мироном, пойти уж, что ли. Рыбки посолонцевать неплохо, завтра вока́т середа. Разбужу, иди, иди, дурак! Чему скалишься-то?

В полночь дед Гришака, придерживая одной рукой холстинные портки, другой, державшей костыль, щупая дорогу, спустился по порожкам. Проплыл по двору до амбара белой трясучей тенью и концом костыля ткнул сопевшего на полсти Митьку. В амбаре пахло свежеобмолоченным хлебом, мышиным пометом и кислым, застоявшимся, паутинным запахом нежилого помещения.

Митька спал у закрома, на полсти. Раскачался не скоро. Дед Гришака сначала легонько толкал его костылем, шептал:

— Митюшка! Митька!.. Эко, поганец, Митька!

Митька густо сопел, поджимал ноги. Ожесточившись, дед воткнул тупой конец костыля ему в живот, начал сверлить, как буравом. Охнув, Митька схватил костыль и проснулся.

— Сон дурачий! Ить это беда, как спишь! — ругался дед.

— Молчи, молчи, не гуди,— пришептывал Митька спросонок, шаря по полу чирики.

Он дошел до площади. По хутору заголосили вторые петухи. Шел по улице, мимо дома попа Виссариона, слышал, как в курятнике, хлопая крыльями, протодьяконским басом взревел петух и испуганным шепотом заквохтали куры.

На нижней ступеньке магазина дремал сторож, воткнувшись носом в овчинное тепло воротника. Митька подошел к моховскому забору, сложил удочки и кошелку с припасом,— легонько ступая, чтобы не услышали собаки, взошел на крыльцо. Потянул дверную холодную ручку — заперто. Перелез через перила, подошел к окну. Створки полуприкрыты. Из черной скважины сладко пахнет девичьим, теплым во сне телом и неведомым сладким запахом духов.

— Лизавета Сергеевна!

Митьке показалось, что он сказал очень громко. Выждал. Тишина. «А ну, как ошибся окном? Что, ежели сам спит? Вот врепаюсь!.. Положит из ружья»,— думал Митька, сжимая оконную ручку.

— Лизавета Сергеевна, вставай рыбалить.

«Ежели ошибся окном — вот рыбальство будет!..»

— Вставай, что ли! — раздосадованно сказал он и просунул голову в комнату.

— А? Кто? — испуганно и тихо откликнулись из черноты.

— Рыбалить пойдешь? Это я, Коршунов.

— А-а-а, сейчас.

В комнате зашуршало. Сонный теплый голос, казалось, пахнул мятой. Митька видел что-то белое, шелестящее, двигавшееся по комнате.

«Эх, сладко бы с ней позоревать... А то рыбалить... Сиди там, коченей...» — неясно думал он, вдыхая запах спальни.

В окне показалось смеющееся лицо, повязанное белой косынкой.

— Я через окно. Дай мне руку

— Лезь.— Митька помог.

Опираясь на его руку, она близко взглянула ему в глаза.

— Скоро я?

— Ничего. Успеем.

Пошли к Дону. Она терла розовой ладонью слегка припухшие глаза, говорила:

— Сладко я спала. Надо бы еще поспать. Рано уж очень идем.

— Как раз будет.

Спустились к Дону по первому от площади проулку. За ночь откуда-то прибыла вода, и баркас, примкнутый к лежавшей вчера на сухом коряге, качался, окруженный водой.

— Разуваться надо,— вздохнула Лиза, меряя глазами расстояние до баркаса.

— Давай перенесу? — предложил Митька.

— Неудобно... я лучше разуюсь.

— Удобнее будет.

— Не надо,— замялась в смущении.

Митька левой рукой обнял ее ноги повыше колен и, легко приподняв, зашлепал по воде к баркасу. Она невольно обхватила смуглый твердый столб его шеи, засмеялась воркующе и тихо.

Если б не споткнулся Митька о камень, на котором хуторские бабы шлепали вальками белье, не было бы нечаянного короткого поцелуя. Ахнув, она прижалась к растрескавшимся Митькиным губам, и Митька стал в двух шагах от серой стенки баркаса. Вода заливалась ему в чирики, холодила ноги.

Отомкнув баркас, он с силой толкнул его от коряги, вскочил на ходу. Огребался коротким веслом, стоя. За кормой журчилась, плакала вода. Баркас приподнятым носом мягко резал стремя, направляясь к противоположному берегу. Дребезжали, подпрыгивая, удилища.

— Куда ты правишь? — спросила, оглядываясь назад.

— На энтот бок.

У песчаного обрыва баркас пристал. Не спрашиваясь, Митька поднял ее на руки и понес в кусты прибрежного боярышника. Она кусала ему лицо, царапалась, раза два придушенно вскрикнула и, чувствуя, что обессиливает, заплакала зло, без слез...

Возвращались часов в девять. Небо кутала желторудая мгла. Плясал по Дону ветер, гриватил волны. Плясал, перелезая через поперечные волны, баркас, и пенистые студеные брызги поднятой с глубин воды обдавали выпитое бледностью лицо Елизаветы, стекали и висли на ресницах и прядях выбившихся из-под косынки волос.

Она устало щурила опустошенные глаза, ломала в пальцах стебелек занесенного в баркас цветка. Митька греб, не глядя на нее, под ногами его валялись небольшой сазан и чебак, с застывшим в смертной судороге ртом и вылу-

пленным, в оранжевом ободке, глазом. На лице Митьки блудила виноватость, довольство скрещивалось с тревогой...

— Я повезу тебя к Семеновой пристани. Оттель тебе ближе,— сказал, поворачивая баркас по течению.

— Хорошо,— шепотом согласилась она.

На берегу безлюдно, припудренные меловой пылью огородные плетни над Доном изнывали, опаленные горячим ветром, поили воздух запахом прижженного хвороста. Тяжелые, обклеванные воробьями шляпки подсолнухов, вызрев до предела, никли к земле, роняли опушенные семечки. Займище изумрудилось наращенной молодой отавой. Вдали взбрыкивали жеребята, и тягучий смех балабонов, привешенных к их шеям, несло к Дону южным горячим ветром.

Митька поднял рыбу, протянул выходившей из баркаса Елизавете.

— Возьми улов-то. На!

Она испуганно взмахнула ресницами, взяла.

— Ну, я пойду.

— Что ж...

Пошла, держа в откинутой руке нанизанную на таловую хворостинку рыбу, жалкая, растерявшая в боярышнике недавнюю самоуверенность и веселость.

— Лизавета!

Она повернулась, тая в изломе бровей досаду и недоуменье.

— Вернись-ка на-час.

И когда подошла поближе, сказал, досадуя на свое смущенье:

— Недоглядели мы с тобой... Эх, юбка-то сзади... пятнышко... махонькое оно...

Она вспыхнула и залилась краской до ключиц.

Митька, помолчав, посоветовал:

— Иди задами.

— Все равно через площадь надо идти. Хотела ведь черную юбку надеть,— прошептала, с тоской и неожиданной ненавистью озирая Митькино лицо.

— Дай листком обзеленю? — просто предложил Митька и удивился выступившим на глазах ее слезам...

...Ветровым шелестом-перешепотом поползла по хутору новость: «Митька Коршунов Сергея Платоновича дочку обгулял!» Гутарили бабы на прогоне зарей, когда прогоняли табун коров, под узенькой, плавающей в серой пыли тенью колодезного журавля, проливая из ведер воду, у До-

на на плитняках самородного камня, выколачивая простиранные лохунишки.

— То-то оно без родной матушки.

— Самому-то дохнуть некогда, а мачеха скрозь пальцев поглядывает...

— Надысь сторож Давыдка Беспалый рассказывал: «Гляжу в полночь, а в крайнюю окно гребется человек. Ну, думаю, вор к Платоновичу. Подбегаю, стало быть.— Кто такое есть? Полицевский, сюда! — а это, стал быть, он и есть, Митька».

— Девки ноне, хвитина им в дыхало, пошли...

— Митька мому Микишке расписывал: «Дескать, сватать буду».

— Нехай хоть трошки сопли утрет!

— Приневолил ее, гутарили надысь, ссильничал...

— И-и-и, кума!..

Текли по улицам и проулкам слухи, мазали прежде чистое имя девушки, как свежие ворота густым дегтем...

Пала молва на лысеющую голову Сергея Платоновича и придавила к земле. Двое суток не выходил ни в магазин, ни на мельницу. Прислуга, жившая на низах, появлялась только перед обедом.

На третий день заложили Сергею Платоновичу в беговые дрожки серого в яблоках жеребца, укатил в станицу, важно и недоступно кивая головой встречавшимся казакам. А следом за ним прошуршала из двора блестящая лаком венская коляска. Кучер Емельян, слюнявя прикипевшую к седеющей бороденке гнутую трубочку, разобрал синее шелковье вожжей, и пара вороных, играючись, защелкала по улице. За кручей Емельяновой спины виднелась бледная Елизавета. Легонький чемоданчик держала в руках и невесело улыбалась; махала перчаткой стоявшим у ворот Владимиру и мачехе. Хромавший из лавки Пантелей Прокофьевич поинтересовался, обращаясь к дворовому Никите:

— Куда ж отправилась наследница-то?

И тот, снисходя к простой человеческой слабости, ответил:

— В Москву, на учение, курсы проходить.

На другой день случилось событие, рассказ о котором долго пережевывали и у Дона, и под тенью колодезных журавлей, и на прогоне... Перед сумерками (из степи пропылил уже табун) пришел к Сергею Платоновичу Митька (нарочно припозднился, чтоб не видели люди). Не просто так-таки пришел, а сватать дочь его Елизавету.

До этого виделся он с ней раза четыре, не больше. В последнюю встречу между ними происходил такой разговор:

— Выходи за меня замуж, Лизавета, а?

— Глупость!

— Жалеть буду, кохать буду... Работать у нас есть кому, будешь у окна сидеть, книжки читать.

— Дурак ты.

Митька обиделся и замолчал. Ушел в этот вечер домой рано, а утром заявил изумленному Мирону Григорьевичу:

— Батя, жени.

— Окстись.

— На самом деле, не шутейно говорю.

— Приспичило?

— Чего уж там...

— Какая же прищемила, не Марфушка-дурочка?

— Засылай сватов к Сергею Платоновичу.

Мирон Григорьевич аккуратно разложил на лавке чеботарный инструмент (чинил он шлеи), хахакнул:

— Ты, сынок, ноне веселый, вижу.

Митька уперся в свое, как бугай в стену; отец вспылил.

— Дурак! У Сергея Платоновича капиталу более ста тысячев; купец, а ты?.. Иди-ка отсель, не придуривайся, а то вот шлеей потяну жениха этого!

— У нас четырнадцать пар быков, именье вон какое, опять же он мужик, а мы казаки.

— Ступай! — коротко приказал Мирон Григорьевич, не любивший долгих разговоров.

Митька встретил сочувствие лишь у деда Гришаки. Тот приковылял к сыну, цокая костылем по полу.

— Мирон!

— Ну?

— Что супротивничаешь? Раз парню пришлась как раз...

— Батя, вы — чисто дитё, истинный бог! Уж Митрий глупо́й, а вы на диковину...

— Цыц! — пристукнул дед Гришака.— Аль мы им не ровня? Он за честь должен принять, что за его дочерю сын казака сватается. Отдаст с руками и с потрохами. Мы люди по всему округу звестные. Не голутьва, а хозяева!.. Да-с!.. Поезжай, Мирошка, нечего там! В приданое мельницу нехай дает. Проси!

Мирон Григорьевич запыхтел и ушел на баз, а Митька порешил дождаться вечера и идти самому — знал: отцово

упрямство, что вяз на корню: гнуться — гнется, а сломить и не пробуй.

Дошел до парадного, посвистывая, а тут оробел. Потоптался и пошел через двор. На крыльце спросил у горничной, гремевшей накрахмаленным фартуком:

— Сам дома?

— Чай пьют. Подожди.

Сел, подождал, выкурил цигарку и, послюнявив пальцы, затушил, а окурок густо размазал по полу. Сергей Платонович вышел, обметая с жилета крошки сухаря; увидел — и сдвинул брови.

— Пройдите.

Митька первый вошел в прохладный, пахнущий книгами и табаком кабинет, почувствовал, что той смелости, которой зарядился из дому, хватило как раз до порога кабинета.

Сергей Платонович подошел к столу, крутнулся на пискнувших каблуках.

— Ну? — Пальцы за его спиной царапали доску письменного стола.

— Пришел узнать...— Митька нырнул в холодную слизь буравивших его глаз и зябко передернул плечами,— может, отдадите Лизавету?

Отчаяние, злоба, трусость выдавили на растерянном Митькином лице пот, скупой, как росная сырость в засуху.

У Сергея Платоновича дрожала левая бровь и топырилась, выворачивая бордовую изнанку, верхняя губа. Вытягивая шею, он весь клонился вперед.

— Что?.. Что-о-о?.. Мерзавец!.. Пошел!.. К атаману тебя! Ах ты сукин сын! Пас-ку-да!..

Митька, осмелев от чужого крика, следил за приливом сизой крови, напиравшей на щеки Сергея Платоновича.

— Не примите в обиду... Думал вину свою покрыть.

Сергей Платонович закатил набухшие от крови и слез глаза и жмякнул под ноги Митьке чугунную массивную пепельницу. Она рикошетом ударила Митьку в чашечку левой ноги, но он стойко выдержал боль и, рывком распахнув дверь, выкрикивал, скалясь, наглея от обиды и боли:

— Воля ваша, Сергей Платонович, как хотите, а я от души... Кому она такая-то нужна? Вот и думалось славу прикрыть... А то ить надкушенный кусок кому нужен? Собака и то не исть.

Сергей Платонович, прикладывая к губам скомканный платок, шел за Митькой по пятам. Он загородил дорогу через парадный ход, и Митька сбежал во двор. Тут-то Сер-

гей Платонович только глазом мигнул торчавшему во дворе Емельяну-кучеру. Пока Митька возился с тугим засовом у калитки, вырвались из-за угла сарая четыре выпущенные собаки и, завидя чужого, распластались по чисто выметенному двору.

Из Нижнего с ярмарки привез Сергей Платонович в 1910 году пару щенят — суку и кобелька. Были они черны, курчавы, зевлороты. Через год вымахали с годовалого телка ростом, сначала рвали на бабах, ходивших мимо моховского двора, юбки, потом научились валить баб на землю и кусать им ляжки, и только тогда, когда загрызли до смерти телку отца Панкратия да пару атепинских кабанков-зимнухов, Сергей Платонович приказал посадить их на цепь. Спускали собак по ночам да раз в год, весною, на случку.

Митька не успел повернуться лицом, как передний, по кличке Баян, кинул ему лапы на плечи и сомкнул пасть, увязив зубы в ватной куртке. Рвали, тянули, клубились черным комом. Митька отбивался руками, стараясь не упасть. Мельком видел, как Емельян, развеивая из трубки искры, промелся в кухню, хлопнул крашеной дверью.

На углу крыльца, прислонясь спиной к водосточной трубе, стоял Сергей Платонович, сучил беленькие кулачки, поросшие глянцевитым жестким волосом. Качаясь, выдернул Митька засов и на окровяненных ногах выволок за собой рычащий, жарко воняющий псиной собачий клубище. Баяну он изломал горло — задушил, а от остальных с трудом отбили его проходившие мимо казаки.

III

Наталья пришлась Мелеховым ко двору. Мирон Григорьевич детей школил; не глядя на свое богатство и на то, что помимо них были работники, заставлял работать, приучал к делу. Работящая Наталья вошла свекрам в душу. Ильинична, скрыто недолюбливавшая старшую сноху-нарядницу Дарью, привязалась к Наталье с первых же дней.

— Поспись, поспись, моя чадунюшка! Чего вскочила? — ласково бубнила она, переставляя по кухне дородные ноги.— Иди, позорюй, без тебя управимся.

Наталья, встававшая с зарей, чтоб помочь в стряпне, уходила в горницу досыпать.

Строгий на дому Пантелей Прокофьевич и то говаривал жене:

— Слышь, баба, Наташку не буди. Она и так днем мотает. Сбираются с Гришкой пахать. Дарью, Дарью стегай. С ленцом баба, спорченная... Румянится да брови чернит, мать ее суку.

— Нехай хуть первый годок покохается,— вздыхала Ильинична, вспоминая свою горбатую в работе жизнь.

Григорий малость пообвык в новом своем, женатом положении, пообтерхался и недели через три со страхом и озлоблением осознал в душе, что не вконец порвано с Аксиньей, осталось что-то, как заноза в сердце. И с этой болью ему не скоро расстаться. Крепко приросло то, на что он в жениховском озорстве играючи рукой помахивал,— дескать, загоится, забудется... А оно вот и не забылось и кровоточит при воспоминаниях. Еще перед женитьбой, как-то на току во время молотьбы, спросил Петро:

— Гришка, а как же с Аксюткой?

— А что?

— Небось, жалко кидать?

— Я кину — кто-нибудь подымет,— смеялся тогда Гришка.

— Ну, гляди,— и Петро жевал изжеванный ус,— а то женишься, да не в пору...

— Тело заплывчиво, а дело забывчиво,— отшутился Гришка.

А оно не так сложилось, и по ночам, по обязанности лаская жену, горяча ее молодой своей любовной ретивостью, встречал Гришка с ее стороны холодок, смущенную покорность. Была Наталья до мужниных утех неохоча, при рождении наделила ее мать равнодушной, медлительной кровью, и Григорий, вспоминая исступленную в любви Аксинью, вздыхал:

— Тебя, Наталья, отец, должно, на крыге зачинал... Дюже леденистая ты.

А Аксинья при встречах смутно улыбалась, темнея зрачками, роняла вязкую тину слов:

— Здорово, Гришенька! Как живешь-любишься с молодой женушкой!

— Живем...— отделывался Григорий неопределенным ответом и норовил поскорее уйти от ласкового Аксиньиного взгляда.

Степан, как видно, примирился с женой. Реже стал бывать в кабаке и на гумне однажды вечером, вея хлеб, в первый раз за время разлада предложил:

— Давай, Ксюша, заиграем песню?

Присели, прислонясь к вороху обмолоченной пыльной пшеницы. Степан завел служивскую. Аксинья грудным полным голосом дишканила. Складно играли, как в первые годы замужней жизни. Тогда, бывало, едут с поля, прикрытые малиновой полою вечерней зари, и Степан, покачиваясь на возу, тянет старинную песню, тягуче тоскливую, как одичавший в безлюдье, заросший подорожником степной шлях. Аксинья, уложив голову на выпуклые полукружья мужниной груди, вторит. Кони тянут скрипучую мажару, качают дышло. Хуторские старики издалека следят за песней:

— Голосистая жена Степану попала.

— Ишь, ведут... складно!

— У Степки ж и голосина, чисто колокол!

И деды, провожавшие с завалинок пыльный багрянец заката, переговаривались через улицу:

— Низовскую играют.

— Этую, полчок, в Грузии сложили.

— То-то ее покойник Кирюшка любил!

Григорий по вечерам слышал, как Астаховы играли песни. На молотьбе (ток их соседил со Степановым током) видел Аксинью, по-прежнему уверенную, будто счастливую. Так, по крайней мере, казалось ему.

Степан с Мелеховыми не здоровался. Похаживал с вилами по гумну, шевелил в работе широкими вислыми плечами, изредка кидал жене шутливое словцо, и Аксинья смеялась, играя из-под платка черными глазами. Зеленая юбка ее зыбилась перед закрытыми глазами Григория. Шею его крутила неведомая сила, поворачивая голову в сторону Степанова гумна. Он не замечал, как Наталья, помогая Пантелею Прокофьевичу настилать посад снопов, перехватывала каждый невольный взгляд мужа своим тоскующим, ревнивым взглядом; не видел того, как Петро, гонявший по кругу лошадей, взглядывая на него, курносил лицо неприметной, про себя, ухмылкой.

Под глухой перегул — стон распятой под каменными катками земли — думал Гришка неясные думки, пытался и не мог поймать увиливавшие от сознания скользкие шматочки мыслей.

С ближних и дальних гумен ползли и таяли в займище звуки молотьбы, крики погонычей, высвист кнутов, татаканье веялочных барабанов. Хутор, зажиревший от урожая, млел под сентябрьским прохладным сугревом, протянувшись над Доном, как бисерная змея поперек дороги. В каждом дворе, обнесенном плетнями, под крышей каждо-

го куреня коловертью кружилась своя, обособленная от остальных, полнокровная, горько-сладкая жизнь: дед Гришака, простыв, страдал зубами; Сергей Платонович, перетирая в ладонях раздвоенную бороду, наедине с собой плакал и скрипел зубами, раздавленный позором; Степан вынянчивал в душе ненависть к Гришке и по ночам во сне скреб железными пальцами лоскутное одеяло; Наталья, убегая в сарай, падала на кизяки, тряслась, сжимаясь в комок, оплакивая заплеванное свое счастье; Христоню, пропившего на ярмарке телушку, мучила совесть; томимый ненасытным предчувствием и вернувшейся болью, вздыхал Гришка; Аксинья, лаская мужа, слезами заливала негаснущую к нему ненависть.

Уволенный с мельницы Давыдка-вальцовщик целыми ночами просиживал у Валета в саманной завозчицкой, и тот, посверкивая злыми глазами, говорил:

— Не-е-ет, ша-ли-ишь! Им скоро жилы перережут! На них одной революции мало. Будет им тысяча девятьсот пятый год, тогда поквитаемся! По-квита-ем-ся!..— Он грозил рубцеватым пальцем и плечами поправлял накинутый внапашку пиджак.

А над хутором шли дни, сплетаясь с ночами, текли недели, ползли месяцы, дул ветер, на погоду гудела гора, и, застекленный осенней прозрачно-зеленой лазурью, равнодушно шел к морю Дон.

IV

В конце октября, в воскресенье, поехал Федот Бодовсков в станицу.

В кошелке отвез на базар четыре пары кормленых уток, продал: в лавке купил жене ситцу в цветочных загогулинах и совсем собрался уезжать (упираясь в обод ногой, затягивал супонь),— в этот момент подошел к нему человек, чужой, не станичный.

— Здравствуйте! — приветствовал он Федота, касаясь смуглыми пальцами полей черной шляпы.

— Здравствуй! — выжидательно процедил Федот, прищуря калмыцкие глаза.

— Вы откуда?

— С хутора, не тутошний.

— А с какого будете хутора?

— С Татарского.

Чужой человек достал из бокового кармана серебряный,

с лодочкой на крышке, портсигар; угощая Федота папироской, продолжал расспросы:

— Большой ваш хутор?

— Спасибочко, покурил. Хутор-то наш? Здоровый хутор. Никак, дворов триста.

— Церковь есть?

— А как же, есть.

— Кузнецы есть?

— Ковали, то есть? Есть и ковали.

— А при мельнице слесарня имеется?

Федот взвожжал занудившегося коня, неприязненно оглядел черную шляпу и на крупном белом лице морщины, втыкавшиеся в короткую черную бороду.

— Вам чего надо-то?

— А я в ваш хутор переезжаю жить. Сейчас вот был у станичного атамана. Вы порожняком едете?

— Порожнем.

— Заберете меня? Только я не один, жена со мной да два сундука пудов на восемь.

— Забрать можно.

Сладившись за два целковых, Федот заехал к Фроське-бубличнице, у которой стоял на квартире подрядивший его, усадил щупленькую белобрысую женщину, поставил в задок повозки окованные сундуки.

Выехали из станицы. Федот, причмокивая, помахивал на своего маштака волосяными вожжами, вертел угловатой, с плоским затылком головой: его бороло любопытство. Пассажиры его скромненько сидели позади, молчали. Федот сначала попросил закурить, а потом уже спросил:

— Вы откель же прибываете в наш хутор?

— Из Ростова.

— Тамошний рожак?

— Как вы говорите?

— Спрашиваю: родом откеда?

— А-а, да-да, тамошний, ростовский.

Федот, поднимая бронзовые скулы, вгляделся в далекие заросли степного бурьяна: Гетманский шлях тянулся на изволок, и на гребне, в коричневом бурьянном сухостое, в полверсте от дороги калмыцкий, наметанно-зоркий глаз Федота различил чуть приметно двигавшиеся головки дроф.

— Ружьишка нету, а то б заехали на дудаков. Вон они ходют...— вздохнул, указывая пальцем.

— Не вижу,— сознался пассажир, подслепо моргая.

Федот проводил глазами спускавшихся в балку дроф

и повернулся лицом к седокам. Пассажир был среднего роста, худощав, близко поставленные к мясистой переносице глаза светлели хитрецой. Разговаривая, он часто улыбался. Жена его, закутавшись в вязаный платок, дремала. Лица ее Федот не разглядел.

— По какой же надобности едете в наш хутор на жительство?

— Я слесарь, хочу мастерскую открыть. Столярничаю.

Федот недоверчиво оглядел его крупные руки, и пассажир, уловив этот взгляд, добавил:

— К тому же я являюсь агентом от компании «Зингер» по распространению швейных машин.

— Чей же вы будете по прозвищу? — поинтересовался Федот.

— Моя фамилия Штокман.

— Не русский, стало быть?

— Нет, русский. Дед из латышей происходил.

За короткое время Федот узнал, что слесарь Штокман Иосиф Давыдович работал раньше на заводе «Аксай», потом на Кубани где-то, потом в Юго-восточных железнодорожных мастерских. Помимо этого еще кучу подробностей чужой жизни выпытал любознательный Федот.

Пока доехали до Казенного леса, иссяк разговор. В придорожном родниковом колодце напоил Федот припотевшего маштака и, осовелый от тряски и езды, начал подремывать. До хутора осталось верст пять.

Федот примотал вожжи; свесив ноги, прилег поудобней. Вздремнуть ему не удалось.

— Как у вас житье? — спросил Штокман, подпрыгивая и качаясь на сиденье.

— Живем, хлеб жуем.

— А казаки, что же, вообще, довольны жизнью?

— Кто доволен, а кто и нет. На всякого не угодишь.

— Так, так...— соглашался слесарь. И, помолчав, продолжал задавать кривые, что-то таившие за собой вопросы: — Сытно живут, говоришь?

— Живут справно.

— Служба, наверное, обременяет? А?

— Служба-то?.. Привычные мы, только и поживешь, как на действительной.

— Плохо вот то, что справляют всё сами казаки.

— Да как же, туды их мать! — оживился Федот и опасливо глянул на отвернувшуюся в сторону женщину.— С этим начальством беда... Выхожу на службу, продал быков — коня справил, а его взяли и забраковали.

– Забраковали? — притворно удивился слесарь.

— Как есть, вчистую. Порченый, говорят, на ноги. Я так, я сяк: «Войдите, говорю, в положение, что у него ноги как у призового жеребца, но ходит он петушиной рысью... проходка у него петушиная». Нет, не признали. Ить это раз-з-зор!..

Разговор оживился. Федот в увлечении соскочил с повозки, охотно стал рассказывать о хуторянах, ругать хуторского атамана за неправильную дележку луга, расхваливая порядки в Польше, где полк его стоял во время отбывания им действительной службы. Слесарь остреньким взглядом узко сведенных глаз бегал по Федоту, шагавшему рядом с повозкой, курил легкий табак из костяного с колечками мундштука и часто улыбался; но косая поперечная морщина, рубцевавшая белый покатый лоб, двигалась медленно и тяжело, словно изнутри толкаемая ходом каких-то скрытых мыслей.

Доехали до хутора перед вечером.

Штокман, по совету Федота, сходил ко вдовой бабе Лукешке Поповой, снял у нее две комнаты под квартиру.

— Кого привез из станицы? — спрашивали у Федота соседки, выждав его у ворот.

— Агента.

— Какого такого агела?

— Дуры, эх, дуры! Агента, сказано вам,— машинами торгует. Красивым так раздает, а дурным, таким вот, как ты, тетка Марья, за деньги.

— Ты-то, дьявол клешнятый, хорош. Образина твоя калмыцкая!.. На тебя конем не наедешь: испужается.

— Калмык да татарин — первые люди в степе, ты, тетушка, не шути!..— уходя, отбивался Федот.

Поселился слесарь Штокман у косой и длинноязыкой Лукешки. Ночью не успел заночевать, а по хутору уж бабы языки вывалили.

— Слыхала, кума?

— А что?

— Федотка-калмык немца привез.

— Ну-ну?..

— И вот тебе матерь божья! В шляпе, а по прозвищу Штопол чи Штокал...

— Никак, из полицейских?

— Акцизный, любушка.

— И-и-и, бабоньки, брешут люди. Он, гутарют, булгахтир, все одно как попа Панкратия сынок.

Пашка, сбегай, голубь, к Лукешке, спроси у ней потихоньку, мол: «Тёта, кого к тебе привезли?»

Шибчей беги, чадунюшка!

На другой день приезжий явился к хуторскому атаману.

Федор Маныцков, носивший атаманскую насеку третий год, долго вертел в руках черный клеенчатый паспорт, потом вертел и разглядывал писарь Егор Жарков. Переглянулись, и атаман, по старой вахмистерской привычке, властно повел рукой:

– Живи.

Приезжий откланялся и ушел. Неделю из дому носу не показывал, жил, как сурок в сурчине. Постукивал топором, мастерскую устраивал в летней завалюхе-стряпке. Охладел к нему бабий ненасытный интерес, лишь ребятишки дни напролет неотступно торчали над плетнями, с беззастенчивым любопытством разглядывая чужого человека.

V

Григорий с женой выехали пахать за три дня до покрова. Пантелей Прокофьевич прихворнул; опираясь на костыль, охая от боли, ломавшей поясницу, вышел проводить пахарей.

— Энти два улеша вспаши, Гришка, что за толокой у Красного лога.

— Ну-ну. А что под Таловым яром деляна, с энтой как? — шепотом спрашивал перевязавший горло охрипший на рыбальстве Григорий.

— После покрова. Зараз и тут хватит. Полтора круга [1] под Красным, не жадуй.

— Петро не приедет пособить?

— Они с Дашкой на мельницу поедут. Надо ноне смолоть, а то завозно.

Ильинична совала Наталье в кофту мягких бурсаков, шептала:

— Может, Дуняшку бы взяла погонять быков?

— Управимся и двое.

— Ну гляди, ягодка. Христос с тобой.

Изгибая тонкий стан под тяжестью вороха мокрой одежды, Дуняшка прошла через двор к Дону полоскать.

---

[1] Круг — четыре гектара.

— Наташа, милушка, там в Красном логу воробьиного щавлю — сила, нарви!

— Нарву, нарву.

— Цыц, стрекотуха! — Пантелей Прокофьевич махал костылем.

Три пары быков потянули по дороге перевернутый запашник, чертя затвердевшую от осеннего сухостоя и бездождья черствую землю. Григорий поминутно поправлял жавший шею платок, шел по обочине дороги, кашлял. Наталья шагала рядом с ним, на спине ее колотился мешок с харчами.

В степи за хутором стыла прозрачная тишина. За толокой, за сутулым бугром расчесывали землю плугами, свистали погонычи, а тут — над шляхом — голубая проседь низкорослой полыни, ощипанный овечьими зубами придорожный донник, горюнок, согнутый в богомольном поклоне, да звонкая стеклянная стынь холодеющего неба, перерезанная летающими нитями самоцветной паутины.

Петро с Дарьей, проводив пахарей, собрались на мельницу. Повесив в амбаре грохот, Петро подвеивал пшеницу, Дарья насыпала в мешки и сносила на бричку.

Пантелей Прокофьевич запряг лошадей, заботливо оправил упряжь.

— Скоро, что ль?

— Зараз,— откликнулся из амбара Петро.

* * *

На мельнице завозно. Двор густо уставлен подводами. Около весов давка. Петро кинул Дарье вожжи и соскочил с брички.

— На мой ярлык скоро? — спросил у стоявшего за весами Валета.

— Успеешь.

— Какой номер смалывают?

— Тридцать восьмой.

Петро вышел сносить мешки. В это время в весовой заругались. Чей-то охриплый, злой голос тявкал:

— Ты проспал, а теперь лезешь? Отойди, хохол, а то клюну!

Петро по голосу угадал Якова Подкову. Прислушался. В весовой пухнул, выпирая из дверей, крик.

Четко лязгнул удар, и из дверей вывалился со сбитым

на затылок черным картузом немолодой бородатый тавричанин[1].

— За шо? — крикнул он, хватаясь за щеку.

— Я тебе зоб вырву!..

— Нет, погоди!

— Микихвор, сюда!..

Яков Подкова (на службе ковал коня; взыграв стукнул тот копытом по лицу Якова, и, проломив нос, разрезав губы, вылегла на лице подкова; овальный шрам зарос, посинел, пятнышками чернели следы острых шипов,— от этого и прозвище — Подкова), бравый, плотно сбитый батареец, выбежал из дверей, подсучивая рукава. Сзади его крепко хлобыстнул высокий, в розовой рубахе, тавричанин. Подкова покачнулся, но на ногах устоял.

— Братцы, казаков бьют!..

Из дверей мельницы на двор, заставленный возами, как из рукава, вперемежку посыпались казаки и тавричане, приехавшие целым участком.

Свалка завязалась у главного входа. Хряснули двери под напором нахлынувших тел. Петро кинул мешок и, крякнув, мелкими шажками затрусил к мельнице. Привстав на возу, Дарья видела, как Петро втесался в середину, валяя подручных; охнула, когда Петра на кулаках донесли до стены и уронили, топча ногами. Из-за угла от машинной, размахивая железным болтом, бежал вприскочку Митька Коршунов.

Тот самый тавричанин, который сзади ударил Подкову, вырвался из кучи, за спиной его подбитым птичьим крылом трепыхался разорванный розовый рукав. Низко пригибаясь, чертя руками землю, тавричанин добежал до первой повозки и легко вывернул оглоблю. Над мельничным двором тягуче и хрипко плыло:

— А-а-а-а-а...

— Гу-у-у-у...

— А-я-я-а-а-а-а-а!..

Хряск. Стук. Стон. Гуд...

Трое братьев Шумилиных прибежали из дому. Безрукий Алексей упал в калитке, запутавшись ногами в брошенных кем-то вожжах; вскочил, запрыгал через сомкнутые дышла повозок, прижимая к животу холостой левый рукав. У брата его Мартина вылезла из белого чулка за-

[1] Тавричанами называли на Дону украинцев, чьи предки были по приказу Екатерины II переселены из южных соседних с Крымом (Таврией) мест.

правленная штанина; нагнулся, хотел вобрать, но у мельницы всплеснулся вой. Чей-то крик взлетел высоко над покатой крышей мельницы, как взвихренная нитка паутины. Мартин выпрямился и кинулся догонять Алексея.

Дарья смотрела с воза, задыхаясь, ломая пальцы; кругом взвизгивали и выли бабы, беспокойно стригли ушами лошади, взмыкивали, прижимаясь к возам, быки... Мимо проковылял, плямкая губами, бледный Сергей Платонович, под жилеткой круглым яйцом катался живот. Дарья видела, как Митьку Коршунова подкосил оглоблей тавричанин в расшматованной розовой рубахе и сейчас же упал навзничь, выронив расщепленную оглоблю, а на него ступил безрукий Алексей, прислонивший к тавричанскому затылку свой кулак-свинчатку. Перед глазами Дарьи разноцветными лоскутьями мелькали разрозненные сценки побоища; она видела и не удивлялась тому, как Митька Коршунов, стоя на коленях, резнул железным болтом бежавшего мимо Сергея Платоновича; тот вскинул размахавшимися руками и пополз раком в весовую; его топтали ногами, валили навзничь... Дарья истерически хохотала, ломались в смехе черные дуги ее подкрашенных бровей. Оборвала сумасшедший смех, наткнувшись глазами на Петра; качаясь, выбрался он из колыхавшейся, гудевшей гущи и лег под возом, харкая кровью. Дарья метнулась к нему с криком. А из хутора бежали казаки с кольями, один махал пешней.

Побоище принимало чудовищные размеры. Дрались не так, как под пьянку у кабака или в стенках на масленицу. У дверей весовой лежал с проломленной головой молодой тавричанин; разводя ногами, окунал голову в черную спекшуюся кровь, кровяные сосульки волос падали на лицо; как видно, отходил свое по голубой веселой земле.

Тавричан, сгрудившихся овечьим гуртом, оттеснили к завозчицкой. Худым бы кончилось дело, если б старик тавричанин не догадался: вскочив в завозчицкую, он выдернул из печи искрящуюся головню и выбежал из дверей. Бежал к сараю, где хранился отмол, тысяча с лишком пудов хлеба. Из-за плеча его кисеею вился дым, выпархивали тусклые в дневном свете искры.

— Запа-лю-у-ууу! — дико взревел, поднося к камышовой крыше трескучую головню.

Казаки дрогнули и стали. Сухой порывистый ветер дул с востока, относя дым от крыши завозчицкой к куче сгрудившихся тавричан.

Одну добротную искру в сухой слежалый камыш крыши — и дымом схватится хутор...

Гул, глухой и короткий, тронул ряды казаков. Кое-кто задом отходил к мельнице, а тавричанин, махая головней, сея огненные капли из сизого дыма, кричал:

— Спалю!.. Спалю-у-ууу! Уходь с двора!..

Синий во многих местах изуродованного своего лица, Яков Подкова — зачинщик драки — первый покинул мельничный двор. За ним стекли казаки, поспешно и скоро.

Тавричане, побросав мешки, запрягли в брички лошадей и, стоя, махая узлами ременных вожжей, полосуя лошадей кнутами, вырвались из двора и загрохотали по улице за хутор.

Безрукий Алексей — посреди двора; мечется по поджарому животу холостой, завязанный в конце рукав рубахи, всегдашней судорогой дергается глаз и щека.

— На коней, казаки!..

— Догнать!..

— Дале гребня не ускачут!..

Митька Коршунов, кособочась, кинулся было из двора. Заметная суматоха вновь рябью тронула собравшихся у мельницы казаков, но в момент этот от машинной скорыми шагами подошел, никем раньше не примеченный, незнакомый, в черной шляпе человек; строгая толпу лезвиями узко сведенных остреньких глаз, поднял руку.

— Обождите!

— Ты кто такой? — Подкова сдвинул танцующие брови.

— Откель сорвался?

— Узы его!

— Га!..

— Тю-у-у!..

— Постойте, станичники!..

— Куцый кобель тебе станишник!..

— Мужик!

— Лапоть дровяной!

— Дай ему, Яш!

— По гляделкам ему!.. По гляделкам!..

Человек улыбнулся смущенно, но без боязни, снял шляпу, жестом беспримерной простоты вытирая лоб, улыбкой обезоружил вконец.

— В чем дело? — Он махнул сложенной вдвое шляпой, указывая на черную, впитанную землей кровь у дверей весовой.

— Хохлов били,— мирно ответил безрукий Алексей и подморгнул щекой и глазом.

— Да за что били?

— За очередь. Не залазь наперед,— пояснил Подкова, выступая вперед, широким взмахом вытирая красную соплю под носом.

— Вложили им память!

— Эх, догнать ба... В степе не зажгешь.

— Сробели мы, а небось не посмел бы?

— Человек — в отчаянности, зажег бы, как пить дать.

— Хохлы, они огромадно сердитые,— усмехнулся Афонька Озеров.

Человек махнул шляпой в его сторону.

— А ты кто?

Тот презрительно цвиркнул через скважину щербатого рта и, проследив за полетом слюнной петли, отставил ногу.

— Я-то казак, а ты не из цыганев?

— Нет. Мы с тобой обое русские.

— Брешешь! — раздельно выговорил Афонька.

— Казаки от русских произошли. Знаешь про это?

— А я тебе говорю — казаки от казаков ведутся.

— В старину от помещиков бежали крепостные, селились на Дону, их-то и прозвали казаками.

— Иди-ка ты, милый человек, своим путем,— сжимая запухшие пальцы в кулак, сдержанно-злобно посоветовал Алексей-безрукий и заморгал чаще.

— Сволочь поселилась!.. Ишь, поганка, в мужиков захотел переделать!

— Кто это такой? Слышишь, Афанасий?

— Приехал тут какой-то. У Лукешки-косой квартирует.

Момент для погони был упущен. Казаки расходились, оживленно обсуждая происшедшую стычку.

* * *

Ночью за восемь верст от хутора, в степи, кутаясь в колючий плотный зипун, Григорий тоскливо говорил Наталье:

— Чужая ты какая-то... Ты — как этот месяц: не холодишь и не греешь. Не люблю я тебя, Наташка, ты не гневайся. Не хотел гутарить про это, да нет, видно, так не прожить... И жалко тебя — кубыть за эти деньки и сродни-

лись, а нету на сердце ничего... Пусто. Вот как зараз в степе...

Наталья глядела вверх на недоступное звездное займище, на тенистое призрачное покрывало плывущей над ними тучи, молчала. Оттуда, с черно-голубой вышней пустоши, серебряными колокольцами кликали за собой припозднившиеся в полете журавли.

Тоскливо, мертвенно пахли отжившие травы. Где-то на бугре мерцала кумачная крапинка разложенного пахарями костра...

Перед светом Григорий проснулся. На зипуне на два вершка лежал снег. В мерцающей девственной голубизне свежего снега томилась степь, и, четкие, синели возле стана следы плутавшего по первопутку зайца.

VI

С давних пор велось так: если по дороге на Миллерово ехал казак один, без товарищей, то стоило ему при встрече с украинцами (слободы их начинались от хутора Нижне-Яблоновского и тянулись вплоть до Миллерова на семьдесят пять верст) не уступить дороги, украинцы избивали его. Оттого ездили на станцию по нескольку подвод вместе и тогда уж, встречаясь в степи, не боялись вступить в перебранку.

— Эй, хохол! Дорогу давай! На казачьей земле живешь, сволочуга, да ишо дорогу уступать не хочешь?

Несладко бывало и украинцам, привозившим к Дону на Парамоновскую ссыпку пшеницу. Тут драки начинались безо всякой причины, просто потому, что «хохол», а раз «хохол» — надо бить.

Не одно столетье назад заботливая рука посеяла на казачьей земле семена сословной розни, растила и холила их, и семена гнали богатые всходы: в драках лилась на землю кровь казаков и пришельцев — русских, украинцев.

Через две недели после драки на мельнице в хутор приехали становой пристав и следователь.

Штокмана вызвали на допрос первого. Следователь, молодой, из казачьих дворян чиновник, роясь в портфеле, спросил:

— Вы где жили до приезда сюда?

— В Ростове.

— В тысяча девятьсот седьмом году за что отбывали тюремное наказание?

Штокман скользнул глазами по портфелю и косому, в перхоти, пробору на склоненной голове следователя.

— За беспорядки.

— Угу-м... Где вы работали в то время?

— В железнодорожных мастерских.

— Профессия?

— Слесарь.

— Вы не из жидов? Не выкрест?

— Нет. Я думаю...

— Мне неинтересно знать, что вы думаете. В ссылке были?

— Да, был.

Следователь поднял голову от портфеля, пожевал выбритыми, в пупырышках, губами.

— Я вам посоветую уехать отсюда...— И про себя: — Впрочем, я сам постараюсь об этом.

— Почему, господин следователь?

На вопрос вопросом:

— О чем вы имели беседу с местными казаками в день драки на мельнице?

— Собственно...

— А ну, можете быть свободны.

Штокман вышел на террасу моховского дома (у Сергея Платоновича всегда останавливалось начальство, минуя въезжую) и, пожимая плечами, оглянулся на створчатые крашеные двери.

VII

Зима легла не сразу. После покрова стаял выпавший снег, и табуны снова выгнали на подножный. С неделю тянул южный ветер, теплело, отходила земля, ярко доцветала в степи поздняя мшистая зеленка.

Ростепель держалась до Михайлова дня, потом даванул мороз, вывалил снег; день ото дня холод крепчал, подпало еще на четверть снегу, и на опустевших обдонских огородах, через занесенные по маковки плетни, девичьей прошивной мережкой легли петлистые стежки заячьих следов. Улицы обезлюдели.

Пластался над хутором кизячный дым, возле кучек рассыпанной у дороги золы расхаживали налетевшие к жилью грачи. Сизой, выцветшей лентой закривилась по хутору санная ровень дороги-зимнухи.

На майдане собрался однажды сход: подходили дележ и порубка хвороста. Толпились у крыльца правления в тулупах и шубах, поскрипывали валенками. Холод загнал в правление. За столом, по бокам от атамана и писаря, расселись почетные — в серебряной седине бород — старики, помоложе — с разномастными бородами и безбородые — казаки жались в кураготы, гудели из овчинной теплыни воротников. Писарь крыл бумагу убористыми строками, атаман засматривал ему через плечо, а по нахолодавшей комнате правления приглушенным гудом:

— Сена́ ноне...

— Во-во... Луговое — корм, а со степи — гольный донник.

— Бывалоча, в старину до рождества в попасе.

— Калмыкам добро!

— Экхе-м...

— У атамана-то волчий ожерелок, ишь голову не повернет.

— Калкан нажрал, боров, дьявол!

— Тю, сват, аль зиму пужаешь? Тулупишше-то...

— Цыган теперича шубу продал.

— На святках ночуют это цыгане в степе, а укрываться нечем, бреднем оделся, забрало до тонкой кишки — проснулся цыган, палец-то в ичейку просунул и матери: «Ху, маманя, гутарит, то-то на базу и холодишша!..»

— Упаси бог — сколизь зачнется.

— Быков ковать, не иначе.

— Надысь рубил я белотал у Чертовой ендовы, хорош.

— Захар, мотню застегни... Отморозишь — баба с база сгонит.

— Гля, Авдеич, ты, что ль, обчественного бугая правдаешь?

— Отказался. Паранька Мрыхина взялась... Я, дескать, вдова, все веселей. Владай, говорю, в случай приплод...

— Эх-ха-ха-ха!

— Гы-гы-гыы!..

— Господа старики! Как всчет хвороста?.. Тишше!

— В случае, говорю, приплод объявится... кумом, стал быть...

— Тише! Покорнейше просим!

Сход начался. Атаман, поглаживая запотевшую насеку, выкрикивал фамилии раздатчиков, дымился паром, обдирал мизинцем сосульки с бороды. Позади, у хлопающей двери — пар, давка, звучные хлопки сморканий.

— В четверг нельзя назначать порубку! — старался

перекричать атамана Иван Томилин и тер пунцовые уши, кособоча голову в синей артиллерийской фуражке.

— Как так?

— Ухи оторвешь, пушкарь!

— Мы ему бычиные пришьем.

— В четверг половина хутора за сеном на отвод сбираются. Эк рассудили!..

— С воскресенья поедешь.

— Господа старики!

— Чего там!

— В добрый час!

— Гу-у-у-у-у!..

— Го-го-го-ооо!..

— Га-а-а-а-а!..

Старик Матвей Кашулин, перегибаясь через шаткий стол, запальчиво взвизгивал, тыкал в сторону Томилина ясеневым гладким костылем:

— Погодишь с сеном!.. Небось!.. Как обчество... Ты сроду поперек становишься. Молодой, дурак, братец ты мой!.. Вот!.. Ишь ты!.. Вот...

— Ты сам до старости ума в соседях занимаешь...— Выпячивая голову из задних рядов, безрукий Алексей частил, примаргивая глазом, судорожно дергал дырявой щекой.

Он шесть лет враждовал со стариком Кашулиным из-за клочка перепаханной земли. Бил его каждую весну, а земли захватил у него Матвей Кашулин с воробьиную четверть,— зажмурившись, переплюнуть можно.

— Замолчь, судорога!

— Жалку́ю, что далеко — отсель не достану, а то я бы тебя тыкнул, аж красную соплю б уронил!

— Ишь ты, моргун косорукий!..

— Цыцте вы, связались!..

— Вон на баз, там и склещитесь. Право.

— Брось, Алексей, вишь, старик наежился, ажник папах на голове шевелится.

— В тигулевку их, какие скандальничают!..

Атаман вплюснул кулак в пискнувший стол.

— Зараз сидельцев позову! Молчать!..

Смолкая, гул прошелся до задних рядов и заглох.

— В четверг, как рассвенется, выезжать на порубку.

— Как вы, господа старики?

— В добрый час!

— Дай бог!

— Ноне стариков не дюже слухают...

— Небось, будут слухать. Аль управу не сыщем? Мой Алексашка, как отделял его, было-к в драку кинулся, за грудки хватался. Я его доразу секанул: «Зараз же заявляю атаману и старикам, выпорем...» Посмирнел, слег, как травина под полой водой.

— А ишо, господа старики, получена от станишного атамана распоряжения.— Атаман перевел голос и покрутил головой: стоячий воротник мундира, задирая подбородок, врезался в шею.— В энтую субботу в станицу молодым на присягу. Чтоб к вечеру были у станишного правления.

У крайнего к двери окна Пантелей Прокофьевич, по-журавлиному поджимая хромую ногу, стоял рядом со сватушкой. Мирон Григорьевич в распахнутом тулупе сидел на подоконнике, улыбался в гнедую бороду. На коротких белесых ресницах его пушился иней, коричневые крупные конопины налились от холода кровью, посерели. Около, перемигиваясь, улыбаясь, толпились казаки помоложе, а в середине, сдвинув на плоский лысеющий затылок синеверхую атаманскую, с серебряным перекрестом, папаху, покачивался на носках одногодок Пантелея Прокофьевича — не стареющий, вечно налитой, как яблоко антоновка, румянцем — Авдеич, по кличке Брёх.

Служил Авдеич когда-то в лейб-гвардии Атаманском полку. На службу пошел Синилиным, а вернулся... Брехом.

Он первый из хутора попал в Атаманский полк, и диковинное поделалось с казаком: рос парнем, как и все; водилась за ним с малых лет малая придурь, а со службы пришел — и пошло колесом под гору. С первого же дня, как только вернулся, начал рассказывать диковинные истории про службу свою при царском дворце и про свои необыкновеннейшие в Петербурге приключения. Ошалелые слушатели сначала верили, разинув рты, принимали на совесть, а потом и открылось, что враль — Авдеич, каких хутор с основания своего не видывал; над ним смеялись в открытую, но он не краснел, уличенный в чудовищных своих измышлениях (а может, и краснел, да за всегдашним румянцем не разобрать), и врать не переставал. Под старость вовсе свихнулся. Припрут к стене — обидится, в драку лезет, а молчат, посмеиваются — горит в небывальщине, насмешек не замечает.

Был в хозяйстве — дельный и работящий казак, делал все с рассудком, кое-где и с хитринкой, а когда касался разговор атаманской его службы... тут уж всякий просто руками разводил, приседая на землю от хохота, выворачивавшего нутро.

Авдеич стоял в середине, качался на растоптанных в круглышок валенках; оглядывая толпившихся казаков, говорил веско и басовито:

— Ноне казак совсем отменитый. Мелкий казак и никудышний. Соплей любого надвое перешибешь. Так, словом,— и, презрительно улыбаясь, придавливал валенком плевок,— мне довелось в станице Вёшенской поглядеть на мертвые костяки, вон было казачество — это да!..

— Где же раскопал их, Авдеич? — спросил голощекий Аникушка, толкая локтем соседа.

— Ты, односум, уж не бреши, ради близкого праздника.— Пантелей Прокофьевич сморщил горбатый нос и дернул в ухе серьгу. Он не любил пустобреха.

— Я, брат, сроду не брешу,— внушительно сказал Авдеич и с удивлением оглядел Аникушку, дрожавшего, как в лихорадке.— А видал мертвячьи кости, как дом строили моему шурину. Зачали фундамент класть, отрыли могилу. Стал быть, в старину тут у Дона, возле церкви, и кладбище было.

— Что же костяки-то? — недовольно спросил Пантелей Прокофьевич, собираясь уходить.

— Ручина — во,— Авдеич развел граблястые руки,— голова — ей-богу, не брешу — с польско́й котел.

— Ты, Авдеич, лучше рассказал бы молодым, как ты в Санкт-Петербурге разбойника споймал,— предложил Мирон Григорьевич и слез с подоконника, запахивая тулуп.

— Что там рассказывать-то,— заскромничал Авдеич.

— Расскажи!

— Просим!

— Сделай честь, Авдеич!

— Оно, видишь, как случилось,— Авдеич откашлялся и достал из шаровар кисет. Всыпав на скрюченную ладонь щепоть табаку, кинул в кисет вывалившиеся оттуда два медяка, обвел слушателей счастливыми глазами.— Из крепости убег зарестованный злодей. Туды-сюды искать — нет. Вся власть с ног сбилась. Пропал вовзят и шабаш! Ночью призывает меня караульный офицер, прихожу... Да-а-а... «Иди, говорит, в покой ихнего инператорского величества, тебя... сам государь-инператор требует». Я, конешно, оробел, вхожу. Стал во фронт, а он, милостивец, ручкой меня по плечу похлопал и говорит: «Вот что, говорит, Иван Авдеич, убег первый для нашей инперии злодей В землю заройся, а сыщи, иначе и на глаза не являйся!» — «Слушаюсь, ваше инператорское величество»,— говорю

Да-а... братцы мои, была мне закрутка... Взял я из царской конюшни тройку первеющих коней и марш-марш.— Авдеич, закуривая, оглядел потупленные головы слушателей, одушевляясь, загремел из висячего облака дыма, окутавшего его лицо: — День скачу, ночь скачу. Аж на третьи сутки под Москвой догнал. В карету его, любушку, и тем следом обратно. Приезжаю в полночь, весь в грязе, и прямо иду к самому. Меня это разные-подобные князья с графьями не пускать, а я иду. Да... Стучусь. «Дозвольте, ваше инператорское величество, взойтить».— «А это кто таков?» — спрашивает.— «Это я, говорю, Иван Авдеич Синилин». Поднялась там смятенья,— слышу, сам кричит: «Марея Федоровна, Марея Федоровна! Вставай скорей, ставь самовар, Иван Авдеич приехал!»

Громом лопнул в задних рядах смех. Писарь, читавший объявления о пропавшем и приблудившемся скоте, спотыкнулся на фразе: «левая нога по щиколку в чулке». Атаман гусаком вытянул шею, рассматривая колыхавшуюся в хохоте толпу.

Авдеич дернул папаху,— хмурясь, растерянно перебегал глазами с одного на другого.

— Погодите!

— Охо-ха-ха-ха!..

— Ох, сме-е-ертынь-ка!..

— Гык-гык-гы-ы-ык!..

— Авдеич, кобель лысый, ох-охо!..

— «Ставь само-о-вар. Авдеич приехал!» Ну и ну!

Сход начал расходиться. Тягуче, беспрерывно стонали дощатые промерзшие порожки крыльца. На затоптанном у правления снегу возились, согреваясь в борьбе, Степан Астахов и высокий голенастый казак — хозяин ветряка-голландки.

— Через голову мирошника! — советовали окружавшие их казаки.— Вытряси из него отрубя, Степка!

— Ты под силы-то не перехватывай! Догадлив дюже, ишь! — горячился, подскакивая по-воробьиному, старик Кашулин и в увлечении не замечал ядреной светлой капли, застенчиво повиснувшей на пипке его сизого носа.

VIII

Пантелей Прокофьевич вернулся со схода и прямо прошел в боковушку, комнату, которую он занимал со старухой. Ильинична эти дни прихварывала. На водянисто-

пухлом лице ее виднелись усталость и боль. Она лежала на высоко взбитой перине, привалясь спиной к подушке, поставленной торчмя. На туп знакомых ей шагов повернула голову, с давнишней, прижившейся на ее лице суровостью глянула на мужа, остановила взгляд на мокрых от дыханья завитках бороды, теснивших рот Прокофьевича, на слежалых, влитых в бороду влажных усах, двинула ноздрями, но от старика несло морозом, кислым душком овчины. «Тверезый ноне», — подумала и, довольная, положила на пухлый свой живот чулок со спицами и недовязанной пяткой.

— Что ж порубка?

— В четверг порешили. — Прокофьевич разгладил усы. — В четверг с утра, — повторил он, присаживаясь рядом с кроватью на сундук. — Ну, как? Не легшает все?

На лицо Ильиничны тенью легла замкнутость.

— Так же... Стреляет в суставы, ломит.

— Говорил дуре, не лезь в воду осенью. Раз знаешь за собой беду — не рыпайся! — вскипел Прокофьевич, чертя по полу костылем широкие круги. — Аль мало баб? Будь они трижды прокляты, твои конопи: помочила, а теперя... Бож-же-жж мой, то-то... Эх!

— Конопям тоже не пропадать. Баб не было: Гришка со своей пахал, Петро с Дарьей где-то ездили.

Старик, дыша на сложенные ладони, нагнулся к кровати.

— Наташка как?

Ильинична оживилась, заговорила с заметной тревогой:

— Что делать — не знаю. Надысь опять кричала. Вышла я на баз, гляжу — дверь амбарную расхлебенил кто-то. Сем-ка пойду притворю, думаю. Взошла, а она у просяного закрома стоит. Я к ней: «Чего ты, чего, касатка?» А она: «Голова что-то болит, маманя». Правды ить не добьешься.

— Может, хворая?

— Нет, пытала... Либо порчу напустили, либо с Гришкою чего...

— Он к этой... случаем, не прибивается опять?

— Что ты, дед! Что ты! — Ильинична испуганно всплеснула руками. — А Степан, аль глупой? Не примечала, нет.

Старик посидел немного и вышел.

Григорий в своей горнице подтачивал напилком крюки на нарезных снастях. Наталья смазывала их свиным растопленным жиром, аккуратно заворачивала каждый в отдельную тряпочку. Пантелей Прокофьевич, похрамывая

мимо, пытливо глянул на Наталью. На пожелтевших щеках ее, как на осеннем листке, чахнул неяркий румянец. Она заметно исхудала за этот месяц, в глазах появилось что-то новое, жалкое. Старик остановился в дверях. «Эк, выхолил бабу!» — подумал, еще раз взглянув на склоненную над лавкой гладко причесанную голову Натальи.

Григорий сидел у окна, дергая напилком, на лбу его черной спутанной челкой прыгали волосы.

— Брось к чертовой матери!..— багровея от приступившего бешенства, крикнул старик и сжал костыль, удерживая руку.

Григорий вздрогнул, недоумевая поднял на отца глаза.

— Хотел вот два конца сточить, батяня.

— Брось, тебе велят! На порубку сбирайся!

— Я зараз.

— Притык в санях ни одной нету, а он — крючья,— уже спокойнее проговорил старик и, потоптавшись около дверей (как видно, еще что-то хотел сказать), вышел. Остаток злобы сорвал на Петре.

Григорий, надевая полушубок, слышал, как отец кричал во дворе:

— Скотина до́ се непоенная, чего ж ты глядишь, такой-сякой?.. А это кто прикладок, что возле плетня, расчал? Кому гутарил, чтоб не трогали крайнего прикладка?.. Потравите, проклятые, самое доброе сено, а к весне в пахоту чем быков будешь правдать?..

В четверг, часа за два до рассвета, Ильинична разбудила Дарью.

— Вставай, пора затоплять.

Дарья в одной рубахе кинулась к печке. В конурке нашарила серники, зажгла огонь.

— Ты поскорей стряпайся,— торопил жену взлохмаченный Петро, закуривая и кашляя.

— Наташку-то жалеют будить, дрыхнет, бессовестная. Что же, я надвое должна разорваться? — бурчала заспанная, сердитая спросонок Дарья.

— Поди, разбуди,— советовал Петро.

Наталья встала сама. Накинув кофту, вышла в катух за кизяками.

— Поджожек принеси! — командовала старшая сноха.

— Дуняшку пошли за водой, слышь, Дашка? — с трудом передвигая по кухне ноги, хрипела Ильинична.

В кухне пахло свежими хмелинами, ременной сбруей, теплом человеческих тел. Дарья бегала, шаркая валенками, грохотала чугунами; под розовой рубашкой, с засученными

по локоть рукавами, трепыхались маленькие груди. Замужняя жизнь не изжелтила, не высушила ее: высокая, тонкая, гибкая в стану, как красноталовая хворостина, была она похожа на девушку. Вилась в походке, перебирая плечами; на окрики мужа посмеивалась; под тонкой каймой злых губ плотно просвечивали мелкие частые зубы.

— С вечеру надо было кизяков наложить. Они б в печке подсохли,— недовольно бурчала Ильинична.

— Забыла, мамаша. Наша беда,— за всех отвечала Дарья.

Пока отстряпались — рассвело. Пантелей Прокофьевич, обжигаясь жидкой кашей, спешил позавтракать. Хмурый Григорий жевал медленно, гоняя по-над скулами комки желваков. Петро потешался, незаметно для отца передразнивая Дуняшку, завязавшую от зубной боли щеку.

По хутору скрипели полозья. В серой рассветной мари двигались к Дону бычачьи подводы. Григорий с Петром вышли запрягать. На ходу заматывая мягкий шарф — невестин жениху подарок,— Григорий глотал морозный и сухой воздух. Горловой полнозвучный крик уронил, пролетая над двором, ворон. Отчетливо в морозной стыни слышен шелест медленных во взмахах крыльев. Петро проследил за полетом, сказал:

— К теплу, на юг правится.

За розовеющим, веселым, как девичья улыбка, облачком маячил в небе тоненький-тоненький краешек месяца. Из трубы дыбом вставал дым и, безрукий, тянулся к недоступно далекому, золотому, отточенному лезвию ущербного месяца.

Против мелеховского двора Дон не замерз. По краям зеленоватый в снежных переносах крепнул лед, под ним ластилась, пузырилась не захваченная стременем вода, а подальше середины, к левому берегу, где из чернояры били ключи, грозная и манящая чернела полынья в белых снежных заедях; по ней черными конопушками переныривали оставшиеся на зимовку дикие утки.

Переезд шел от площади.

Пантелей Прокофьевич, не дождавшись сыновей, первый поехал на старых быках. Петро с Григорием, поотстав, выехали следом. У спуска догнали Аникушку. Воткнув в сани топор с новехоньким топорищем, Аникушка, подпоясанный зеленым кушаком, шел рядом с быками. Жена его, мелкорослая, хворая бабенка, правила. Петро еще издали крикнул:

— Сосед, ты, никак, бабу волокешь с собой?

Смешливый Аникушка, приплясывая, подошел к саням.

— Везу, везу. Для сугреву.

— Тепла от ней мало, суха дюже.

— Овсом кормлю, а вот не поправляется.

— Нам в одной деляне хворост? — спросил Григорий, соскочив со своих саней.

— В одной, ежели закурить дашь.

— Ты, Аникей, сроду на чужбинку.

— Ворованное да выпрошенное всего слаже,— подхахакивал Аникушка, морща голое бабье лицо улыбкой.

Поехали вместе. В лесу, завешанном кружевным инеем, строгая бель. Аникушка ехал впереди, щелкая кнутом по нависшим над дорогой веткам. Снег, игольчатый и рыхлый, падал гроздьями, осыпая закутанную Аникушкину жену.

— Не дури, черт! — кричала она, отряхиваясь.

— Ты ее в сугроб носом! — кричал Петро, норовя попасть кнутом быку под пузо, для пущего хода.

На повороте к Бабьим ендовам наткнулись на Степана Астахова. Он гнал распряженных в ярме быков к хутору, размашисто шел, поскрипывая подшитыми валенками. Курчавый обыневший чуб его висел из-под надетой набекрень папахи белой виноградной кистью.

— Эй, Степа, заблудил? — крикнул, равняясь, Аникушка.

— Заблудил, мать его черт!.. Об пенек вдарило сани под раскат — полоз пополам. Пришлось вернуться.— Степан добавил похабное словцо и прошел мимо Петра, нагло щуря из-под длинных ресниц светлые разбойные глаза.

— Сани бросил? — оборачиваясь, крикнул Аникушка.

Степан махнул рукой, щелкнул кнутом, заворачивая направившихся по целине быков, и проводил шагавшего за санями Гришку долгим взглядом. Неподалеку от первой ендовы Григорий увидел брошенные средь дороги сани, около саней стояла Аксинья. Левой рукой придерживая полу донской шубы, она глядела на дорогу, навстречу двигавшимся подводам.

— Отойди, а то стопчу. Ух, ты, жена не моя! — заржал Аникушка.

Аксинья, улыбаясь, посторонилась, присела на скособоченные без полоза сани.

— Вон и твоя с тобой сидит.

— Влепилась, как репей в свинячий хвост, а то бы и тебя подвез.

— Спасибочка.

Петро, равняясь с ней, мельком оглянулся на Григория.

Тот шел, неспокойно улыбаясь; тревога и ожидание сквозили в каждом его движении.

— Здорово живешь, соседка,— поздоровался Петро, касаясь рукавицей шапки.

— Слава богу.

— Обломались, никак?

— Обломались,— протяжно ответила Аксинья, не глядя на Петра, и встала, поворачиваясь к подходившему Григорию.— Григорь Пантелевич, сказать бы вам нужно...

Григорий свернул к ней, бросил отъезжавшему Петру:

— Наглядай за моими быками.

— Ну-но,— грязно усмехнулся Петро, заправляя в рот горький от табачного дыма ус.

Они стояли друг против друга, молчком. Аксинья тревожно глядела по сторонам, переводила влажные черные глаза на Григория. Стыд и радость выжигали ей щеки, сушили губы. Она дышала короткими, частыми вздохами.

Сани Аникушки и Петра скрылись за коричневой порослью дубняка. Григорий в упор поглядел Аксинье в глаза, увидел, как вспыхнули они балованным отчаянным огоньком.

— Ну, Гриша, как хошь, жить без тебя моченьки нету,— твердо выговорила она и накрепко сжала губы, ожидая ответа.

Григорий молчал. Тишина обручем сковала лес. Звенело в ушах от стеклянной пустоты. Притертый полозьями глянец дороги, серая ветошь неба, лес немой, смертно сонный... Внезапный клекочущий и близкий крик ворона словно разбудил Григория от недолгой дремы. Он поднял голову, увидел: вороненая, в черной синеве оперенья птица, поджав ноги, в беззвучном полете прощально машет крыльями. Неожиданно для самого себя Григорий сказал:

— Тепло будет. В теплую сторону летит...— И, встрепенувшись, хрипло засмеялся...— Ну...— Он воровски повел низко опущенными зрачками опьяневших глаз и рывком притянул к себе Аксинью.

IX

Вечером у косой Лукешки в половине Штокмана собирался разный люд: приходил Христоня; с мельницы Валет в накинутом на плечи замасленном пиджаке; скалозуб Давыдка, бивший три месяца баклуши; машинист Котля

ров Иван Алексеевич; изредка наведывался Филька-чеботарь, и постоянным гостем был Мишка Кошевой, еще не ходивший на действительную, молодой казак.

Резались сначала в подкидного дурака, потом как-то незаметно подсунул Штокман книжонку Некрасова. Стали читать вслух — понравилось. Перешли на Никитина, а около рождества предложил Штокман почитать затрепанную, бесчереплетную тетрадку. Кошевой, окончивший когда-то церковную школу, читавший вслух, пренебрежительно оглядел промасленную тетрадь.

— Из нее лапши нарезать. Дюже жирная.

Христоня гулко захохотал, ослепительно блеснул улыбкой Давыдка, но Штокман, переждав общий смех, сказал:

— Почитай, Миша. Это про казаков. Интересная.

Кошевой, свесив над столом золотистый чуб, раздельно прочел:

— «Краткая история донского казачества».— И оглядел всех, выжидающе щурясь.

— Читай,— сказал Иван Алексеевич.

Мусолили три вечера. Про Пугачева, про вольное житье, про Стеньку Разина и Кондратия Булавина.

Добрались до последних времен. Доступно и зло безвестный автор высмеивал скудную казачью жизнь, издевался над порядками и управлением, над царской властью и над самим казачеством, нанявшимся к монархам в опричники. Заволновались. Заспорили. Загудел Христоня, подпирая головой потолочную матку. Штокман сидел у дверей, курил из костяного с колечками мундштука, смеялся одними глазами.

— Правильно! Справедливо! — бухал Христоня.

— Не сами виноваты, довели до такой страмы казаков.— Кошевой недоуменно разводил руками и морщил красивое темноглазое лицо.

Был он коренаст, одинаково широк и в плечах и в бедрах, оттого казался квадратным; на чугунно-крепком устое сидела плотная, в кирпичном румянце, шея, и странно выглядела на этой шее красивая в посадке небольшая голова с женским очертанием матовых щек, маленьким упрямым ртом и темными глазами под золотистою глыбой курчавых волос. Машинист Иван Алексеевич, высокий мослаковатый казак, спорил ожесточенно. Всосались и проросли сквозь каждую клетку его костистого тела казачьи традиции. Он вступался за казаков, обрушиваясь на Христоню, сверкая выпуклыми круглыми глазами.

— Ты обмужичился, Христан, не спорь, что там...

В тебе казацкой крови — на ведро поганая капля. Мать тебя, с воронежским яишником прижила.

— Дурак ты!.. Эх, дурак, братец,— басил Христоня.— Я правду отстаиваю.

— Я в Атаманском полку не служил,— ехидничал Иван Алексеевич,— это в Атаманском что ни дядя, то дурак...

— И в армейских попадают такие, что невпроворот.

— Молчи уж, мужик!

— А мужики аль не люди?

— Так они и есть мужики, из лыка деланные, хворостом скляченные.

— Я, брат, как в Петербурге служил — разных видал. Был, стал быть, такой случа́й,— говорил Христоня, в последнем слове делая ударение на «а».— Несли мы охрану царского дворца, в покоях часы отбивали и снаружи. Снаружи над стеной верхи ездили: двое туда — двое сюда. Встренутся, спрашивают: «Все спокойно? Нету никаких бунтов?» — «Нету ничего»,— и разъезжаются, а чтоб пристать поговорить — и не моги. Тоже и личности подбирали: становют, стал быть, в дверях двоих, так подгоняют, чтоб похожи один на одного были. Черные так черные стоят, а белые так белые. Не то что волосы, а чтоб и обличьем были схожи. Мне, стал быть, раз цырульник бороду красил из-за этих самых глупостев. Припало в паре стоять с Никифором Мещеряковым,— был такой казачок в нашей сотне Тепикинской станицы,— а он, дьявол, какой-то гнедой масти. Чума его знает, что за виски, кубыть аж полымем схваченные. Искать-поискать, стал быть, нету такой масти в сотнях; мне сотник Баркин, стал быть, и говорит: «Иди в цырульню, чтоб вмиг подрисовали бороду и вусы». Прихожу, ну, и выкрасили... А как глянул в зеркалу, ажник сердце захолонуло: горю! Чисто горю, и всё! Возьму бороду в жменю, кубыть аж пальцам горячо. Во!..

— Ну, Емеля, понес без колес! Об чем начал гутарить? — перебил Иван Алексеевич.

— Об народе, вот об чем.

— Ну, и рассказывай. А то об бороде своей, на кой она клеп нам спонадобилась.

— Вот я и говорю: припало раз верхи нести караул. Едем так-то с товарищем, а с угла студенты вывернулись. И видимо и невидимо! Увидели нас, как рявкнут: «Га-а-а-а-а-а!» Да ишо раз: «Га-а-а-а!..» Не успели, стал быть, мы вспопашиться, окружили. «Вы чего, казаки, разъезжаете?» Я и говорю: «Несем караул, а ты поводья-то

брось, не хватай!» — и за шашку. А он и говорит: «Ты, станишник, не сумневайся, я сам Каменской станицы рожак, а тут ученье прохожу в ниверси... ниворситуте», али как там. Тут мы трогаем дале, а один носатый из портмонета вынает десятку и говорит: «Выпейте, казаки, за здоровье моего покойного папаши». Дал нам десятку и достал из сумки патрет: «Вот, гутарит, папашина личность, возьмите на добрую память». Ну, мы взяли, совестно не взять. А студенты отошли и опять: «Га-а-а-а». С тем, стал быть, направились к Невскому прошпекту. Из дворцовых задних ворот сотник с взводом стремят к нам. Подскочил: «Что такое?» Я, стал быть, говорю: «Студенты отхватили и разговор начали, а мы по уставу хотели их в шашки, а потом, как они ослобонили нас, мы отъехали, стал быть». Сменили нас, мы вахмистру и говорим: «Вот, Лукич, стал быть, заработали мы десять целковых и должны их пропить за упокой души вот этого деда» — и показываем патрет. Вахмистр вечерком принес водки, и гуляли мы двое суток, а после и объявился подвох: студент этот, стерьва, замест папаши и дал нам патрет заглавного смутьяна немецкого роду. Я-то взял на совесть, над кроватью для памяти повесил, вижу — борода седая на патрете и собою подходимый человек, навроде из купцов, а сотник, стал быть, доглядел и спрашивает: «Откель взял этот патрет, такой-сякой?» — «Так и так»,— говорю. Он и зачал костерить, и по скуле, да ишо, стал быть, раз... «Знаешь, орет, что это — атаман ихний Карла...» — вот запамятовал прозвищу... Э, да как его, дай бог памяти...

— Карл Маркс? — подсказал Штокман, ежась в улыбке.

— Во-во!.. Он самый Карла Маркс...— обрадовался Христоня.— Ить подвел под монастырь... Иной раз так что к нам в караульную и цесаревич Алексей прибегает со своими наставленниками. Ить могли доглядеть. Что б было?

— А ты все мужиков хвалишь. Ишь, как тебя подковали-то,— подсмеивался Иван Алексеевич.

— Зато десятку пропили. Хучь за Карлу за бородатого пили, а пили.

— За него следует выпить,— улыбнулся Штокман и поиграл колечком костяного обкуренного мундштука.

— Что ж он навершил доброго? — спросил Кошевой.

— В другой раз расскажу, а сегодня поздно.— Штокман хлопнул ладонью, выколачивая из мундштука потухший окурок.

В завалюхе Лукешки-косой после долгого отсева и отбора образовалось ядро человек в десять казаков. Штокман был сердцевиной, упрямо двигался он к одному ему известной цели. Точил, как червь древесину, нехитрые понятия и навыки, внушал к существующему строю отвращение и ненависть. Вначале натыкался на холодную сталь недоверия, но не отходил, а прогрызал...

X

На пологом песчаном левобережье, над Доном, лежит станица Вешенская, старейшая из верховых донских станиц, перенесенная с места разоренной при Петре I Чигонацкой станицы, переименованная в Вешенскую. Вехой была когда-то по большому водному пути Воронеж — Азов.

Против станицы выгибается Дон кобаржиной татарского сагайдака, будто заворачивает вправо, и возле хутора Базки вновь величаво прямится, несет зеленоватые, просвечивающие голубизной воды мимо меловых отрогов правобережных гор, мимо сплошных с правой стороны хуторов, мимо редких с левой стороны станиц до моря, до синего Азовского.

Против Усть-Хоперской роднится с Хопром, против Усть-Медведицкой — с Медведицей, а ниже стекает многоводный, в буйном цвету заселенных хуторов и станиц.

Вешенская — вся в засыпи желтопесков. Невеселая, плешивая, без садов станица. На площади — старый, посеревший от времени собор, шесть улиц разложены вдоль по течению Дона. Там, где Дон, выгибаясь, уходит от станицы к Базкам, рукавом в заросли тополей отходит озеро, шириной с Дон в мелководье. В конце озера кончается и станица. На маленькой площади, заросшей иглисто-золотой колючкою,— вторая церковь, зеленые купола, зеленая крыша,— под цвет зеленям разросшихся по ту сторону озера тополей.

А на север за станицей шафранный разлив песков, чахлая посадка сосняка, ендовы, налитые розовой, от красноглинной почвы, водой. И в песчаном половодье, в далекой россыпи зернистых песков — редкие острова хуторов, левад, рыжеющая щетина талов.

На площади, против старой церкви, в декабрьское воскресенье — черная полутысячная толпа молодых казаков со всех хуторов станицы. В церкви отходила обедня, зазвонили к «Достойно». Старший урядник — бравый престарелый казак с нашивками за сверхсрочную службу —

скомандовал «строиться». Гомонившая толпа растеклась и выстроилась в две длинные неровные шеренги. По рядам забегали урядники, выравнивая волнисто-изломанные шеренги.

— Ряды-ы-ы,— затянул урядник и, сделав рукой неопределенный жест, кинул: — вздвой!..

В ограду прошел атаман, одетый по форме, в новенькой офицерской шинели, в перезвоне шпор, следом за ним — военный пристав.

Григорий Мелехов стоял рядом с Коршуновым Митькой, переговаривались вполголоса.

— Сапог ногу жмет, терпения нету,— жаловался Митька.

— Терпи, атаманом будешь.

— Зараз поведут.

Словно в подтверждение, старший урядник, пятясь, крутнулся на каблуках.

— На прэ-э-во!

«Гук-гук»,— четко сделали пятьсот пар обутых ног.

— Левое плечо вперед, ша-гом арш!

Колонна врезалась в распахнутую калитку церковной ограды, замелькали сдернутые с голов папахи, до самого купола налилась церковь стуком шагов.

Григорий стоял, не вслушиваясь в слова присяги, которую читал священник. Вглядывался в лицо Митьки; тот морщился от боли и переставлял скованную сапогом ногу. Поднятая рука Григория затекала, в уме вразброд шла угарная возня мыслей. Подходил под крест и, целуя обслюнявленное многими ртами влажное серебро, думал об Аксинье, о жене. Как вспышка зигзагистой молнии, перерезало мысли короткое воспоминание: лес, бурые стволы деревьев в белом пышном уборе, как в нарядной серебряной шлее; влажный, горячий блеск черных, из-под пухового платка Аксиньиных глаз...

Вышли на площадь. Вновь построились. Урядник, высморкавшись и незаметно вытирая пальцы о подкладку мундира, начал речь:

— Теперя вы уже не ребяты, а казаки. Присягнули и должны знать за собой, что и к чему. Теперича вы произросли в казаков, и должны вы честь свою соблюдать, отцов-матерей слухать и все такое прочее. Были ребятами — дурковали, небось, на дорогу чурбаки тягали, а после этого должны подумать о дальнеющей службе. Вот через год идтить вам в действительную.— Тут урядник сморкнулся опять, стряхнул с ладони содержимое и, натягивая

на руку пышную, из кроличьего пуха, перчатку, закончил: — И должон ваш отец-мать подумакивать об справе. Чтоб коня строевого приобресть, ну и вообче... А теперича с богом, молодцы, по домам!

Григорий с Митькой дождались у моста хуторных ребят, вместе тронулись в дорогу. Шли вдоль берега. Над хутором Базки таял трубный дым, тонко отзванивал колокол. Митька хромал позади всех, опираясь на суковатый выломанный кол.

— Разуйся,— посоветовал один из ребят.

— Ногу обморожу,— приотставая, заколебался Митька.

— В чулке пойдешь.

Митька сел на снег, с усилием стянул с ноги сапог. Пошел, припадая на разутую ногу. На хрушком снегу дороги ясно печатался след вязанного крючком толстого чулка.

— Какой дорогой пойдем? — спросил низенький, чурбаковатый Алексей Бешняк.

— Над Доном,— за всех ответил Григорий.

Шли переговариваясь, толкая один другого с дороги.

По уговору валяли в сугроб каждого и давили, наваливаясь кучей. Между Базками и Громковским хутором Митька первый увидел перебиравшегося через Дон волка.

— Ребята, бирюк — вон он!.. Тю!..

— А-лю-лю-лю-лю!..

— Ух!..

Волк ленивой перевалкой пробежал несколько саженей и стал боком, неподалеку от того берега.

— Узы его!..

— Га!..

— Тю, проклятый!..

— Митрий, это он на тебя дивуется, что ты в чулке идешь.

— Ишь, стоит боком, ожерелок не дозволяет.

— Он вязы не скрутит.

— Гля, гля, пошел!..

Серый, как выточенный из самородного камня, стоял зверь, палкой вытянув хвост. Потом торопко скакнул в сторону и затрусил к талам, окаймлявшим берег.

Смеркалось, когда добрались до хутора. Григорий по льду дошел до своего проулка, поднялся к воротцам. Во дворе стояли брошенные сани; в куче хвороста, наваленного возле плетня, чулюкали воробьи. Тянуло жильем, пригоревшей сажей, парным запахом скотиньего база.

Поднимаясь на крыльцо, Григорий взглянул в окно. Тускло желтила кухню висячая лампа, в просвете стоял Петро, спиной к окну. Григорий обмел сапоги веником, вошел в облаке пара в кухню.

— Вот и я. Ну, здорово живете.

— Скоро ты. Небось, прозяб? — отозвался суетливо и поспешно Петро.

Пантелей Прокофьевич сидел, облокотившись на колени, опустив голову. Дарья гоняла ногой жужжащее колесо прялки. Наталья стояла у стола к Григорию спиной, не поворачиваясь. Кинув по кухне беглый взгляд, Григорий остановил глаза на Петре. По лицу его, беспокойно выжидающему, понял: что-то случилось.

— Присягнул?

— Ага!

Григорий раздевался медленно, выигрывая время, быстро перебирая в уме возможные случайности, виною которых эта тишина и холодноватая встреча.

Из горницы вышла Ильинична, и на ее лице лежала печать некоторого смятения.

«Наталья»,— подумал Григорий, садясь на лавку рядом с отцом.

— Собери ему повечерить,— обратилась Ильинична к Дарье, указывая глазами на Григория.

Дарья оборвала прялочную песню, пошла к печке, неуловимо поводя плечами, всем своим тонким небабьим станом. В кухне приглохла тишина. Возле подзёмки, посапывая, грелись недавно окотившаяся коза с козленком.

Григорий, хлебая щи, изредка взглядывал на Наталью, но лица ее не видел: она сидела к нему боком, низко опустив над вязальными спицами голову. Пантелей Прокофьевич первый не выдержал общего молчания; кашлянул скрипуче и деланно, сказал:

— Наталья вот собирается уходить.

Григорий собирал хлебным катышком крошки, молчал.

— Это через чего? — спросил отец, заметно подрагивая нижней губой (первый признак недалекой вспышки бешенства).

— Не знаю через чего,— Григорий прижмурил глаза и, отодвинув чашку, встал, крестясь.

— А я знаю!..— повысил голос отец.

— Не шуми, не шуми,— вступилась Ильинична.

— А я знаю через чего!..

— Ну, тут шуму заводить нечего,— Петро подвинулся

от окна на середину комнаты.— Тут дело полюбовное: хочет — живет, а не хочет — ступай с богом.

— Я ее не сужу. Хучь и страмно и перед богом грех, а я не сужу: не за ней вина, а вот за этим сукиным сыном!..— Пантелей Прокофьевич указал на прислонившегося к печке Григория!

— Кому я виноват?

— Ты не знаешь за собой?.. Не знаешь, чертяка?..

— Не знаю.

Пантелей Прокофьевич вскочил, повалив лавку, и подошел к Григорию вплотную. Наталья выронила чулок, треньknула выскочившая спица; на звук прыгнул с печи котенок, избочив голову, согнутой лапкой толкнул клубок и покатил его к сундуку.

— Я тебе вот что скажу,— начал старик сдержанно и раздельно: — Не будешь с Наташкой жить — иди с базу, куда глаза твои глядят! Вот мой сказ! Иди, куда глаза глядят! — повторил он обычным спокойным голосом и отошел, поднял лавку.

Дуняшка сидела на кровати, зиркала круглыми, напуганными глазами.

— Я вам, батя, не во гнев скажу,— голос Григория был дребезжаще-глух,— не я женился, а вы меня женили. А за Натальей я не тянусь. Хочет, нехай идет к отцу.

— Иди и ты отсель!

— И уйду.

— И уходи к чертовой матери!..

— Уйду, уйду, не спеши! — Григорий тянул за рукав брошенный на кровати полушубок, раздувая ноздри, дрожа в такой же кипящей злобе, как и отец.

Одна, сдобренная турецкой примесью, текла в них кровь, и до чудного были они схожи в этот момент.

— Куда ты пой-дё-ошь? — застонала Ильинична, хватая Григория за руку, но он с силой оттолкнул мать и на лету подхватил упавшую с кровати папаху.

— Нехай идет, кобелина поблудный! Нехай, будь он проклят! Иди, иди, ступай!..— гремел старик, настежь распахивая двери.

Григорий выскочил в сенцы, и последнее, что он слышал,— Натальин плач в голос.

Морозная крыла хутор ночь. С черного неба падала иглистая пороша, на Дону раскатисто, пушечными выстрелами лопался лед. Григорий выбежал за ворота, задыхаясь. На другом краю хутора разноголосо брехали собаки, прорешеченная желтыми огоньками дымилась тьма.

Бесцельно зашагал Григорий по улице. В окнах Степанова дома алмазно отсвечивала чернота.

— Гриша! — кинулся от ворот тоскующий Натальин вскрик.

«Пропади ты, разнелюбая!» — Григорий скрипнул зубами, ускоряя шаги.

— Гриша, вернись!

В первый переулок направил Григорий пьяные свои шаги, в последний раз услышал придавленный расстоянием горький оклик:

— Гришенька, родимый!..

Быстро пересек площадь, на развилке дорог остановился, перебирая в уме имена знакомых ребят, у кого можно было бы переночевать.

Остановился на Михаиле Кошевом. Жил тот на отшибе, у самой горы; мать, сам Михаил, сестра-девка да двое братишек — вся семья. Вошел во двор, постучался в крохотное окошко саманной хаты.

— Кто такой?

— Михаил дома?

— Дома. А это кто?

— Это я, Григорий Мелехов.

Через минуту, оторванный от первого сладкого сна, Михаил открыл дверь.

— Ты, Гриша?

— Я.

— Чего ты по ночам?

— Пусти в хату-то, там погутарим.

В сенях Григорий схватил Михаила за локоть; злобясь на себя за то, что не хватало нужных слов, прошептал:

— Я у тебя заночую... С своими поругался... У тебя как, тесно?.. Ну, да я где-нибудь.

— Место найдется, проходи. За что вы сцепились?

— Э, брат... потом... Где тут дверь у вас? Не вижу.

Григорию постелили на лавке. Лег, с головой кутаясь полушубком, чтобы не слышать шепота Михайловой матери, спавшей на одной кровати с дочерью.

«Как теперь дома? Уйдет Наташка, нет ли? Ну, по-новому стелется жизнь. Куда прислониться?» И быстро подсказывала догадка: «Покличу завтра Аксинью, уйдем с ней на Кубань, подальше отсель... далеко, далеко...»

Уплывали перед закрытыми глазами Григория степные гребни, хутора, станицы, никогда раньше не виданные, чужие сердцу. А за валами гребней, за серой дорогой —

сказкой голубая приветливая страна и Аксиньина, в позднем, мятежном цвету, любовь на придачу.

Уснул, встревоженный надвигавшимся неведомым. Перед сном тщетно старался припомнить что-то гнетущее в мыслях, несловленное. Шли в полусне думы гладко и ровно, как баркас по течению, и вдруг натыкались на что-то, будто на мель; муторно становилось, не по себе; ворочался, бился в догадках: «Что же? Что такое поперек дороги?»

А утром проснулся и вспомнил: «Служба! Куда же мы пойдем с Аксюткой? Весной — в лагерь, а осенью на службу... Вот она зацепа».

Позавтракал и вызвал Михаила в сенцы.

— Сходи, Миша, к Астаховым. Перекажи Аксинье, чтоб, как завечереет, вышла к ветряку.

— А Степан? — замялся было Михаил.

— Придумай, как будто за делом.

— Схожу.

— Иди. Мол, непременно пущай выйдет.

— Ладно уж.

Вечером сидел под ветряком, курил в рукав. За ветряком в сухих кукурузных будыльях, спотыкаясь, сипел ветер. На причаленных крыльях хлопало оборванное полотно. Казалось Григорию, будто над ним кружит, хлопая крыльями, и не может улететь большая птица. Аксинья не шла. На западе в лиловой тусклой позолоте лежал закат, с востока, крепчая, быстрился ветер, надвигалась, перегоняя застрявшую в вербах луну, темень. Рудое, в синих подтеках, трупно темнело над ветряком небо; над хутором — последыши суетного дневного гомона.

Григорий выкурил подряд три цигарки, воткнул в примятый снег последний окурок, огляделся в злобной тоске. Притаявшие проследки от ветряка к хутору дегтярно чернели. От хутора никого не видно. Григорий встал; хрустнув плечами, потянулся и пошел на огонь, зазывно мигавший в оконце Михайловой хаты. Подходил ко двору, насвистывая сквозь зубы, и почти в упор столкнулся с Аксиньей. Бежала, как видно, или торопко шла, запыхалась, и пахло от свежего, нахолодевшего рта то ли ветром, то ли далеким, еле уловимым запахом свежего степного сена.

— Заждался, думал — не придешь.

— Степана насилушку выпроводила...

— Ты меня заморозила, окаянная баба!

— Я горячая, погрею.— Распахнула опушенные полы

донской шубы, обвилась вокруг Григория, как хмель вокруг дуба.— Чего кликал?

— Погоди, прими руки... Тут люди ходют.

— С своими, никак, поругался?

— Ушел. Сутки вот у Мишки... Живу, как приблудная собака.

— Как же ты теперича? — Аксинья разжала обнимавшие Григория руки и зябко запахнула полы шубы.— Давай, Гриша, к плетню отойдем. Что же так-то посередь дороги?

Отошли. Григорий, разметав сугроб, прислонился к промерзлому трескучему плетню спиной.

— Не знаешь, ушла к своим Наталья?

— Не знаю... Уйдет, должно. А то будет тут жить?

Григорий просунул иззябшую руку Аксиньи себе в рукав; сжимая пальцами узкую ее кисть, спросил:

— Как же будем?

— Я, миленький, не знаю. Как ты, так и я.

— Бросишь Степана?

— И не охну. Хучь зараз.

— Где-нибудь наймемся обое, будем жить.

— Хучь под скотину я с тобой, Гриша... Лишь бы с тобой.

Постояли, греясь общим теплом. Григорий не хотел идти, стоял, повернув голову на ветер, вздрагивая ноздрями, не поднимая смеженных век. Аксинья, уткнувшись лицом ему под мышку, дышала таким родным, пьянящим запахом его пота, и на губах ее, порочно-жадных, скрытая от глаза Григория, дрожала радостная, налитая сбывшимся счастьем улыбка.

— Завтра дойду до Мохова, может, у него наймусь,— проговорил Григорий, перехватывая повыше запотевшую в пальцах кисть Аксиньиной руки.

Аксинья промолчала. Не подняла головы. Недавнюю улыбку с губ ее как ветер слизал, в расширенных глазах загнанным зверьком томилась тоска и испуг. «Сказать или не сказать?» — думала она, вспомнив про свою беременность. «Надо сказать»,— решила было, но сейчас же, дрогнув от испуга, отогнала страшную мысль. Женским своим чутьем угадала, что не время об этом говорить, поняла, что можно навек потерять Григория и, сомневаясь, от кого из двух зачала ворохнувшегося под сердцем ребенка, слукавила душой: не сказала.

— Чего дрогнула? Озябла? — спросил Григорий, кутая ее полой полушубка.

— Озябла трошки... Идтить надо, Гриша. Придет Степан, кинется, а меня нету.

— Он где пошел?

— Насилушки спровадила к Аникею в карты играть.

Разошлись. На губах Григория остался волнующий запах ее губ, пахнувших то ли зимним ветром, то ли далеким, неуловимым запахом степного, вспрыснутого майским дождем сена.

Аксинья свернула в проулок; пригибаясь, почти побежала. Против чьего-то колодца, там, где скотина взмесила осеннюю грязь, неловко оступилась, скользнув ногой по обмерзшей кочке, и, почувствовав резнувшую боль в животе, схватилась за колья плетня. Боль утихла, а в боку что-то живое, переворачиваясь, стукнуло гневно и сильно, несколько раз подряд.

XI

Наутро Григорий отправился к Мохову в дом. Сергей Платонович пришел из магазина к чаю. Сидел с Атепиным в столовой, оклеенной дорогими, под дуб, обоями, цедил крепкий, бордовый чай. Григорий в передней положил шапку, вошел в столовую.

— Я к вам, Сергей Платонович.

— А, Пантелея Мелехова сынок, кажется.

— Его.

— Тебе чего?

— Хотел просить, не наймете ли в работники?

Григорий повернул голову на скрип двери. Из зала вышел со сложенной вчетверо газетой молодой офицер в зеленом кителе, с погонами сотника. Григорий узнал в нем того офицера, которого обогнал в прошлом году на скачках Митька Коршунов.

Подвигая офицеру стул, Сергей Платонович сказал:

— Что, аль обеднял отец, что сына нанимает?

— Я с ним не живу.

— Отделился?

— Да.

— С радостью взял бы, знаю вашу семью, работящий народ, да места у меня нет.

— В чем дело? — спросил сотник, подсаживаясь к столу и поглядывая на Григория.

— В работники парень нанимается.

— За лошадьми можешь ухаживать? Правишь хорошо дышловой запряжкой? — спросил сотник, мешая ложечкой в стакане.

— Могу. Своих лошадей шесть штук держали.

— Мне нужен кучер. Условия твои?

— Я не дорого прошу...

— В таком случае приходи завтра к отцу в имение. Знаешь, где имение Листницкого Николая Алексеевича?

— Так точно, знаю.

— Отсюда верст двенадцать. Приходи завтра с утра, договоришься там.

Григорий потоптался на месте и, уже держась за дверную ручку, сказал:

— Мне бы на-часок, ваше благородие, сказать вам...

Сотник вышел следом за Григорием в полутемный коридор. Сквозь матовые стекла с террасы скупо сочился розовый свет.

— В чем дело?

— Я не один...— Григорий густо покраснел.— Со мной баба. Может, и ей место какое выйдет?

— Жена? — спросил сотник, улыбаясь, поднимая розовые от света брови...

— Чужая жена...

— Ах, вон как. Ну что ж, устроим и ее черной стряпухой. А муж ее где?

— Тут, хуторной.

— Ты, что же, похитил у мужа жену?

— Сама приблудилась.

— Романтическая история. Ну хорошо, приходи завтра. Можешь быть свободен, братец.

Григорий пришел в Ягодное — имение Листницких — часов в восемь утра. По большому двору, обнесенному кирпичной облупленной оградой, нескладно раскидались дворовые постройки: флигель под черепичной крышей, с черепичной цифрой посредине — 1910 год,— людская, баня, конюшня, птичник и коровник, длинный амбар, каретник. Дом большой, старый, огороженный со стороны двора палисадником, ютился в саду. За домом серою стеною стояли оголенные тополя и вербы левады в коричневых шапках покинутых грачиных гнезд.

Григория встретила за двором ватага крымских черных борзых. Старая хромая сука, со слезящимся старушечьим взглядом, первая обнюхала Григория, пошла следом, понурив сухую голову. В людской кухарка ругалась с молодень-

кой веснушчатой горничной. В табачном дыму, как в мешке, сидел у порога старый губатый человечина. Григория горничная провела в дом. В передней воняло псиной и неподсохшими звериными шкурами. На столе валялся чехол от двустволки и ягдташ с истрепанными зелеными шелковыми махрами.

— Молодой барин зовет к себе.— Из боковых дверей выглянула горничная.

Григорий опасливо оглядел свои грязные сапоги, шагнул в дверь.

На кровати, стоявшей под окном, лежал сотник; на одеяле — коробка с гильзами и табаком. Начинив папиросу, сотник застегнул ворот белой сорочки, сказал:

— Рано ты. Подожди, сейчас отец придет.

Григорий стал у двери. Через минуту по скрипучему полу передней зашаркали чьи-то шаги. Густой низкий бас спросил в дверную щель:

— Не спишь, Евгений?

— Входите.

Вошел старик в черных кавказских бурках. Григорий глянул на него сбоку, и первое, что ему кинулось в глаза,— это тонкий покривленный нос и белые, под носом желтые от курева, широкие полудуги усов. Старик был саженного роста, плечист и худ. На нем дрябло обвисал длинный верблюжьего сукна сюртук, воротник петлей охватывал коричневую, в морщинах, шею. Близко к переносице сидели выцветшие глаза.

— Вот, папа, кучер, которого я вам рекомендую. Парень из хорошей семьи.

— Чей это? — бухнул старик раскатом гудящего голоса.

— Мелехова.

— Которого Мелехова?

— Пантелея Мелехова сын.

— Прокофия знал, Пантелея тоже знаю. Хромой такой, из черкесов?

— Так точно — хромой.— Григорий тянулся струною.

Он помнил рассказы отца об отставном генерале Листницком — герое русско-турецкой войны.

— Почему нанимаешься? — грохотало сверху.

— Не живу с отцом, ваше превосходительство.

— Какой же из тебя будет казак, ежели ты наймитом таскаешься? Отец, отделяя тебя, разве ничего не дал?

— Так точно, ваше превосходительство, не дал.

— Тогда другое дело. Ты с женой нанимаешься?

Сотник резко скрипнул кроватью. Григорий повел глазами, увидел — сотник моргает, дергает головой.

— Так точно, ваше превосходительство.

— Безо всяких превосходительств. Не люблю! Цена — восемь рублей в месяц. Это обоим. Жена будет стряпать на дворовых и сезонных рабочих. Согласен?

— Так точно.

— Чтоб были в имении завтра же. Займешь в людской ту половину, в которой жил прежний кучер.

— Как ваша вчерашняя охота? — спросил сын у старика и опустил на коврик узкие ступни.

— Выгнали из Гремячего лога лисовина, гнали до леса. Старый попался, обманул собак.

— Казбек все хромает?

— У него, как оказалось, вывих. Ты поскорей, Евгений, завтрак стынет.

Старик повернулся к Григорию, щелкнул сухими, костлявыми пальцами.

— Шагом — марш! Завтра к восьми часам чтобы был здесь.

Григорий вышел за ворота. У заднего фасада амбара борзые грелись на подсохшей от снега земле. Старая сука со старушечьим взглядом затрусила к Григорию, обнюхала его сзади и провожала до первой балки, понуро опустив голову, ступая шаг в шаг. Потом вернулась.

XII

Аксинья отстряпалась рано, загребла жар, закутала трубу и, перемыв посуду, выглянула в оконце, глядевшее на баз. Степан стоял возле слег, сложенных костром у плетня к мелеховскому базу. В уголке твердых губ его висела потухшая цигарка; он выбирал из костра подходящую соху. Левый угол сарая завалился, надо было поставить две прочных сохи и прикрыть оставшимся камышом.

С утра на верхушках Аксиньиных скул — румянец, в молодом блеске глаза́. Не укрылась перемена от Степана; завтракая, спросил:

— Ты чего?

— А чего я? — Аксинья вспыхнула.

— Блестишь, будто постным маслом намазанная.

— От печи жарко... в голову кинулось.— И, отвернувшись, глазами воровато шмыгнула в окно: не идет ли Мишки Кошевого сестра?

Та пришла только перед сумерками. Вымученная ожиданием, Аксинья встрепенулась.

— Ты ко мне, Машутка?

— Выдь на-час.

Степан перед осколком зеркала, вмазанного в выболенную грудину печи, зачесывал чуб, гладил куцей расческой из бычачьего рога каштановые усы.

Аксинья опасливо глянула в сторону мужа.

— Ты, никак, куда-то собираешься?

Степан ответил не сразу, положил расческу в карман шаровар, взял из печурки колоду карт и кисет.

— К Аникушке пойду, посижу трошки.

— И когда ты находишься? Искоренили карты: что ни ночь, то им игра. До кочетов просиживают.

— Но, будя, слыхали.

— Опять в очко будешь играть?

— Отвяжись, Аксютка. Вон человек ждет, иди.

Аксинья боком вышла в сенцы. У входа встретила ее улыбкой румяная, в засеве веснушек, Машутка.

— Пришел ить Гришка.

— Ну?

— Пересказывал, чтоб, как затемнеет, шла к нам.

Аксинья, хватая Машуткины руки, теснила ее к двери.

— Тише, тише, любушка. Что ж он, Маша? Может, ишо чего велел сказать?

— Гутарит, чтоб забрала свое, что унесешь.

Аксинья, вся в огне и дрожи, вертела головой, поглядывая на двери, переступая с ноги на ногу.

— Господи, как же я?.. А?.. Так-то скорочко... Ну, что я? Погоди, скажи ему, что я скоро... А где он меня перевстренет?

— Заходи в хату.

— Ох, нет!..

— Ну, ничего, я скажу ему, он выйдет.

Степан надел сюртук, тянулся к висячей лампе, прикуривая.

— Чего она прибегала? — спросил между двумя затяжками.

— Кто?

— Да Машка Кошевых.

— А, это она по своему делу... юбку просила скроить.

Сдувая с цигарки черные хлопья пепла, Степан пошел к двери...

— Ты ложись, не жди!

— Ну-ну.

Аксинья припала к замороженному окну, опустилась перед лавкой на колени. По стежке, протоптанной к калитке, заскрипели шаги уходившего Степана. Ветром схватило искорку цигарки и донесло до окна. В оттаявший кружок стекла Аксинья на минуту увидела при свете пламенеющей цигарки полукруг придавившей хрящеватое ухо папахи, смуглую щеку.

В большой шалевый платок лихорадочно кидала из сундука юбки, кофточки, полушалки — девичье свое приданое,— задыхаясь, с растерянными глазами, в последний раз прошлась по кухне и, загасив огонь, выбежала на крыльцо. Из мелеховского дома кто-то вышел на баз проведать скотину. Аксинья дождалась, пока заглохли шаги, накинула на дверной пробой цепку и, прижимая узел, побежала к Дону. Из-под пухового платка выбились пряди волос, щекотали щеки. Дошла задами до двора Кошевых — обессилела, с трудом переставляла зачугуневшие ноги. Григорий ждал ее у ворот. Принял узел и молча передом пошел в степь.

За гумном Аксинья, замедляя шаги, тронула Григория за рукав.

— Погоди чудок.

— Чего годить? Месяц взойдет не скоро, надо поспешать.

— Погоди, Гриша,— Аксинья, сгорбившись, стала.

— Ты чего? — Григорий наклонился к ней.

— Так... живот чтой-то. Чижолое нады подняла.— Облизывая спекшиеся губы, жмурясь от боли до огненных брызг в глазах, Аксинья схватилась за живот. Постояла немного, согнутая и жалкая, и, заправляя под платок пряди волос, тронулась.

— Ну, все, пойдем!

— Ты и не спросишь, куда я тебя веду. Может, до первого яра, а там спихну? — улыбнулся в темноту Григорий.

— Все одно уж мне. Доигралась.— Голос Аксиньи звякнул невеселым смехом...

Степан в эту ночь вернулся, как всегда, в полночь. Зашел в конюшню, кинул в ясли наметанное конем под ноги сено, снял недоуздок и поднялся на крыльцо. «Должно, ушла на посиделки»,— подумал, скидывая с пробоя цепку. Вошел в кухню, плотно притворил дверь, зажег спичку. Был он в выигрыше (играли на спички), оттого мирен и сонлив. Засветил огонь и, не догадываясь о причине, оглядел в беспорядке разбросанные по кухне вещи.

Слегка удивленный, прошел в горницу. Темной пастью чернел раскрытый сундук, на полу лежала старенькая, забытая впопыхах женина кофтенка. Степан рванул с плеч полушубок, кинулся в кухню за огнем. Оглядел горницу — понял. Швырком кинул лампу, не отдавая себе ясного отчета в том, что делает, рванул со стены шашку, сжал эфес до черных отеков в пальцах,— подняв на конце шашки голубенькую, в палевых цветочках, позабытую Аксиньину кофтенку, подкинул ее кверху и на лету, коротким взмахом, разрубил пополам.

Посеревший, дикий, в волчьей своей тоске, подкидывал к потолку голубенькие искромсанные шматочки; повизгивающая отточенная сталь разрубала их на лету.

Потом, оборвав темляк, кинул шашку в угол, ушел в кухню и сел за стол. Избочив голову, долго гладил дрожащими железными пальцами невымытую крышку стола.

XIII

Беда в одиночку сроду не ходит: утром, по недогляду Гетька, племенной бугай Мирона Григорьевича распорол рогом лучшей кобылице-матке шею. Гетько прибежал в курень белый, растерянный, била его трясучка.

— Беда, хозяин! Бугай, шоб вин сдох, проклятый бугай...

— Чего бугай? Ну? — встревожился Мирон Григорьевич.

— Кобылу спортил...— пырнул рогом... я кажу...

Мирон Григорьевич раздетый выскочил на баз. Возле колодца Митька утюжил колом красного пятилетка-бугая. Тот, пригибая к земле морщинистый подгрудок, волоча его по снегу, крутил низко опущенной головой, далеко назад кидал ногою снег, рассевая вокруг спиралью скрученного хвоста серебряную пыль. Он не бежал от побоев, лишь глухо взмыкивал, перебирал задними ногами, как перед прыжком.

В горле его ширился, рос клокочущий рев. Митька бил его по морде, по бокам, в хрипе безобразной ругани, не обращая внимания на Михея, который тянул его сзади за ремень.

— Отступись, Митрий!.. Христом-богом прошу!.. Забрухает он тебя!.. Григорич, да чего ж ты глядишь?..

Мирон Григорьевич бежал к колодцу. У плетня, понуро свесив голову, стояла кобылица. Запотевшие у кострецов

впадины, черные и глубокие, ходили в дыханье, с шеи на снег и на круглые шишки грудных мускулов текла кровь. Мелкая дрожь волнила светло-гнедую шерсть на спине и боках, сотрясая пахи.

Мирон Григорьевич забежал наперед. На шее, разваленной пополам, дымилась в розовом рана. Глубокий, хоть ладонь суй, длинный порез, обнаженное коленчатое горло в судороге дыханья. Мирон Григорьевич сжал в кулаке челку, потянул вверх опущенную голову кобылицы. Прямо в глаза хозяину направила она мерцающий фиолетовый зрачок, будто спросила: «Что же дальше?» — И на немой вопрос крикнул Мирон Григорьевич:

— Митька! Дубовую кору вели обдать. А ну, торопись.

Гетько, сотрясая в беге треугольный на грязной шее кадык, побежал драть с дуба кору. Митька подошел к отцу, оглядываясь на кружившего по двору бугая. Красный, на талой белени снежища, колесил тот по двору, изрыгая прорвавшийся безостановочный рев.

— Держи за чуб! — приказал Митьке отец.— Михей, беги за бечевкой! Скорей, морду побью!..

Бархатную, в редком волосе, верхнюю губу кобылицы закрутили веревкой на закрутке, чтоб не чуяла боли. Подошел дед Гришака. Принесли в расписной чашке желудевого цвета отвар.

— Остуди,— горяч, небось. Слышишь аль нет, Мирон?

— Батя, идите в курени с богом! Простынете тута!

— А я велю остудить. Загубить хочешь матку?

Рану промыли. Мирон Григорьевич зяблыми пальцами вдевал в иглу-цыганку суровинку. Зашивал сам. Искусный лег на рану шов. Не успел Мирон Григорьевич отойти от колодца, из куреня прибежала Лукинична. Порожние сумки ее блеклых щек смяла тревога. Она отозвала мужа в сторону.

— Наталья пришла, Григорич!.. Ах, боже-е ты мой!

— Чего ишо?.. — взъерошился Мирон Григорьевич, бледнея конопинами белесого лица.

— С Григорием... ушел зятек из дому! — Лукинична раскрылилась, как грач перед взлетом, хлопнув руками по подолу, прорвалась на визг: — Страмы на весь хутор!.. Кормилец, господи, что за напастина!.. Ах! Ох!

Наталья в платке и куцей зимней кофтенке стояла посреди кухни. Две слезинки копились у переносицы, не падая. На щеках ее кирпичными плитами лежал румянец.

— Ты чего заявилась? — напустился отец, влезая в кухню. — Муж побил? Не заладили?..

— Ушел он,— глотая сухмень рыдания, икнула Наталья и, мягко качнувшись, упала перед отцом на колени.— Батянюшка, пропала моя жизня!.. Возьми меня оттель! Ушел Гришка с своей присухой!.. Одна я! Батянюшка, я как колесом перееханная!..— часто залопотала Наталья, не договаривая концы слов, снизу моляще взглядывая в рыжую подпалину отцовской бороды.

— Постой, а ну, погоди!..

— Не из чего там жить! Заберите меня!..— Наталья быстро переползла к сундуку и на ладони кинула дрогнувшую в плаче голову. Платок ее сбился на спину, гладко причесанные черные прямые волосы свисали на бледные уши. Плач в тяжелую минуту — что дождь в майскую засуху; мать прижала к впалому животу Натальину голову, причитая нескладное, бабье, глупое; а Мирон Григорьевич, распалясь,— на крыльцо.

— Запрягай в двое саней!.. В дышловые!..

Петух, деловито топтавший у крыльца курицу,— испуганный громким зыком, прыгнул с нее и враскачку заковылял подальше от крыльца, к амбарам, квохча и негодуя.

— Запрягай!..— Мирон Григорьевич крушил сапогами резные балясины у крыльца и только тогда ушел в курень, оставив безобразно выщербленные перила, когда Гетько на рысях вывел из конюшни пару вороных, на ходу накидывая хомуты.

За Натальиным имуществом поехали Митька с Гетьком. Украинец в рассеянности сшиб санями не успевшего убраться с дороги поросенка, думая про свое: «Мабуть, за цим дилом забудэ хозяин об кобыли?» — И радовался, ослабляя вожжи.

«Такой вредный чертяка, як раз забудэ!..» — настигала мысль, и Гетько, хмурясь, кривил губы.

— Прыгай, чортобис!.. Ось я тоби! — И сосредоточенно норовил щелкнуть кнутом вороного под то самое место, где ёкала селезенка.

XIV

Сотник Евгений Листницкий служил в лейб-гвардии Атаманском полку. На офицерских скачках разбился, переломил в предплечье левую руку. После лазарета взял отпуск и уехал в Ягодное к отцу на полтора месяца.

Старый, давно овдовевший генерал жил в Ягодном одиноко. Жену он потерял в предместье Варшавы в восьми

десятых годах прошлого столетия. Стреляли в казачьего генерала, попали в генеральскую жену и кучера, изрешетили во многих местах коляску, но генерал уцелел. От жены остался двухлетний тогда Евгений. Вскоре после этого генерал подал в отставку, перебрался в Ягодное (земля его — четыре тысячи десятин,— нарезанная еще прадеду за участие в Отечественной войне 1812 года, находилась в Саратовской губернии) и зажил чернотелой, суровой жизнью.

Подросшего Евгения отдал в кадетский корпус, сам занялся хозяйством: развел племенной скот, с императорского завода купил на племя рысистых производителей и, скрещивая их с лучшими матками из Англии и с донского Провальского завода, добился своей породы. Держал на своей казачьей паевой и купленной земле табуны, сеял — чужими руками — хлеб, зимой и осенью охотился с борзыми, изредка, запираясь в белом зале, пил неделями. Точила его злая желудочная болезнь, и по строжайшему запрету врачей не мог он глотать пережеванную пищу; жевал, вытягивал соки, а жевки выплевывал на серебряную тарелочку, которую сбоку, на вытянутых руках постоянно держал молодой, из мужиков, лакей Вениамин.

Был Вениамин придурковат, смугл, на круглой голове — не волосы, а черный плюш. Служил у пана Листницкого шесть лет. Вначале, когда припало стоять над генералом с серебряной тарелочкой, не мог без тошноты глядеть, как старик выплевывает серые, измочаленные зубами жевки, потом привык.

В имении из дворни, кроме Вениамина, жили: кухарка Лукерья, одряхлевший конюх Сашка, пастух Тихон, поступивший на должность кучера Григорий и Аксинья. Рыхлая, рябая, толстозадая Лукерья, похожая на желтый ком невсхожего теста, с первого же дня отшила Аксинью от печи.

— Стряпать будешь, когда рабочих на лето наймет пан, а сейчас я сама управлюсь.

На обязанности Аксиньи лежало три раза в неделю мыть в доме полы, кормить гурты птицы и содержать птичий двор в чистоте. Она ретиво взялась за службу, всем стараясь угодить, не исключая и Лукерьи. Григорий большую часть времени проводил в просторной рубленой конюшне вместе с конюхом Сашкой. До сплошных седин дожил старик, но Сашкой так и остался. Никто не баловал его отчеством, а фамилии, наверное, не знал и сам старый Листницкий, у которого жил Сашка больше двадцати лет.

В молодости Сашка кучеровал, но под исход жизни, теряя силу и зрение, перешел в конюхи. Низенький, весь в зеленой седине (на руках и то рос седой волос), с носом, расплюснутым еще в детстве ударом чекмаря, вечно улыбался он голубой детской улыбкой, мигая на окружающее простодушными, в красных складках, глазами. Портили его апостольское лицо нос курносый, с веселинкой, да изуродованная стекающим книзу шрамом нижняя губа. Под пьянку в солдатчину (родом Сашка был из богучарских москалей) вместо простой водки хватил он из косухи «царской водки»: огненная струйка и пришила ему нижнюю губу к подбородку. Там, где пролилась эта струйка, остался не зарастающий волосом розовый и веселый косой шрам, будто неведомый зверек лизнул Сашку в бороду, положив след тонюсенького напильчатого языка. Сашка часто баловался водкой, в такие минуты бродил по двору имения — сам хозяин — шпаклюя ногами, становился против окон панской спальни и хитро крутил пальцем перед веселым своим носом.

— Миколай Лексеич! А Миколай Лексеич? — звал он громко и строго.

Старый пан, если был в эту минуту в спальне, подходил к окну.

— Нажрался, пустяковая твоя душа? — гремел он из окна.

Сашка поддергивал спадавшие портки, подмигивал, шельмовато улыбался. Улыбка вытанцовывалась у него наискось через все лицо: от прижмуренного левого глаза до розового шрама, стекавшего из правого угла рта. Поперечная была улыбка, но приятная.

— Миколай Лексеич, ваше преподобие, я тебя зна-а-аю!..— И Сашка, приплясывая, грозил торчмя поднятым, тонким и грязным пальцем.

— Поди проспись,— примиряюще улыбался из окна пан, всей обкуренной пятерней закручивая нависшие усы.

— Черт Сашку не ом-манет! — смеялся Сашка, подходя к палисаднику.— Миколай Лексеич, ты... как и я. Мы с тобой как рыба с водой. Рыба на дно, а мы... на гумно. Мы с тобой богатые, во!..— Сашка, корячась, широко расплескивал руки.— Нас все знают, по всей Донской области. Мы...— голос Сашки становился печален и вкрадчив,— мы с тобой, ваше превосходительство, всем хороши, только вот носы у нас говенные!

— Чем же? — любопытствовал пан, сизея от смеха и шевеля усами и подусниками.

— Через водку! — отчеканивал Сашка, часто моргая и слизывая языком слюну, сползавшую по канальцу розового шрама.— Ты, Миколай Лексеич, не пей. А то вовзят пропадем мы с тобой! Проживем все дотла!..

— Поди вот, похмелись.

Пан кидал в окно двугривенный. Сашка ловил на лету, прятал за подкладку картуза.

— Ну, прощай генерал,— вздыхал он, уходя.

— А лошадей-то поил? — заранее улыбаясь, спрашивал пан.

— Черт паршивый! Ать сукин сын! — багровея, орал Сашка ломким голосом. Гнев трепал его лихорадкой.— Сашка чтоб лошадей забыл напоить? А? Умру — и то приползу по цибарке кринишной дать, а он, ать, придумал!.. Тоже!..

Сашка уходил, облитый незаслуженной обидой, матерясь и грозя кулаками. Сходило ему все: и пьянка и панибратское обращение с паном; оттого сходило, что был Сашка незаменимый конюх. Зиму и лето спал он в конюшне, в порожнем станке; никто лучше его не умел обращаться с лошадьми, был он и конюх и коновал: веснами в майском цветении рвал травы, выкапывал в степи, в суходолах и мокрых балках целебные корни. Высоко на стенках конюшни висели сушеные пучки разнолистной травы: яровик — от запала, змеиное око — от укуса гадюки, чернолист — от порчи ног, неприметная белая травка, растущая в левадах у корней верб,— от надрыва, и много других неведомых трав от разных лошадиных недугов и хвори.

В конюшне, в станке, где спал Сашка, зиму и лето паутинной занавесью висел тонкий, липнущий к горлу аромат. На дощатой кровати лежало прикрытое попоной, сбитое камнем сено и весь провонявший конским потом Сашкин зипун. Пожитков, кроме зипуна и дубленого полушубка, у Сашки не было.

Тихон, губатый, здоровенный и дурковатый казак, жил с Лукерьей, втихомолку беспричинно ревновал ее к Сашке. В месяц раз брал он Сашку за пуговицу просаленной рубахи и уводил на зады.

— Дед, ты на мою бабу не заглядывайся!

— Это как сказать...— Сашка многозначительно мигал.

— Отступись, дед! — просил Тихон.

— Я, дружок, рябых люблю. Мне шкалик не подноси, а рябую вынь да положь. Что ни дюжей ряба — дюжей нашего брата, шельма, любит.

— В твои годы, дед, совестно и грех... Эх ты, а ншо лекарь, лошадей пользуешь, святое слово знаешь...

— Я на все руки лекарь,— упорствовал Сашка.

— Отступись, дед! Нельзя так-то.

— Я, брат, эту Лукерью присти́гну. Прощайся с ней, шельмой, отобью! Она — как пирог с изюмом. Только изюм-то повыковырянный, оттого будто ряба малость. Люблю таких!

— На вот... а под ноги не попадайся, а то убью,— говорил Тихон, вздыхая и вытягивая из кисета медяки.

Так каждый месяц.

В сонной одури плесневела в Ягодном жизнь. Глухое, вдали от проезжих шляхов, лежало по суходолу имение, с осени глохла связь со станицей и хуторами. Зимой на бугор, упиравшийся в леваду выпуклым песчаным мысом, ночами выходили волчьи выводки, зимовавшие в Черном лесу, выли, пугая лошадей. Тихон шел в леваду стрелять из панской двустволки, а Лукерья, кутая дерюжкой толстый — что печной заслон — зад, замирала, ожидая выстрела, всматриваясь в темноту заплывшими в жирных рябых щеках глазками. В это время представлялся ей дурной, плешивый Тихон красивым и отчаянно храбрым молодцом, и, когда хлопала дверь в людской, впуская дымящийся пар и Тихона, она теснилась на кровати и, воркуя, сладко обнимала назябшего сожителя.

Летом Ягодное допоздна гудело голосами рабочих. Сеял пан десятин сорок разного хлеба, рабочих нанимал убирать. Изредка летом наезжал в имение Евгений, ходил по саду и леваде, скучал. Утрами просиживал возле пруда с удочками. Был он невысок, полногруд. Носил чуб по-казачьи, зачесывая на правую сторону. Ловко обтягивал его офицерский сюртук.

Григорий в первые дни, как только поселился в имении с Аксиньей, часто бывал у молодого хозяина. В людскую приходил Вениамин; склоняя плюшевую голову, улыбался.

— Иди, Григорий, к молодому пану, велел позвать.

Григорий входил, становился у притолоки. Евгений Николаевич, щеря редкие широкие зубы, указывал рукой на стул.

— Садись.

Григорий садился на краешек.

— Как тебе нравятся наши лошади?

— Добрые кони. Серый дюже хорош.

— Ты его почаще проезжай. Смотри, наметом не гони.

— Мне дед Сашка толковал.

— А Крепыш как?

— Это гнедой-то? Цены не уставлю. Копыто вот защорбил, перековать надо.

Молодой пан, щуря пронзительные серые глаза, спрашивал:

— Тебе ведь в лагери в мае идти?

— Так точно.

— Я поговорю с атаманом, не пойдешь.

— Покорнейше благодарю.

Молчали. Сотник, расстегнув воротник мундира, почесывал женски-белую грудь.

— Что ж, ты не боишься, что Аксиньин муж отнимет ее у тебя?

— Он от нее отказался, не отнимет.

— Кто тебе говорил?

— Ездил в станицу за ухналями, видал хуторного одного. Гутарит, зóпил Степан втемную. «Мне, мол, Аксютка и за грош не нужна. Пущай, я себе похлеще сыщу».

— Аксинья — красивая баба,— говорил сотник, задумчиво глядя повыше Григорьевых глаз, блудя улыбкой.

— Баба ничего,— соглашался Григорий и хмурился.

Евгению кончался срок отпуска. Он мог уже свободно, без перевязки носить руку, поднимать, не сгибая в локте.

В последние дни он часто просиживал у Григория, в его половине людской. Аксинья чисто выбелила замшевшую в грязи комнату, отмыла наличники окон, выскребла битым кирпичом полы. Бабьим уютом пахло в пустой веселой комнатке. Из подзёмки дышало жаром. Сотник, накинув синего сукна романовский полушубок, шел в людскую. Выбирал такое время, когда Григорий был занят с лошадьми. Приходил сначала на кухню, шутил с Лукерьей и, повернувшись, шел в другую половину. Садился у подзёмки на табуретке, остро сутулил спину, глядел на Аксинью бесстыдным улыбчивым взглядом. Аксинья терялась в его присутствии, дрожали в пальцах спицы, набиравшие петли чулка.

— Как живешь, Аксиньюшка? — спрашивал сотник, наводняя комнатушку синим папиросным дымом.

— Благодарствую.

Аксинья поднимала глаза и, встречаясь с прозрачным взглядом сотника, молчаливо говорившим о его желании, вспыхивала румянцем. Ей было досадно и неприятно глядеть в оголенные светлые глаза Евгения Николаевича. Она невпопад отвечала на разные пустяковые вопросы, норовила поскорее уйти.

— Пойду. Надо уткам зерна всыпать.

— Посиди. Успеешь,— улыбался сотник и дрожал ногами в плотно обтягивающих рейтузах.

Он подолгу расспрашивал Аксинью про ее прежнее житье, играл низкими нотками такого же, как и у отца, голоса, похабничал светлыми, как родниковая вода, глазами.

Управившись. Григорий приходил в людскую. Сотник гасил в глазах недавние огни, угощал его папиросой, уходил.

— Чего он сидел? — глухо, не глядя на Аксинью, спрашивал Григорий.

— А я почем знаю? — Аксинья, вспоминая взгляд сотника, деланно смеялась.— Пришел, сел вот туточка, гля-ка, Гришенька, вот так-то,— она показывала, как сидел сотник, похоже горбатила спину,— и сидит, и сидит, ажник тошно, а коленка вострая-превострая.

— Примолвила, что ль, его? — Григорий зло щурился.

— Нужен он мне!

— То-то гляди, а то я его в одночась спихну с крыльца.

Аксинья, улыбаясь, глядела на Григория и не могла понять, серьезно он говорит или шутит.

XV

На четвертой неделе поста сдала зима. На Дону бахромой легли окраинцы, ноздревато припух, поседел подтаявший сверху лед. Вечерами глухо гудела гора, по стариковским приметам — к морозу, а на самом деле — вплотную подходила оттепель. По утрам легкие ледозвонили заморозки, а к полудню земля отходила и пахло мартом, примороженной корой вишневых деревьев, прелой соломой.

Мирон Григорьевич исподволь готовился к пахоте, пополневшими днями возился под навесом сарая, тесал зубья к боронам, вместе с Гетьком делал два новых колесных стана. Дед Гришака говел на четвертой неделе. Приходил из церкви почерневший от холода, жаловался снохе:

— Заморил поп, никудышный служака, да-с, служит, как яишник с возом едет. Это беда!

— Вы бы, батя, на страстной неделе говели, все потеплеет к тому времени.

— Ты мне Наташку покличь. Пущай она чулки по-

толще свяжет, а в таких-то голопятых и серый бирюк с пару найдется.

Наталья жила у отца, «как хохол на отживе»: ей все казалось, что Григорий вернется к ней, сердцем ждала, не вслушиваясь в трезвый нашепот разума; исходила ночами в жгучей тоске, крушилась, растоптанная нежданной, незаслуженной обидой. А к этому прибавилось другое, и Наталья с холодным страхом шла к концу, ночами металась в своей девичьей горенке, как подстреленный чибис по ендовой куге. С первых дней по-иному стал поглядывать на нее Митька, а однажды, прихватив Наталью в сенцах, прямо спросил:

— Скучаешь по Гришке?

— А что тебе?

— Тоску твою хочу разогнать.

Наталья взглянула ему в глаза и ужаснулась в душе своей догадке. Играл Митька зелеными кошачьими глазами, масленно блестел в темноте сеней разрезами зрачков. Наталья, хлопнув дверью, вскочила в боковушку к деду Гришаке и долго стояла, прислушиваясь к тревожному трепету сердца. На другой день после этого Митька подошел к ней на базу. Он метал скотине сено, и на прямых его волосах, на папахе шпанского меха висели зеленые травяные былки. Наталья отгоняла от свиного корыта увивавшихся собак.

— Ты не мордуйся, Наташка...

— Я бате зашумлю! — крикнула Наталья, закрываясь от него руками.

— Тю, сдурела!

— Уйди, проклятый!..

— Ну, чего шумишь?

— Уйди, Митька! Зараз пойду и расскажу бате!.. Какими ты глазами на меня глядишь? И-и-и, бессовестный!.. Как тебя земля держит!

— А вот держит и не гнется.— Митька в подтверждение топнул сапогами и подпер бока.

— Не лезь ко мне, Митрий!

— Зараз я и не лезу, а ночью приду. Ей-богу, приду.

Наталья ушла с база, содрогаясь. Вечером постелила себе на сундуке, положила с собой младшую сестренку. Ночь проворочалась, горячечными глазами вклиниваясь в темноту. Шороха ждала, чтобы крикнуть на весь дом, но тишина нарушалась только сапом спящего рядом, за стенкой, деда Гришаки да редкими всхрапами разметавшейся под боком сестры.

Отравленная бабьим, неусыпным горем разматывалась пряжа дней.

Митька, не изживший давнего своего позора со сватовством, ходил хмурый и злой. По вечерам уходил на игрища и редко приходил домой рано, все больше заря выкидывала. Путался с гулящими жалмерками, ходил к Степану играть в очко. Мирон Григорьевич до поры до времени молчал, приглядывался.

Как-то перед пасхой Наталья встретила около моховского магазина Пантелея Прокофьевича. Он окликнул ее первый.

— Погоди-ка на-часок.

Наталья остановилась. Затосковала, глянув на горбоносое, смутно напоминавшее Григория лицо свекра.

— Ты чего ж к старикам не заглянешь? — смущенно обегая ее глазами, заговорил старик, словно сам был виноват перед Натальей.— Баба там по тебе соскучилась: что да чего ты там... Ну, как живешь-можешь?

Наталья оправилась от безотчетного смущенья.

— Спасибочко...— и, запнувшись (хотела назвать батей), смутившись, докончила: — Пантелей Прокофьевич.

— Что ж не наведаешься к нам?

— По хозяйству... работаю.

— Гришка наш, эх!..— Старик горько закрутил головой.— Подковал он нас, стервец... Как ладно зажили было-к...

— Что ж, батя...— высоким рвущимся голосом зазвенела Наталья,— не судьба, видать.

Пантелей Прокофьевич растерянно засуетился, глянув в глаза Натальи, налитые слезами. Губы ее сводило, усилие держало слезы.

— Прощай, милушка!.. Ты не горюй по нем, по сукиному сыну, он ногтя твоего не стоит. Он, может, вернется. Повидать бы мне его, уж я доберусь!

Наталья пошла, вобрав голову в плечи, как побитая. Пантелей Прокофьевич долго топтался на одном месте, будто сразу хотел перейти на рысь. Наталья, заворачивая за угол, оглянулась: свекор хромал по площади, с силой налегая на костыль.

XVI

У Штокмана стали собираться реже. Подходила весна. Хуторцы готовились к весенней работе; лишь с мельницы приходили Валет с Давыдкой и машинист Иван Алексе-

евич. В страстной четверг перед вечером собрались в мастерской. Штокман сидел на верстаке, подчищая напилком сделанное из серебряного полтинника кольцо. В окно ложилась вязанка лучей закатного солнца. Розовый, с желтизной, лежал на полу пыльный квадрат. Иван Алексеевич крутил в руках клещи-кусачки.

— Надысь был у хозяина, ходил толковать о поршне. Надо в Миллерово везть, там дадут ему рахунку [1], а мы что же можем поделать? Трещина образовалась вот какая,— неизвестно кому показал Иван Алексеевич на мизинце размер трещины.

— Там ведь завод, кажется, есть? — спросил Штокман, двигая напилком, сея вокруг пальца тончайшую серебряную пыль.

— Мартеновский. Мне припало в прошлом году побывать.

— Много рабочих?

— До черта. Сотни четыре.

— Ну, как они? — Штокман, работая, встряхивал головой, и слова падали раздельно, как у заики.

— Им-то житье. Это тебе не пролетарии, а так... навоз.

— Почему же это? — поинтересовался Валет, сидя рядом со Штокманом, скрестив под коленями куценькие обрубковатые пальцы.

Давыдка-вальцовщик, седой от мучной пыли, набившейся в волосы, ходил по мастерской, разбрызгивая чириками шуршащую пену стружек, с улыбкой прислушиваясь к сухому пахучему шелесту. Казалось ему, что идет он по буераку, занесенному багряным листопадом, листья мягко уминаются, а под ними — юная упругость сырой буерачной земли.

— А потому это, что все они зажиточные. Каждый имеет свой домик, свою бабу со всяким удовольствием. А тут к тому ишо половина из них баптисты. Сам хозяин — проповедник у них, ну, и рука руку моет, а на обеих грязи — мотыгой не соскребешь.

— Иван Алексеевич, какие это баптисты? — остановился Давыдка, уловив незнакомое слово.

— Баптисты-то? По-своему в бога веруют. Навроде полипонов [2].

— Каждый дурак по-своему с ума сходит,— добавил Валет.

---

[1] Дать рахунку — довести дело до конца.
[2] Полипоны — кличка старообрядцев.

— Ну, так вот, прихожу я к Сергею Платоновичу,— продолжал Иван Алексеевич начатый рассказ,— у него Атепин Цаца сидит. «Погоди, говорит, в прихожей». Сел, дожидаюсь. Сквозь дверей слышу разговор ихний. Сам расписывает Атепину: мол, очень скоро должна произойтить война с немцами, вычитал из книжки, а Цаца, знаешь, как он гутарит? «Конецно, гутарит, я с вами не согласный насцет войны».

Иван Алексеевич так похоже передразнил Атепина, что Давыдка, округлив рот, пустил короткий смешок, но, глянув на язвительную мину Валета, смолк.

— «Война с Россией не могет быть, потому цто Германия правдается нашим хлебом»,— продолжал Иван Алексеевич пересказ слышанного разговора.— Тут вступается ишо один, по голосу не спознал, а посля оказался пана Листницкого сын, офицер. «Война, дескать, будет промеж Германией и Францией за виноградные поля, а мы тут ни при чем».

— Ты, Осип Давыдович, как думаешь? — обратился Иван Алексеевич к Штокману.

— Я предсказывать не умею,— уклончиво ответил тот, на вытянутой руке сосредоточенно рассматривая отделанное кольцо.

— Задерутся они — быть и нам там. Хошь, не хошь, а придется, за волосы притянут,— рассуждал Валет.

— Тут, ребятки, вот какое дело...— заговорил Штокман, мягко освобождая кусачки из пальцев Ивана Алексеевича.

Говорил он серьезно; как видно собираясь основательно растолковать. Валет удобнее подхватил сползавшие с верстака ноги, на лице Давыдки округлились губы, не прикрывая влажной кипени плотных зубов. Штокман с присущей ему яркостью, сжато, в твердых фразах обрисовал борьбу капиталистических государств за рынки и колонии. В конце его возмущенно перебил Иван Алексеевич:

— Погоди, а мы-то тут при чем?

— У тебя и у других таких же головы будут болеть с чужого похмелья,— улыбнулся Штокман.

— Ты не будь дитем,— язвил Валет,— старая поговорка: «Паны дерутся, а у холопов чубы трясутся».

— У-у-гу-м,— Иван Алексеевич насупился, дробя какую-то громоздкую, неподатливую глыбу мыслей.

— Листницкий этот чего прибивается к Моховым? Не за дочерью его топчет? — спросил Давыдка.

— Там уже коршуновский потомок топтался...— злословил Валет.

— Слышишь, Иван Алексеевич? Офицер чего там нюхает?

Иван Алексеевич встрепенулся, словно кнутом его под коленки жиганули.

— А? Что гутаришь?

— Задремал, дядя!.. Про Листницкого разговор.

— На станцию едет. Да, ишо новостишка: оттель выхожу, на крыльце — кто бы вы думали? Гришка Мелехов. Стоит с кнутиком. Спрашиваю: «Ты чего тут, Григорий?» — «Листницкого пана везу на Миллеровскую».

— Он у них в кучерах,— вступился Давыдка.

— С панского стола объедки схватывает.

— Ты, Валет, как цепной кобель, любого обрешешь.

Разговор на минуту смолк. Иван Алексеевич поднялся идти.

— Ты не к стоянию спешишь? — съехидничал напоследок Валет.

— Мне каждый день стояние.

Штокман проводил всегдашних гостей; замкнув мастерскую, пошел в дом.

В ночь под пасху небо затянуло черногрудыми тучами, накрапывал дождь. Отсыревшая темнота давила хутор. На Дону, уже в сумерках, с протяжным, перекатистым стоном хрястнул лед, и первая с шорохом вылезла из воды, сжатая массивом поломанного льда, крыга. Лед разом взломало на протяжении четырех верст, до первого от хутора колена. Пошел стор. Под мерные удары церковного колокола на Дону, сотрясая берега, крушились, сталкиваясь, ледяные поля. У колена, там, где Дон, избочившись, заворачивает влево, образовался затор. Гул и скрежет налезающих крыг доносило до хутора. В церковной ограде, испещренной блестками талых лужиц, гуртовались парни. Из церкви через распахнутые двери на паперть, с паперти в ограду сползали гулкие звуки чтения, в решетчатых окнах праздничный и отрадный переливался свет, а в ограде парни щупали повизгивавших тихонько девок, целовались, вполголоса рассказывали похабные истории.

В церковной караулке толпились казаки, приехавшие к светлому богослужению с ближних и дальних хуторов. Сморенные усталью и духотой, висевшей в караулке, люди спали на лавках и у подоконников, на полу.

На поломанных порожках курили, переговаривались о погоде и озимых.

— Ваши хуторные ка́к на поля выедут?
— На фоминой тронутся, должно.
— То-то добришша, у вас ить там песчаная степь.
— Супесь, по энту сторону лога — солончаки.
— Теперича земля напитается.
— Прошлый год мы пахали — земля как хрящ, до бесконца краю клёклая.
— Дунька, ты где? — тоненьким голосом пищало внизу у крыльца караулки.

А у церковной калитки чей-то сиплый грубый голос бубнил:

— Нашли где целоваться, ах вы... Брысь отседа, пакостники! Приспичило вам!
— Тебе пары нету? Иди нашу сучку целуй,— резонил из темноты молодой ломкий голос.
— Су-у-учку? А вот я тебе...

Вязкий топот перебирающих в беге ног, порсканье и шелест девичьих юбок.

С крыши стеклянная звень падающей капели; и снова тот же медленный, тягучий, как черноземная грязь, голос:

— Запашник надысь торговал у Прохора, давал ему двенадцать целковых — угинается. Энтот не продешевит...

На Дону — плавный шелест, шорох, хруст. Будто внизу за хутором идет принаряженная, мощная, ростом с тополь, баба, шелестя невиданно большим подолом.

В полночь, когда закрутела кисельная чернота, к ограде верхом на незаседланном коне подъехал Митька Коршунов. Слез, привязал к гриве повод уздечки, хлопнул горячившуюся лошадь ладонью. Постоял, прислушиваясь к чавканью копыт, и, оправляя пояс, пошел в ограду. На паперти снял папаху, согнул в поклоне подбритую неровною скобкой голову; расталкивая баб, протискался к алтарю. По левую сторону черным табуном густились казаки, по правую цвела пестрая смесь бабьих нарядов. Митька разыскал глазами стоявшего в первом ряду отца, подошел к нему. Перехватил у локтя руку Мирона Григорьевича, поднимавшуюся в крестном знамении, шепнул в заволосатевшее ухо:

— Батя, выдь на-час.

Пробираясь сквозь сплошную завесу различных запахов, Митька дрожал ноздрями: валили с ног чад горячего воска, дух разопревших в поту бабьих тел, могильная вонь слежалых нарядов (тех, которые вынимаются из-под испода сундуков только на рождество да на пасху), разило

мокрой обувной кожей, нафталином, выделениями говельщицких изголодавшихся желудков.

На паперти Митька, грудью прижимаясь к отцову плечу, сказал:

— Наталья помирает!

XVII

Григорий вернулся из Миллерова, куда отвозил Евгения, в вербное воскресенье. Оттепель съела снег; дорога испортилась в каких-нибудь два дня.

В Ольховом Рогу, украинской слободе, в двадцати пяти верстах от станции, переправляясь через речку, едва не утопил лошадей. В слободу приехал перед вечером. За прошедшую ночь лед поломало, пронесло, и речка, пополняемая коричневыми потоками талой воды, пухла, пенилась, подступая к улочкам.

Постоялый двор, где останавливались кормить лошадей по дороге на станцию, был на той стороне. За ночь могло еще больше прибыть воды, и Григорий решил переправиться.

Подъехал к тому месту, где сутки назад переезжал по льду; вышедшая из берегов речка гнала по раздвинувшемуся руслу грязные воды, легко кружила на середине отрезок плетня и половинку колесного обода. На оголенном от снега песке виднелись притертые санными полозьями свежие следы. Григорий остановил потных, со шмотьями мыла меж ног, лошадей и соскочил с саней рассмотреть следы. Подреза прорезали тонкие полоски. У воды след слегка заворачивал влево, тонул в воде. Григорий смерил расстояние взглядом: двадцать саженей — самое большее. Подошел к лошадям проверить запряжку. В это время из крайнего двора вышел, направляясь к Григорию, пожилой, в лисьем треухе украинец.

— Ездют тут? — спросил Григорий, махая вожжами на коричневый перекипающий поток.

— Та издють. Ноне утром проихалы.

— Глубоко?

— Ни. В сани, мабуть, зальется.

Григорий подобрал вожжи и, готовя кнут, толкнул лошадей коротким повелительным «но!»... Лошади, храпя и нюхая воду, пошли нехотя.

— Но! — Григорий свистнул кнутом, привставая на козлах.

Гнедой широкозадый конь, левый в запряжке, мотнул головой — была не была! — и рывком натянул постромки. Григорий искоса глянул под ноги: вода клехтала у грядушки саней. Лошадям сначала по колено, потом сразу по грудь. Григорий хотел повернуть обратно, но лошади сорвались и, всхрапнув, поплыли. Задок саней занесло, поворачивая лошадей головами на течение. Через спины их перекатами шла вода, сани колыхало и стремительно тянуло назад.

— А-я-яй!.. А-а-яй, правь!..— горланил, бегая по берегу, украинец и зачем-то махал сдернутым с головы лисьим треухом.

Григорий в диком остервенении, не переставая, улюлюкал, понукал лошадей. Вода курчавилась за оседавшими санями мелкими воронками. Сани резко стукнуло о торчавшую из воды сваю (след унесенного моста) и перевернуло с диковинной ловкостью. Охнув, Григорий окунулся с головой, но вожжей не выпустил. Его тянуло за полы полушубка, за ноги, влекло с мягкой настойчивостью, переворачивая возле колыхавшихся саней. Он успел ухватиться левой рукой за полоз, бросил вожжи, задыхаясь, стал перехватываться руками, добираясь до барка. Он уже схватил было пальцами окованный конец барка — в этот миг Гнедой, сопротивлявшийся течению, с силой ударил его задней ногой в колено. Захлебываясь, Григорий перекинулся руками и уцепился за постромку. Его отрывало от лошадей, разжимало пальцы с удвоенной силой. Весь в огненных колючках холода, он дотянулся до головы Гнедого, и прямо в расширенные зрачки Григория вонзила лошадь бешеный, налитый смертельным ужасом взгляд своих кровянистых глаз.

Несколько раз упускал Григорий ослизлые ремни поводьев; заплывал, хватал, но поводья выскальзывали из пальцев; как-то схватил — и внезапно черкнул ногами землю.

— Но-о-о!!! — Вытягиваясь до предела, метнулся вперед и упал на пенистой отмели, сбитый с ног лошадиной грудью.

Лошади, подмяв его, вихрем вырвали из воды сани; обессиленные, в дымящейся дрожи мокрых спин, стали в нескольких шагах.

Не чувствуя боли, Григорий вскочил на ноги; холод облепил его, будто нестерпимо горячим тестом. Григорий дрожал больше, чем лошади, чувствовал, что на ногах он так же слаб сейчас, как грудной ребенок. Опамятовался и,

перевернув сани на полозья, согревая лошадей, пустил их наметом. В улицу влетел, как в атаке,— в первые же раскрытые ворота направил лошадей, не замедляя бега.

Хозяин попался радушный. К лошадям послал сына, а сам помог Григорию раздеться и тоном, не допускавшим никаких возражений, приказал жене:

— Затопляй печь!

Григорий отлежался на печи, в хозяйских штанах, пока высушилась одежда; повечеряв постными щами, лег спать.

Выехал он ни свет ни заря. Лежал впереди путь в сто тридцать пять верст, и дорога́ была каждая минута. Грозила степная весенняя распутица; в каждом ярке и каждой балке — шумные потоки снеговой воды.

Черная оголенная дорога резала лошадей. По заморозку-утреннику дотянул до тавричанского участка, лежавшего в четырех верстах от дороги, и стал на развилке. Дымились потные лошади, позади лежал сверкающий на земле след полозьев. Григорий бросил в участке сани, подвязал лошадям хвосты, поехал верхом, ведя вторую лошадь в поводу. Утром в вербное воскресенье добрался до Ягодного.

Старый пан выслушал подробный рассказ о дороге, пошел глянуть на лошадей. Сашка водил их по двору, сердито поглядывая на их глубоко ввалившиеся бока.

— Как лошади? — спросил пан, подходя.

— Само собой понятно,— буркнул Сашка, не останавливаясь, сотрясая седую прозелень круглой бороды.

— Не перегнал?

— Нету. Гнедой грудь потер хомутом. Пустяковина.

— Отдыхай.— Пан повел рукою в сторону дожидавшегося Григория.

Тот пошел в людскую, но отдохнуть пришлось только ночь. На следующий день утром пришел Вениамин в новой сатиновой голубой рубахе, в жирке всегдашней улыбки.

— Григорий, к пану. Сейчас же!

Генерал шлепал по залу в валеных туфлях. Григорий раз кашлянул, переминаясь с ноги на ногу у дверей зала, в другой — пан поднял голову.

— Тебе чего?

— Вениамин покликал.

— Ах, да. Иди седлай жеребца и Крепыша. Скажи, чтоб Лукерья не выносила собакам. На охоту!

Григорий повернулся идти. Пан вернул его окликом:

— Слышишь? Поедешь со мной.

Аксинья сунула в карман Григорьева полушубка пресную пышку, пришептывая:

— Поисть не даст, вражина!.. Мордуют его черти. Ты б, Гриша, хучь шарф повязал.

Григорий подвел к палисаднику оседланных лошадей, свистом созвал собак. Пан вышел в поддевке синего сукна, подпоясанный наборным ремнем. За плечом висела никелевая с пробковыми стенками фляга; свисая с руки, гадюкой волочился позади витой арапник.

Держа поводья, Григорий наблюдал за стариком и удивился легкости, с какой тот метнул на седло свое костистое старое тело.

— За мной держи,— коротко приказал генерал, рукой в перчатке ласково разбирая поводья.

Под Григорием взыграл и пошел боком, по-кочетиному неся голову, четырехлеток жеребец. Он был не кован на задние и, попадая на хрупкий ледок, оскользался, приседая наддавал на все ноги. В сутуловатой, но надежной посадке баюкался на широкой спине Крепыша старый пан.

— Мы куда? — равняясь, спросил Григорий.

— К Ольшанскому буераку,— густым басом отозвался пан.

Лошади шли дружно. Жеребец просил поводьев, по-лебединому изгибая короткую шею, косил выпуклым глазом на седока, норовил укусить за колено. Поднялись на изволок, и пан пустил Крепыша машистой рысью. Собаки бежали позади Григория, раскинувшись короткой цепкой. Черная старая сука бежала, касаясь горбатой мордой кончика лошадиного хвоста. Жеребец приседал, горячась, хотел лягнуть назойливую суку, но та приотставала, тоскующим старушечьим взглядом ловила взгляд оглядывающегося Григория.

До Ольшанского буерака добрались в полчаса. Пан поехал по буерачной хребтине, лохматой от коричневого старюки-бурьяна. Григорий спустился, осторожно вглядываясь в промытое, изъязвленное провалами днище буерака. Изредка поглядывал на пана. Сквозь стальную сизь голого и редкого ольшаника видна была четкая, как нарисованная, фигура старика. Припадая к луке, он привстал на стременах, и на спине его синё морщинилась перетянутая казачьим поясом поддевка. Собаки шли по холмистому изволоку, держались кучей. Переезжая крутую промоину, Григорий свесился с седла.

«Закурить бы. Зараз пущу повод и достану кисет», подумал он, снимая перчатку, шурша в кармане бумагой.

— Трави!.. — ружейным выстрелом гукнул за буерачной хребтиной крик.

Григорий вздернул голову; на острогорбый гребень выскочил пан и, высоко подняв арапник, пустил Крепыша карьером.

— Трави!

Пересекая хлюпкое, заросшее кугой и камышаткой днище буерака, скользя и пригибаясь к земле, быстро бежал грязно-бурый, клочковатый в пахах, невылинявший волк. Перепрыгнув ложок, он стал и, живо повернувшись боком, увидел собак. Они шли на него лавой, охватывая подковой, отрезая от леса, начинавшегося в конце буерака.

Пружинисто покачиваясь, волк выскочил на курганчик — давнишнюю сурчину,— шибко пошел к лесу. Почти навстречу ему скупыми бросками двигалась старая сука, сзади доспевал седой высокий кобель Ястреб — один из лучших и самый злой в гоньбе.

Волк на минуту замялся, словно в нерешительности. Григорий, поднимаясь из буерака, кругообразно поводя поводьями, на минуту потерял его из виду, а когда выскочил на бугор,— волк мельтешился далеко-далеко; по черной ряднине степи, сливаясь с землей, плыли в бурьянах черные собаки, а дальше сбоку, полосуя Крепыша рукоятью арапника, обскакивал крутой яр старый пан. Волк перебивал к соседнему буераку, близко наседали, охватывали собаки, и почти над клочьями волчьих пахов висел, отсюда казавшийся Григорию белесым лоскутком, седой кобель Ястреб.

— Тра-а-ави-и-и!..— доплеснулся до Григория крик.

Он выпустил жеребца во весь мах, тщетно стараясь разглядеть, что происходило впереди: глаза застилало слезами, уши забивал режущий свист рассекаемого ветра. Охота захватила Григория. Припадая к шее жеребца, он вихрился в буйной скачке. Пока доскакал до буерака — ни волка, ни собак не было. Через минуту его догнал пан. Осадив Крепыша на всем скаку, крикнул:

— Куда пошел?

— В буерак, должно.

— Обскакивай слева!.. Гони!..

Пан всадил каблуки в бока пляшущей на дыбах лошади, поскакал направо. Григорий, спускаясь в ложбину, натянул поводья; гикнув, вылетел на ту сторону. Версты полторы торопил взопревшего жеребца плетью и криком. Вязкая, непросохшая земля налипала на копыта, ошметками осыпало лицо. Длинный буерак, излучисто вившийся по

бугру, повернул вправо, разветвился на три отножины. Григорий пересек поперечную отножину и помчался по пологому склону, завидев вдали черную цепку собак, гнавших волка по степи. Зверя, как видно, отбили от сердцевины буерака, особенно густо заросшей дубом и ольхами. Там, где сердцевина кололась на три отножины и буерак покато стекал тремя черно-сизыми рукавами, волк вышел на чистое и, выгадав с сотню саженей, шибко шел под гору в суходол, сплошь залохматевший одичалой давнишней зарослью бурьяна и сухого татарника.

Привставая на стременах, Григорий следил за ним, вытирал рукавом слезы, застилавшие нахлестанные ветром глаза. Мельком взглянув влево, он узнал свою землю. Жирным косым квадратом лежала деляна, та, что осенью пахал он с Натальей. Григорий нарочно направил жеребца через пахоту, и за те небольшие минуты, в которые жеребец, спотыкаясь и качаясь, пересекал пахоту, в сердце Григория остывал охвативший его охотничий пыл. Уже равнодушно понукал Григорий тяжело сопевшего жеребца и, проследив за паном — не оглядывается ли,— перешел на куцый намет.

Вдали у Красного лога виднелся пустой стан пахарей. В стороне, на свежей, отливавшей бархатом пахоте, ползли три пары быков, тащивших плуг.

«Наши хуторные. Чья это земля?.. Да, никак, Аникушкина».— Григорий скользил прищуренными глазами, узнавая быков и ходившего за плугом человека.

— Взя-а-а-ать!..

Григорий увидел, как двое казаков, бросив плуг, бежали наперерез волку, норовившему прорваться к логу. Один рослый, в казачьей краснооколой фуражке, со спущенным под подбородок ремешком,— махал выдернутой из ярма железной занозой. И тут-то неожиданно волк сел, опустив зад в глубокую борозду. Седой кобель Ястреб с разлета перемахнул через него и упал, поджимая передние ноги; старая сука, пытаясь остановиться, чертила задом бугристую пахоту, не удержавшись, напоролась на волка. Тот резко мотнул головой, сука пластом зарикошетила в сторону. Черный громадный клуб насевших на волка собак, качаясь, проплыл по пахоте несколько саженей и покатился шаром. Григорий подскакал на полминуты раньше пана, прыгнул с седла, упал на колени, относя за спину руку с охотничьим ножом:

— Вон он!.. Исподний!.. В глотку!..— запыхавшимся знакомым голосом крикнул подбежавший казак с занозой

Он, сопя, прилег рядом с Григорием и, оттягивая кожу на шее вгрызавшегося в волчье брюхо кобеля, пятерней стреножил волка. Под вздыбленной, двигающейся под рукой жесткой шерстью Григорий нащупал трубку горла, коротко дернул ножом.

— Собак!.. Со-о-обак!.. Гони!..— паралично хрипел посиневший пан, падая с седла на мякоть пахоты.

Григорий с трудом отогнал собак, оглянулся на пана.

Поодаль в стороне стоял Степан Астахов в фуражке с приспущенным на подбородок лакированным ремешком. Он вертел в руках железную занозу, дрожал посеревшей нижней челюстью и бровями.

— Ты откуда, молодец? — обратился к нему пан.— С какого хутора?

— С Татарского,— переждав время, отозвался Степан и сделал шаг в сторону Григория.

— Чей?

— Астахов.

— Вот что, любезный, ты когда едешь домой?

— Ноне к ночи.

— Привези нам эту тушку.— Пан указал ногой на волка, в агонии редко клацавшего зубами, поднимавшего кверху выпрямленную заднюю ногу с бурым свалявшимся клоком шерсти на лодыжке.— Что стоит — заплачу,— посулил пан и, вытирая шарфом пот с багрового лица, отошел в сторону, скособочился, снимая с плеча узкий, прикрепленный к фляге ремешок.

Григорий пошел к жеребцу. Ставя ногу в стремя, оглянулся. Степан, объятый неуемной дрожью, шел к нему, поводя шеей, плотно прижав к груди тяжелые крупные руки.

XVIII

У соседки Коршуновых Пелагеи в ночь под субботу на страстной неделе собрались бабы на посиделки. Гаврила Майданников — муж Пелагеи — писал из Лодзи, сулился прийти в отпуск к пасхе. Пелагея выбелила стены и прибрала в хате еще в понедельник, а с четверга ждала, выглядывала за ворота, подолгу стояла у плетня простоволосая и худая, с лицом, покрытым плитами матежин; прикрыв глаза ладонью, всматривалась — не едет ли, случаем? Ходила она на сносях, но законно: в прошлом году летом приезжал Гаврила из полка, привез жене польского

ситцу, прогостил недолго: четыре ночи переспал с женой, а на пятые сутки напился, ругался по-польски и по-немецки и, плача, распевал давнишнюю казачью песню о Польше, сложенную еще в 1831 году. С ним за столом сидели приятели и братья, пришедшие проводить служивого, глотали водку до обеда, подпевали:

Говорили про Польшу, что богатая,
А мы разузнали — голь проклятая.
У этой у Польши корчемка стоит,
Корчма польская, королевская.
У этой корчемки три их молодца пьют.
Пруссак, да поляк, да млад донской казак.
Пруссак водку пьет — монеты кладет,
Поляк водку пьет — червонцы кладет,
Казак водку пьет — ничего не кладет;
Он по корчме ходит — шпорами гремит,
Шпорами гремит — шинкарку манит:
«Шинкарочка — душечка, поедем со мной,
Поедем со мной к нам на тихий Дон.
У нас на Дону да не по-вашему живут:
Не ткут, не прядут, не сеют, не жнут,
Не сеют, не жнут, да чисто ходют».

А с обеда распрощался Гаврила с семьей и уехал. С того дня и стала Пелагея на подол рубахи поглядывать.

Наталье Коршуновой так объяснила она причину беременности:

— Перед тем, как прийтить Гаврюше, видала я, милушка, сон. Кубыть иду я по займищу, а попереди меня наша старая корова, какую мы летось на спас продали; идет она, а из сиськов молоко дорогу вилюжит... «Господи, думаю, как же это я ее так доила?» После этого приходит ко мне бабка Дроздиха за хмелинами, я ей и расскажи сон, а она: «Отнеси, грит, на коровий баз кусочек воску, отломи от свечки, скатай в шарик и отнеси, в коровий свежий помет закопай, а то беда под окном караулит». Кинулась я, а свечки-то нету, была одна — ребята покатали, тарантулов из норь выманували, что ли. Тут пришел Гаврюша — вот она и беда. До этого три года рубахи сымала, а теперича ишь...— сокрушалась Пелагея, тыча пальцем в свой вздувшийся живот.

Ожидая мужа, Пелагея горюнилась, скучала без людей, поэтому в пятницу созвала баб-соседок время разделить. Пришла Наталья с недовязанным крючковым чулком (заходила весна — сильнее зябнул дед Гришака), она была оживлена, чаще, чем нужно, смеялась чужим шуткам: просто ей не хотелось, чтоб видели бабы, что борет ее тоска по мужу. Пелагея, свесив с печки босые, в фиолетовых

прожилках ноги, подтрунивала над молодой занозистой бабенкой Фросей.

— Как же ты, Фроська, казака своего избила?

— Не знаешь как? По спине, по голове, по чем пришлось.

— Я не про то: как у вас завелось-то?

— Так и завелось,— нехотя отвечала та.

— Ты б своего прихватила с чужой, аль смолчала бы? — медленно расставляя слова, спросила длинная жердистая баба — сноха Кашулина Матвея.

— Расскажи, Фросинья.

— Нечего уж!.. Нашли о чем гутарить...

— Не кобенься, тут все свои.

Фрося, выплевывая в руку подсолнечную лузгу, улыбнулась:

— Я давно за ним примечала, а тут переказывают мне: мол, твой на мельнице с задонской жалмеркой мирошничает... Я — туда, они возля просорушки.

— Что ж, Наталья, про мужа не слыхать? — перебила кашулинская сноха, обращаясь к Наталье.

— В Ягодном он...— тихо ответила та.

— Думаешь жить с ним, нет ли?

— Она, может, думала б, да он об ней не понимает,— вмешалась хозяйка.

Наталья почувствовала, как горячая до слез кровь плеснулась ей в лицо. Она склонила над чулком голову, исподлобья глянула на баб и, видя, что на нее все смотрят, сознавая, что краски стыда не скрыть от них, намеренно, но неловко, так, что это заметили все, уронила с колен клубок и нагнулась, шаря пальцами по холодному полу.

— Наплюй на него, бабонька. Была б шея, а ярмо будет,— с нескрываемым сожалением посоветовала одна.

Деланное оживление Натальи потухло искрой на ветру. Бабы перекинулись в разговоре на последние сплетни, на пересуды. Наталья вязала молча. С трудом высидев до конца, она ушла, унося в душе неоформленное решение. Стыд за свое неопределенное положение (она все не верила, что Григорий ушел навсегда, и, прощая, ждала его) толкнул ее на следующий поступок: решила послать тайком от домашних в Ягодное к Григорию, чтобы узнать, совсем ли ушел он и не одумался ли. Пришла она от Пелагеи поздно. В горенке сидел дед Гришака, читал затрепанное, закапанное воском, в кожаном переплете Евангелие. Мирон Григорьевич в кухне довязывал крыло к вентерю, слушал рассказ Михея о каком-то давнишнем убийстве. Мать

Натальи, уложив детей, спала на печке, уставив в дверь черные подошвы ног. Наталья разделась, бесцельно прошлась по комнатам. В зале, в углу, отгороженном доскою, ворох оставленного на посев конопляного семени и мышиный писк.

Она на минуту задержалась в дедовой горнице. Постояла возле угольного столика, тупо глядя на стопку церковных книг, сложенных под образами.

— Дедуня, у тебя бумага есть?

— Какая бумага? — Дед поверх очков собрал густую связку морщин.

— На какой пишут.

Дед Гришака порылся в псалтыре и вынул смятый, провонявший затхлым канунным медом и ладаном лист.

— А карандаш?

— У отца спроси. Иди, касатка, не мешайся.

Карандашный огрызок добыла Наталья у отца. Села за стол, мучительно передумывая давно продуманное, вызывавшее на сердце тупую ноющую боль.

Утром она, посулив Гетьку водки, снарядила его в Ягодное с письмом:

«Григорий Пантелевич!

Пропиши мне, как мне жить, и навовсе или нет потерянная моя жизня? Ты ушел из дому и не сказал мне ни одного словца. Я тебя ничем не оскорбила, и я ждала, что ты мне развяжешь руки и скажешь, что ты ушел навовсе, а ты отроился от хутора и молчишь, как мертвый.

Думала, сгоряча ты ушел, и ждала, что возвернешься, но я разлучать вас не хочу. Пущай лучше одна я в землю затоптанная, чем двое. Пожалей напоследок и пропиши. Узнаю — буду одно думать, а то я стою посередь дороги.

Ты, Гриша, не серчай на меня, ради Христа.

Наталья».

Хмурый, в предчувствии близкого запоя, Гетько увел на гумно лошадь; украдкой от Мирона Григорьевича обротал ее, поскакал охлюпкой. Сидел он на лошади присущей неказакам неловкой посадкой, болтал на рыси рваными локтями и, провожаемый назойливыми криками игравших на проулке казачат, ехал шибкой рысью.

— Хохол!.. Хохол!..

— Хохол-мазница!

— Упадешь!..

— Кобель на плетне!..— вслед ему кричали ребятишки.

Вернулся с ответом он к вечеру. Привез синий клочок оберточной сахарной бумаги; вынимая его из-за пазухи, подмигнул Наталье.

— Дорога невозможна, моя донюшка! Така тряска, шо Гетько уси пэчонки поотбывав!

Наталья прочла и посерела. В четыре приема вошло в сердце зубчато-острое...

Четыре расплывшихся слова на бумажке: «Живи одна. *Мелехов Григорий*».

Торопясь, словно не надеясь на свои силы, она ушла со двора, легла на кровать. Лукинична на ночь затапливала печь, чтоб пораньше отстряпаться и ко времени выпечь куличи.

— Наташка, иди пособи мне! — звала она дочь.

— Голова болит, маманя. Я чудок полежу.

Лукинична высунулась в дверь:

— Ты бы рассольцу. А? Доразу очунéешься.

Наталья сухим языком коснулась холодных губ, промолчала.

До вечера лежала она, с головой укрывшись теплым пуховым платком. Легкий озноб сотрясал ее согнутое калачиком тело. Мирон Григорьевич с дедом Гришакой уже собрались идти в церковь, когда она встала и вышла на кухню. На висках ее, у гладко причесанных черных волос, глянцевител пот, масляной нездоровой поволокой подернулись глаза.

Мирон Григорьевич, застегивая на ширинке широких шаровар длинный ряд пуговиц, скосился на дочь.

— Приспичило тебя, дочушка, хворать. Пойдем к светлой заутрене.

— Идите, я после приду.

— К шапошному разбору?

— Нет, я вот оденусь... Мне одеться, и я пойду.

Казаки ушли. В курене остались Лукинична и Наталья. Вялая, она переходила от сундука к кровати, невидящими глазами оглядывала взвороченный в сундуке ворох нарядов, мучительно что-то обдумывая, шепча губами. Лукинична подумала, что Наталья колеблется в выборе наряда, и с материнским великодушием предложила:

— Надевай, милая, мою синюю юбку. Она тебе теперича как раз будет.

К пасхе Наталье не шили обновы, и Лукинична, вспомнив, как дочь, еще в девках, любила по праздникам надевать ее синюю, узкую в подоле юбку, сама навязалась со

своим добром, думая, что Наталья загоревалась над выбором.

— Наденешь, что ль? Я достану.

— Нет. Я в этой пойду.— Наталья бережно вытащила свою зеленую юбку и вдруг вспомнила, что в этой юбке была она, когда Григорий женихом приезжал ее проведать, под прохладным навесом сарая в первый раз пристыдил ее летучим поцелуем, и затряслась в приступившем рыдании, грудью навалилась на поднятую ребром крышку сундука.

— Наталья! Ты чего?..— Мать всплеснула руками.

Наталья задушила просившийся наружу крик; осилив себя, засмеялась скрипучим деревянным смехом.

— Чтой-то нашло на меня... ноне.

— Ох, Наташка, примечаю я...

— И чего вы, маманя, примечаете? — с неожиданной злобой крикнула Наталья, комкая в пальцах зеленую юбку.

— Не сдобруешь ты, гляжу... замуж надо.

— Будя!.. Побыла!..

Наталья пошла в свою горницу одеваться, вскоре снова пришла на кухню уже одетая, тонкая по-девичьи, иссиня-бледная, в прозрачной синеве невеселого румянца.

— Иди одна, я ишо не управилась,— сказала мать.

Сунув за обшлаг рукава утирку, Наталья вышла на крыльцо. От Дона нес ветер шорох плывущего льда и пресный живительный запах талой сырости. Придерживая левой рукой подол юбки, обходя перламутровую синь раскинутых по улице лужиц, Наталья дошла до церкви. Дорогой пыталась она вернуть себе прежнее уравновешенное состояние духа, думала о празднике, обо всем отрывочно и туманно, но мысль упрямо возвращалась к синему клочку оберточной бумаги, спрятанной на груди, к Григорию и к той счастливой, которая теперь над ней снисходительно смеется и, быть может, даже жалеет...

Она вошла в ограду. Ей загородили дорогу парни. Обходя их, Наталья услышала:

— Чья это? Ты угадал?

— Да это Наташка Коршунова.

— У ней, гутарют, кила. От этого ее и муж бросил.

— Брешешь! Она с свекром, с Пантелеем хромым, спуталась.

— Вон что-о-о! Стал быть, Гришка через это и убег из дому?

— А то через чего ж? Она и зараз...

Наталья, спотыкаясь о неровную стилку камней, дошла до паперти. Вслед ей вполголоса кампем пустили грязное,

позорное слово. Под хихиканье стоявших на паперти девок Наталья прошла в другую калитку и, пьяно раскачиваясь, побежала домой. Перевела дух у ворот своего база, вошла, путаясь ногами в подоле, кусая распухшие, искусанные в кровь губы. В сиреневой кочующей над двором темноте чернела приоткрытая дверь сарая. В одно злое усилие собрала Наталья оставшийся комочек сил, добежала до дверей, торопясь шагнула через порог. В сарае — сухая прохлада, запах ременной упряжи и слежалой соломы. Наталья ощупью, без мысли, без чувства, в черной тоске, когтившей ее заполненную позором и отчаянием душу, добралась до угла. Взяла в руки держак косы, сняла с него косу (движения ее были медлительно-уверенны, точны) и, запрокинув голову, с силой и опалившей ее радостной решимостью резнула острием по горлу. От дикой горячей боли упала, как от удара, и, чувствуя, смутно понимая, что не доделала начатого,— встала на четвереньки, потом на колени; торопясь (ее пугала заливавшая грудь кровь), обрывая дрожащими пальцами кнопки, зачем-то расстегнула кофточку. Одной рукой отвела тугую неподатливую грудь, другой направила острие косы. На коленях доползла до стены, уперла в нее тупой конец, тот, который надевается на держак, и, заломив над запрокинутой головой руки, грудью твердо подалась вперед, вперед... Ясно слышала, ощущала противный капустный хруст разрезаемого тела; нарастающая волна острой боли полымем прошлась по груди до горла, звенящими иглами воткнулась в уши...

В курене скрипнула дверь. Лукинична, щупая ногой порожек, спускалась с крыльца. С колокольни размеренные сыпались удары. На Дону с немолчным скрежетом ходили на дыбах саженные крыги. Радостный, полноводный, освобожденный Дон нес к Азовскому морю ледяную свою неволю.

XIX

Степан подошел к Григорию и, ухватившись за стремя, плотно прижался к потному боку жеребца.

— Ну, здорово, Григорий!

— Слава богу.

— Что ж ты думаешь? А?

— Чего мне думать-то?

— Сманул чужую жену и... пользуешься?

— Пусти стремя.

— Ты не боись... Я бить не буду.

— Я не боюсь, ты брось это! — румянея в скулах, повысил Григорий голос.

— Нынче я драться с тобой не буду, не хочу... Но ты, Гришка, помни мое слово: рано аль поздно убью!

— Слепой сказал: «Посмотрим».

— Ты крепко попомни это. Обидел ты меня!.. Выхолостил мою жизню, как боровка... Видишь вон,— Степан протянул руки черными ладонями вверх,— пашу, а сам не знаю на что. Аль мне одному много надо? Я бы пòходя и так прозимовал. А только скука меня убивает... Крепко ты меня обидел, Григорий!

— Ты мне не жалься, не пойму. Сытый голодного не разумеет.

— Это-то так,— согласился Степан, снизу вверх глядя Григорию в лицо, и вдруг улыбнулся простой ребячьей улыбкой, расщепляя углы глаз на множество тонких морщинок.— Жалкую я об одном, парень... дюже жалкую.. Помнишь, в позапрошлом годе на маслену дрались мы в стенках?

— Это когда?

— Да в энтот раз, как постовала убили. Холостые с женатыми дрались, помнишь? Помнишь, как я за тобой гнал? Жидковат ты был, куга зеленая супротив меня. Я пожалел тебя, а ежели б вдарил на бегу — надвое пересек бы! Ты бег шибко, напружинился весь: ежели б вдарить с потягом по боку,— не жил бы ты на свете!

— Не горюй, ишо как-нибудь цокнемся.

Степан потер лоб рукой, что-то вспоминая.

Пан, ведя Крепыша в поводу, крикнул Григорию:

— Трогай!

Все так же держась рукой за стремя, Степан пошел рядом с жеребцом. Григорий сторожил каждое его движение. Он сверху видел русые обвисшие усы Степана, густую щетину давно не бритой бороды. На подбородке Степана висел лакированный, во многих местах потрескавшийся ремешок фуражки. Лицо его, серое от грязи, с косыми полосами — следами стекавшего пота,— было смутно и незнакомо. Глядя на него, Григорий словно с горы на далекую, задернутую дождевой марью степь глядел. Серая усталь, пустота испепеляли Степаново лицо. Он, не прощаясь, отстал. Григорий ехал шагом.

— Погоди-ка. А как же... Аксютка как?

Григорий, плетью сбивая с подошвы сапога приставший комочек грязи, ответил:

— Ничего.

Он, приостановив жеребца, оглянулся. Степан стоял, широко расставив ноги, перекусывая оскаленными зубами бурьянную былку. Григорию стало его безотчетно жаль, но чувство ревности оттеснило жалость; поворачиваясь на скрипящей подушке седла, крикнул:

— Она об тебе не сохнет, не горюй!

— На самом деле?

Григорий хлестнул жеребца плетью между ушей и поскакал, не отвечая.

XX

На шестом месяце, когда скрывать беременность было уже нельзя, Аксинья призналась Григорию. Она скрывала, боясь, что Григорий не поверит в то, что его ребенка носит она под сердцем, желтела от подступавшей временами тоски и боязни, чего-то выжидала.

И в первые месяцы ее тошнило от мясного, но Григорий не замечал, а если и замечал, то, не догадываясь о причине, не придавал особого значения.

Разговор происходил вечером. Волнуясь, Аксинья сказала и жадно искала в лице Григория перемены, но он, отвернувшись к окну, досадливо покашливал.

— Что ж ты молчала раньше?

— Я робела, Гриша... думала, что ты бросишь...

Барабаня пальцами по спинке кровати, Григорий спросил:

— Скоро?

— На спасы, думается...

— Степанов?

— Твой.

— Ой ли?

— Подсчитай сам... С порубки это...

— Ты не бреши, Ксюшка! Хучь бы и от Степана, куда ж теперь денешься? Я по совести спрашиваю.

Роняя злые слезы, Аксинья сидела на лавке, давилась горячим шепотом:

— С ним сколько годов жила — и ничего!.. Сам подумай!.. Я не хворая баба была... Стал быть, от тебя понесла, а ты...

Григорий об этом больше не заговаривал. В его отношения к Аксинье вплелась новая прядка настороженной отчужденности и легкой насмешливой жалости. Аксинья

замкнулась в себе, не напрашиваясь на ласку. Она подурнела за лето, но статной фигуры ее почти не портила беременность; общая полнота скрадывала округлившийся живот, а исхудавшее лицо по-новому красили тепло похорошевшие глаза. Она легко управлялась с работой черной кухарки. В этот год рабочих было меньше, меньше было и стряпни.

Капризной стариковской привязанностью присох к Аксинье дед Сашка. Может быть, потому, что относилась она к нему с дочерней заботливостью: перестирывала его бельишко, латала рубахи, баловала за столом куском помягче, послаже, и дед Сашка, управившись с лошадьми, приносил на кухню воды, мял картошку, варившуюся для свиней, услуживал всячески и, приплясывая, разводил руками, обнажая голые десны:

— Ты меня пожалела, а я в долгу не останусь! Я тебе, Аксиньюшка, хоть из души скляночку выну. Ить я без бабьего догляду пропадал! Вша источила! Ты, что понадобится, говори.

Григорий, избавившись от лагерного сбора по ходатайству Евгения Николаевича, работал на покосе, изредка возил старого пана в станицу, остальное время ходил с ним на охоту за стрепетами или ездил с нагоном на дудаков. Легкая, сытая жизнь его портила. Он обленился, растолстел, выглядел старше своих лет. Одно беспокоило его — предстоящая служба. Не было ни коня, ни справы, а на отца плоха была надежда. Получая за себя и Аксинью жалованье, Григорий скупился, отказывая себе даже в табаке, надеялся на сколоченные деньги, не кланяясь отцу, купить коня. Обещался и пан помочь. Предположения Григория, что отец ничего не даст, вскоре подтвердились. В конце июня приехал Петро проведать брата, в разговоре упомянул, что отец гневается на него по-прежнему и как-то заявил, что не будет справлять строевого коня: пусть, дескать, идет в местную команду.

— Ну, это он пущай не балуется. Пойду на службу на своем,— Григорий подчеркнул это слово,— коне.

— Откель возьмешь? Выпляшешь? — пожевывая ус, улыбнулся Петро.

— Не выпляшу, так выпрошу, а то и украду.

— Молодец!

— На жалованье куплю,— уже серьезно пояснил Григорий.

Петро посидел на крылечке, расспросил о работе, харчах, жалованье; на все придакивая, жевал обгрызен-

ный окомелок усины и, выведав, сказал Григорию на прощанье:

— Шел бы ты домой жить, хвост-то ломать нечего. Думаешь, угоняешься за длинным рублем?

— Я за ним не гоняюсь.

— Думаешь с своей жить? — свернул Петро разговор.

— С какой своей?

— С этой.

— Покеда думаю, а что?

— Так, с интересу попытал.

Григорий пошел его проводить. Спросил напоследок:

— Как там дома?

Петро, отвязывая от перил крыльца лошадь, усмехнулся:

— У тебя домов, как у зайца теремов. Ничего, живем помаленечку. Мать — она об тебе скучает. А сенов ноне наскребли, три прикладка свершили.

Волнуясь, Григорий разглядывал старую корноухую кобылицу, на которой приехал Петро.

— Не жеребилась?

— Нет, брат, яловая оказалась. Гнедая, энта, какую у Христони выменяли, ожеребилась.

— Что привела?

— Жеребца, брат. Там жеребец — цены нету! Высокий на ногах, бабки правильные и в грудях хорош. Добрячий конь будет.

Григорий вздохнул.

— Скучаю по хутору, Петро. По Дону соскучился, тут воды текучей не увидишь. Тошное место!

— Приезжай проведать,— кряхтел Петро, наваливаясь животом на острую хребтину лошади и занося правую ногу.

— Как-нибудь.

— Ну, прощай!

— Путь добрый!

Петро уже выехал со двора; вспомнив, закричал стоявшему на крыльце Григорию:

— Наталья-то... Забыл... беда какая...

Ветер, коршуном круживший над двором, не донес до Григория конца фразы; Петра с лошадью спеленала шелковая пыль, и Григорий, не расслышав, махнув рукой, пошел к конюшне.

Сухостойное было лето. Редко падали дожди, и хлеб вызрел рано. Только что управились с житом — подошел ячмень, желтел кулигами, ник чупрынистыми колосьями.

Четверо пришлых рабочих, нанявшихся поденно, и Григорий выехали косить.

Аксинья отстряпалась рано, упросила Григория взять ее с собой.

— Сидела бы дома, нужда, что ль, несет? — отговаривал Григорий, но Аксинья стояла на своем и, наскоро покрывшись, выбежала за ворота, догоняя повозку с рабочими.

То, чего ждала Аксинья с тоской и радостным нетерпением, то, чего смутно побаивался Григорий,— случилось на покосе. Аксинья гребла и, почувствовав некоторые признаки, бросила грабли, легла под копной. Схватки начались вскоре. Закусив почерневший язык, Аксинья лежала плашмя. Мимо нее, объезжая круг, покрикивали с косилки на лошадей рабочие. Один молодой, с подгнившим носом и частыми складками на желтом, как из дерева выструганном, лице, проезжая, кидал Аксинье:

— Эй, ты, аль припекло в неподходящее место? Вставай, а то растаешь?

Сменившись с косилки, Григорий подошел к ней:

— Ты чего?..

Аксинья, кривя непослушные губы, хрипло сказала:

— Схватывает.

— Говорил — не езди, чертова сволочь! Ну, что теперя делать?

— Не ру-гай-ся, Гриша... Ох!.. Ох!.. Гриша, запря-ги! Домой бы... Ну, как я тут? Тут ить казаки...— застонала Аксинья, перехваченная железным обручем боли.

Григорий побежал за пасшейся в логу лошадью. Пока запряг и подъехал — Аксинья отползла в сторону, стала на четвереньки, воткнув голову в ворох пыльного ячменя, выплевывая изжеванные от му́ки колючие колосья. Она распухшими чужими глазами непонимающе уставилась в подбежавшего Григория и, застонав, въелась зубами в скомканную завеску, чтобы рабочие не слышали ее безобразного животного крика.

Григорий уложил ее на повозку, погнал лошадь к имению.

— Ой, не гони!.. Ой, смерть!.. Тря-а-а-аско!..— кричала Аксинья огрубевшим голосом, катая по днищу повозки всклокоченную голову.

Молча порол Григорий лошадь кнутом, кружил над головой вожжи, не оглядываясь назад, откуда валом полз хриплый рвущийся вой.

Аксинья, стиснув ладонями щеки, дико поводя широко раскрытыми сумасшедшими глазами, подпрыгивала на повозке, метавшейся от края к краю по кочковатой, ненаезженной дороге. Лошадь шла наметом; перед глазами Григория плавно взметывалась дуга, прикрывая концом нависшее в небе ослепительно белое, граненое, как кристалл, облако. Аксинья на минуту оборвала сплошной, поднявшийся до визга вой. Тарахтели колеса, в задке повозки глухо колотилась о доски безвольная Аксиньина голова. Григорий не сразу воспринял наставшую тишину, опомнившись, глянул назад: Аксинья с искаженным, обезображенным лицом лежала, плотно прижав щеку к боковине повозки, зевая, как рыба, выброшенная на берег. Со лба ее в запавшие глазницы ручьями тек пот. Григорий приподнял ей голову, подложил свою смятую фуражку. Скосив глаза, Аксинья твердо сказала:

— Я, Гриша, помираю. Ну... вот и все!

Он дрогнул. Внезапный холодок дошел до пальцев на потных ногах. Григорий, потрясенный, искал слов бодрости, ласки и не нашел; с губ, сведенных черствой судорогой, сорвалось:

— Брешешь, дура!..— Мотнул головой и, нагибаясь, переламываясь надвое, сжал подвернувшуюся неловко Аксиньину ногу.— Аксютка, горлинка моя!..

Боль, на минуту отпустившая Аксинью, вернулась удесятеренно сильная. Чувствуя, как в опустившемся животе что-то рвется, Аксинья, выгибаясь дугой, пронизывала Григория невыразимо страшным нарастающим криком. Безумея, Григорий гнал лошадь.

За грохотом колес он едва услышал тягуче-тонкое:

— Гри-и-ша!

Он натянул вожжи, повернул голову: подплывшая кровью Аксинья лежала, раскидав руки; под юбкой ворохнулось живое, пискнувшее... Ошалевший Григорий соскочил на землю и путано, как стреноженный, шагнул к задку повозки. Вглядываясь в пыщущий жаром рот Аксиньи, скорее догадался, чем разобрал:

— Пу-по-вину пер-гры-зи... за-вя-жи ниткой... от руба-хи...

Григорий прыгающими пальцами выдернул из рукава своей бязевой рубахи пучок ниток, зажмурясь до боли в глазах, перегрыз пуповину и надежно завязал кровоточащий отросток нитками.

XXI

К просторному суходолу наростом прилипло имение Листницкого — Ягодное. Меняясь, дул ветер то с юга, то с севера; плыло в синеватой белизне неба солнце; наступая на подол лету, листопадом шуршала осень, зима наваливалась морозами, снегами, а Ягодное так же корежилось в одубелой скуке, и дни, отгородившие имение от остального мира, проходили, похожие, как близнецы.

По двору так же ковыляли черные утки-шептуны с красными очкастыми ободками вокруг глаз, бисерным дождем рассыпались цесарки, на крыше конюшни утробным кошачьим голосом мяукали крикливо оперенные павлины. Любил старый генерал всяческую птицу, даже подстреленного журавля держал, и в ноябре дергал тот струны человеческих сердец медноголосым тоскующим криком, заслышав невнятный призыв вольных в отлете журавлей. Но лететь не мог, мертво висело перебитое в сгибе крыло, а генерал, глядя из окошка, как журавль, нагнув голову, подпрыгивает, рвется от земли,— смеялся, разевая длинный, под седым навесом усов, рот, и басовитый смех плавал, колыхался в пустом белом зале.

Вениамин так же высоко носил плюшевую голову, дрожал студенистыми ляжками и целыми днями в передней на сундуке до одури играл в дурака сам с собою. Так же ревновал Тихон рябую свою любовницу к Сашке, рабочим, Григорию, к пану и даже к журавлю, которому уделяла Лукерья избыток переливавшейся через края вдовьей нежности. Дед Сашка время от времени напивался и шел под окна выпрашивать у пана двугривенные.

За все время случилось лишь два события, встряхнувших заплесневелую в сонной одури жизнь: Аксиньины роды да пропажа племенного гусака. К девочке, которую родила Аксинья, скоро привыкли, а от гусака нашли за левадой в ярке перья (видно, лиса пошкодила) — и успокоились.

Просыпаясь по утрам, пан звал Вениамина:

— Видел что-нибудь во сне?

— А как же, такой чудесный сон.

— Рассказывай,— коротко приказывал пан, скручивая папироску.

И Вениамин рассказывал. Если сон был неинтересный или страшный, пан сердился:

— Э, дурак, скотина! Дураку и сны дурацкие снятся.

Приловчился Вениамин выдумывать сны веселые и за-

нимательные. Одно тяготило его: надо было изобретать, вот за несколько дней начинал он придумывать веселые сны, сидя на сундуке и шлепая по коврику картами, пухлыми и сальными, как щеки игрока. Тупо влипал глазами в одну точку, измышлял и до того дошел, что в действительности совсем перестал сны видеть. Просыпался, тужился, припоминая, но позади была чернота — гладко, как стесано, и черно, не то что сна — лица ни одного не видел. Выдыхался Вениамин в нехитрых своих выдумках, а пан сердился, изловив рассказчика в повторах.

— Ты мне, пакость этакая, и в четверг этот сон про лошадь рассказывал. Что же ты, черт тебя побери?..

— Обратно видал, Николай Алексеевич! Истинный Христос, в другой раз вижу,— не теряясь, врал Вениамин.

В декабре Григория с сидельцем вызвали в Вешенскую, в станичное правление. Получил сто рублей на коня и извещение, что на второй день рождества выезжать в слободу Маньково на сборный участок.

Григорий вернулся из станицы растерянный: подходило рождество, а у него ничего не было готово. На деньги, выданные казной, и на свои сбережения купил на хуторе Обрывском коня за сто сорок рублей. Покупать ходил с дедом Сашкой, сторговали коня подходящего: шестилеток, масти гнедой, вислозадый; был у него один потаенный изъян. Дед Сашка, теребя бороду, сказал:

— Дешевше не найдешь, а начальство недоглядит. Хисту [1] у них не хватит.

Оттуда Григорий ехал на купленном коне верхом, пробовал шаг и рысь. А за неделю до рождества явился в Ягодное сам Пантелей Прокофьевич. Кобылу, запряженную в кошевки, не въезжая во двор, привязал к плетню, захромал к людской, обдирая сосульки с бороды, лежавшей на воротнике тулупа черным бруском. Григорий растерялся, увидев в окно отца.

— Вот так ну!.. Отец!..

Аксинья зачем-то кинулась к люльке, кутая ребенка.

Пантелей Прокофьевич влез в комнату, напустив холоду; снял треух и перекрестился на образ, обводя стены медлительным взглядом.

— Здоро́во живете!

— Здравствуй, батя,— вставая с лавки, отозвался на приветствие Григорий и, шагнув, стал посредине комнаты.

---

[1] Хист — ловкость, сноровка, уменье.

Пантелей Прокофьевич сунул Григорию мерзлую руку, сел на край лавки, запахивая полу тулупа, обходя взглядом Аксинью, пристывшую у люльки.

— Собираешься на службу?

— А то как же?

Пантелей Прокофьевич замолчал, оглядывая Григория испытующе и долго.

— Раздевайся, батя, назяб ить, небось?

— Ничего. Терпится.

— Самовар поставим.

— Спасибочка.— Соскабливая ногтем с тулупа давнишнее пятнышко грязи, сказал: — там привез тебе справу: два шинеля, седло, шаровары. Возьми... Все там.

Григорий без шапки вышел и взял с саней два мешка.

— Когда выступать? — полюбопытствовал Пантелей Прокофьевич, вставая.

— На второй день рождества. Что ж, батя, едешь?

— Поспешаю пораньше возвернуться.

Он простился с Григорием и, так же обходя взглядом Аксинью, пошел к двери. Уже держась за щеколду, стрельнул глазами в люльку, сказал:

— Мать поклон велела передать, хворает ногами.— И, помолчав, натужно, словно тяжелое поднимая: — Поеду, тебя провожу до Маньковой. Ты готовься.

Вышел, окуная руки в тепло вязаных рукавиц. Бледная от пережитого унижения Аксинья молчала. Григорий ходил, искоса поглядывая на нее, норовя наступать на одну скрипучую половицу.

На первый день рождества Григорий возил Листницкого в Вешенскую.

Пан отстоял обедню, позавтракал у своей двоюродной сестры, помещицы, велел запрягать.

Григорий, не успевший дохлебать миску жирных, со свининой, щей, встал, пошел в конюшню.

В легких городских санках ходил серый, в яблоках, орловский рысак Шибай. Повиснув на поводе, Григорий вывел его из конюшни, торопясь, запряг.

Ветер перевеивал хрушкий, колючий снег, по двору текла, шипя, серебристая поземка. За палисадником — на деревьях нежный бахромчатый иней. Ветер стряхивал его, и, падая, рассыпаясь, отливал он на солнце радужными, сказочно богатыми сочетаниями красок. На крыше дома, около задымленной трубы, из которой косо струился дым, зябкие чечекали галки. Они слетели, вспугнутые скрипом шагов, покружились над домом сизыми хлопьями и полете-

ли на запад, к церкви, четко синея на фиолетовом утреннем небе.

— Скажи, что подано! — крикнул Григорий выбежавшей на крыльцо дворовой девке.

Вышел пан, окуная усы в воротник енотовой шубы. Григорий укутал ему ноги, пристегнул волчью, обшитую бархатом полсть.

— Поогрей его.— Пан указал глазами на рысака.

Запрокидываясь с козел, удерживая в натянутых руках тугую дрожь вожжей, Григорий опасливо косился на раскаты, помнил, как по первопутку пан за неловкий толчок сунул ему в затылок крепкий не по-стариковски кулак. Спустились к мосту, и тут, по Дону, Григорий ослабил вожжи, растирая перчаткой охваченные ветровым огнем щеки.

До Ягодного долетели в два часа. Пан всю дорогу молчал, изредка стучал согнутым пальцем Григорию в спину: «Останови-и», и делал папироску, поворачиваясь к ветру спиной.

Уже спускаясь с горы в имение, спросил:

— Рано завтра?

Григорий повернулся боком, с трудом разодрал иззябшие губы.

— Рлано,— получилось у него вместо «рано». Затвердевший от холода язык будто распух; цепляясь за подковку зубов, выговаривал нетвердо.

— Деньги все получил?

— Так точно.

— За жену не беспокойся, будет жить. Служи исправно. Дед твой молодецкий был казак. Чтоб и ты,— голос пана зазвучал глуше (Листницкий спрятал от ветра лицо в воротник),— чтоб и ты держал себя достойно своего деда и отца. Ведь это отец получил на императорском смотру первый приз за джигитовку?

— Так точно: отец.

— Ну, то-то,— строго, будто грозя, закончил пан и совсем спрятал в шубу лицо.

Григорий с рук на руки передал рысака деду Сашке, пошел в людскую.

— Отец твой приехал! — крикнул тот ему вслед, накидывая на рысака попону.

Пантелей Прокофьевич сидел за столом, доедая студень. «Под хмельком»,— определил Григорий, окидывая взглядом размякшее отцово лицо.

— Приехал, служивый?

— Замерз весь,— хлопая руками, ответил Григорий и — к Аксинье: — Развяжи башлык, руки не владают.

— Тебе попало, ветер-то в пику,— двигая при еде ушами и бородой, мурчал отец.

На этот раз он был гораздо ласковее. Аксинье коротко, по-хозяйски, приказал:

— Отрежь ишо хлебца, не скупись.

Встав из-за стола и отправляясь к двери курить, будто невзначай раза два качнул люльку; просунув под положок бороду, осведомился:

— Казак?

— Девка,— за Григория отозвалась Аксинья и, уловив недовольство, проплывшее по лицу и застрявшее в бороде старика, торопясь, добавила: — Такая уж писаная, вся в Гришу.

Пантелей Прокофьевич деловито оглядел чернявую головку, торчавшую из вороха тряпья, и не без гордости удостоверил:

— Наших кровей... Эк-гм... Ишь ты!..

— Ты на чем приехал, батя? — спросил Григорий.

— В дышлах, на кобыленке да на Петровом.

— Ехал бы на одной, моего бы припрягли.

— Не к чему, пущай порожнем идет. А конь справный.

— Видал?

— Чудок поглядел.

Говорили о разных нестоящих вещах, волнуемые одним общим. Аксинья не вмешивалась в разговор, сидела на кровати, как в воду опущенная. Каменно набухшие груди распирали ей створки кофты. Она заметно потолстела после родов, обрела новую, уверенно-счастливую осанку.

Легли спать поздно. Прижимаясь к Григорию, Аксинья мочила ему рубаху рассолом слез и молоком, стекавшим из невысосанных грудей.

— Помру с тоски... Как я одна буду?

— Небось,— таким же шепотом отзывался Григорий.

— Ночи длинные... дитё не спит. Иссохну об тебе... Вздумай, Гриша,— четыре года!

— В старину двадцать пять лет служили, гутарют.

— На что мне старина...

— Ну, будя!

— Будь она проклята, служба твоя, разлучница!

— Приду в отпуск.

— В отпуск,— эхом стонала Аксинья, всхлипывая и сморкаясь в рубаху,— покеда придешь, в Дону воды много стекет...

— Не скули... Как дождь осенью, так и ты: одно да добро.

— Тебя б в мою шкуру!

Уснул Григорий перед светом. Аксинья покормила дитя и, облокотившись, не мигая, вглядывалась в мутно черневшие линии Григорьева лица, прощалась. Вспомнилась ей та ночь, когда она уговаривала его в своей горнице идти на Кубань; так же только месяц был да двор за окном белел, затопленный лунным половодьем.

Так же было, а Григорий сейчас и тот и не тот. Легла за плечи длинная, протоптанная днями стежка...

Григорий повернулся на бок, сказал внятно:

— На хуторе Ольшанском...— и смолк.

Аксинья пробовала уснуть, но мысли разметывали сон, как ветер копну сена. Она до света продумала об этой бессвязной фразе, подыскивая к ней отгадку... Пантелей Прокофьевич проснулся, лишь чуть запенился на обыневших окнах свет.

— Григорий, вставай, светает!

Аксинья, привстав на колени, надела юбку; вздыхая, долго искала спички.

Пока позавтракали и уложились — рассвело. Синими переливами играл утренний свет. Четко, как врезанный в снег, зубчатился плетень, и, прикрывая нежную сиреневую дымку неба, темнела крыша конюшни.

Пантелей Прокофьевич отправился запрягать. Григорий оторвал от себя исступленно целовавшую его Аксинью, пошел проститься с дедом Сашкой и остальными.

Закутав ребенка, Аксинья вышла провожать.

Григорий коснулся губами влажного лобика дочери, подошел к коню.

— Садись в сани! — крикнул отец, трогая лошадей.

— Не, верхом я.

Григорий с рассчитанной медленностью затягивал подпруги, садился на коня и разбирал поводья. Аксинья, касаясь пальцами его ноги, часто повторяла:

— Гриша, погоди... что-то хотела сказать...— И морщилась, вспоминая, растерянная, дрожащая.

— Ну, прощай! Дитё гляди... Поеду, а то батя вон где уж...

— Погоди, родимый!..— Аксинья левой рукой хватала холодное стремя, правой прижимая завернутого в полу ребенка, и глядела ненасытно, и не было свободной руки, чтобы утереть слезы, падавшие из широко открытых немигающих глаз.

На крыльцо вышел Вениамин.

— Григорий, пан зовет.

Григорий выругался, взмахнул плетью и поскакал со двора. Аксинья бежала за ним следом, застревая в сугробах, засыпавших двор, и неловко вскидывая обутыми в валенки ногами.

На гребне Григорий догнал отца. Крепясь, оглянулся. Аксинья стояла у ворот, прижимая к груди закутанного в полу ребенка, ветер трепал, кружил на плечах ее концы красного шалевого платка.

Григорий поравнялся с санями. Поехали шагом. Пантелей Прокофьевич повернулся спиной к лошади, спросил:

— Значится, не думаешь с женой жить?

— Давнишний сказ... отгутарили...

— Не думаешь, стал быть?

— Стал быть, так.

— Не слыхал, что она руки на себя накладывала?

— Слыхал.

— От кого?

— В станицу пана возил, хуторных припало повидать.

— А бог?

— Что ж, батя, на самом-то деле... что с возу упало, то пропало.

— Ты мне чертовую не расписывай! Я с тобой по добру гутарю,— озлобляясь, зачастил Пантелей Прокофьевич.

— У меня вон дитё; об чем гутарить? Теперича уж не прилепишься.

— Ты гляди... не чужого вскармываешь?

Григорий побледнел: тронул отец незарубцованную болячку. Все время после рождения ребенка Григорий мучительно вынашивал в себе, таясь перед Аксиньей, перед самим собой, подозрение. По ночам, когда спала Аксинья, он часто подходил к люльке, всматривался, выискивая в розово-смуглом лице ребенка свое, и отходил такой же неуверенный, как и раньше. Темно-русый, почти черный был и Степан,— как узнать, чью кровь гоняет сердце по голубеющей сетке жил, просвечивающей под кожей ребенка? Временами ему казалось, что дочь похожа на него, иногда до боли напоминала она Степана. К ней ничего не чувствовал Григорий, разве только неприязнь за те минуты, которые пережил, когда вез корчившуюся в родах Аксинью по степи. Раз как-то (Аксинья стряпала на кухне) вынул дочь из люльки и, сменяя мокрую пеленку, почувствовал острое, щиплющее волнение... Воровато на-

гнулся, пожал зубами красный оттопыренный палец на ноге.

Отец безжалостно кольнул в больное, и Григорий, сложив на луке ладони, глухо ответил:

— Чей бы ни был, а дитя не брошу.

Пантелей Прокофьевич, не поворачиваясь, махнул на лошадей кнутом.

— Наталья спортилась с того разу... Голову криво держит, будто параликом зашибленная. Жилу нужную перерезала, вот шею-то и кособочит.

Он помолчал. Скрипели полозья, кромсая снег; щелкал подковами, засекаясь, Григорьев конь.

— Что ж она, как? — спросил Григорий, с особенным вниманием выковыривая из конской гривы обопревший репей.

— Очунелась, никак. Семь месяцев лежала. На троицу вовзят доходила. Поп Панкратий соборовал... А посля отошла. С тем поднялась, поднялась и пошла. Косу-то пырнула под сердце, а рука дрогнула, мимо взяла, а то б концы...

— Трогай под горку.— Григорий махнул плетью и, опережая отца, брызгая в сани снежными, из-под копыт, ошлепками, зарысил, привстав на стременах.

— Наталью мы возьмем! — кричал, догоняя его, Пантелей Прокофьевич.— Не хочет баба у своих жить. Надысь видал ее, кликал, чтоб шла к нам.

Григорий не отвечал. До первого хутора ехали молча, и больше разговора об этом Пантелей Прокофьевич не заводил.

За день сделали верст семьдесят. На другие сутки (в домах уже зажгли огни) приехали в слободу Маньково.

— А в каком квартале вёшенские? — спросил Пантелей Прокофьевич у первого встречного.

— Держи по большой улице.

На квартире, в которую попали, стояло пять призывников с провожавшими их отцами.

— С каких хуторов? — осведомился Пантелей Прокофьевич, заводя лошадей под навес сарая.

— С Чиру,— густо ответили из темноты.

— А с хутора?

— С Каргина есть, с Наполова, с Лиховидова, а вы откель?

— С Кукуя,— засмеялся Григорий, расседлывая коня и щупая вспотевшую под седлом конскую спину.

Наутро станичный атаман Вешенской станицы Дударев

привел вешенцев на врачебную комиссию. Григорий увидел хуторных ребят-одногодков; Митька Коршунов на высоком светло-гнедом коне, подседланном новехоньким щегольским седлом, с богатым нагрудником и наборной уздечкой, еще утром проскакал к колодцу и, завидев Григория, стоявшего у ворот своей квартиры, проэкег мимо, не здороваясь, придерживая левой рукой надетую набекрень фуражку.

В холодной комнате волостного правления раздевались по очереди. Мимо сновали военные писаря и помощник пристава, в коротких лакированных сапожках частил мимо адъютант окружного атамана; перстень его с черным камнем и розовые припухшие белки красивых черных глаз сильнее оттеняли белизну кожи и аксельбантов. Из комнаты просачивались разговор врачей, отрывистые замечания.

— Шестьдесят девять.

— Павел Иванович, дайте чернильный карандаш,— близко, у двери, хрипел похмельный голос.

— Объем груди...

— Да, да, явно выраженная наследственность.

— Сифилис, запишите.

— Что ты рукой-то закрываешься? Не девка.

— Сложен-то как...

— ...хуторе рассадник этой болезни. Необходимы особые меры. Я уже рапортовал его превосходительству.

— Павел Иванович, посмотрите на сего субъекта. Сложен-то каково?

— Мда-а-а...

Григорий раздевался рядом с высоким рыжеватым парнем с хутора Чукаринского. Из дверей вышел писарь, морщиня на спине гимнастерку, четко сказал:

— Панфилов Севастьян, Мелехов Григорий.

— Скорей! — испуганно шепнул сосед Григория, краснея и выворачивая чулок.

Григорий вошел, неся на спине сыпкие мурашки. Его смуглое тело отливало цветом томленого дуба. Он конфузился, глядя на свои ноги, густо поросшие черным волосом. В углу на весах стоял голый угловатый парень. Кто-то, по виду фельдшер, передвинув мерку, крикнул:

— Четыре, десять. Слезай.

Унизительная процедура осмотра волновала Григория. Седой, в белом, доктор ослушал его трубкой, другой, помоложе, отдирал веки и смотрел на язык, третий — в роговых очках — вертелся позади, потирая руки с засученными по локоть рукавами.

— На весы.

Григорий ступил на рубчатую холодную платформу.

— Пять, шесть с половиной,— щелкнув металлической навеской, определил весовщик.

— Что за черт, не особенно высокий...— замурлыкал седой доктор, за руку поворачивая Григория кругом.

— Уди-ви-тельно! — заикаясь, поперхнулся другой, помоложе.

— Сколько? — изумленно спросил один из сидевших за столом.

— Пять пудов, шесть с половиной фунтов,— не опуская вздернутых бровей, ответил седой доктор.

— В гвардию? — спросил окружной военный пристав, наклоняясь черной прилизанной головой к соседу за столом.

— Рожа бандитская... Очень дик.

— Послушай, повернись! Что это у тебя на спине? — крикнул офицер с погонами полковника, нетерпеливо стуча пальцем по столу.

Седой доктор бормотал непонятное, а Григорий, поворачиваясь к столу спиной, ответил, с трудом удерживая дрожь, рябью покрывшую все тело:

— С весны простыл. Чирьяки это.

К концу обмера чины, посоветовавшись за столом, решили:

— В армию.

— В Двенадцатый полк, Мелехов. Слышишь?

Григория отпустили. Направляясь к двери, он услышал брезгливый шепот:

— Нель-зя-а-а. Вообразите, увидит государь такую рожу, что тогда? У него одни глаза...

— Перекрест! С Востока, наверное.

— Притом тело нечисто, чирьи...

Хуторные, ожидавшие очереди, окружили Григория.

— Ну как, Гришка?

— Куда?

— В Атаманский, небось?

— Сколько заважил на весах?

Чикиляя на одной ноге, Григорий просунул ногу в штанину, ответил сквозь зубы:

— Отвяжитесь, какого черта надо? Куда? В Двенадцатый полк.

— Коршунов Дмитрий, Каргин Иван.— Писарь высунул голову.

На ходу застегивая полушубок, Григорий сбежал с крыльца.

Ростепель дышала теплым ветром, парилась оголенная местами дорога. Через улицу пробегали клохчущие куры, в лужине, покрытой косой плывущей рябью, шлепали гуси. Лапы их розовели в воде, оранжево-красные, похожие на зажженные морозом осенние листья.

Через день начался осмотр лошадей. По площади засновали офицеры; развевая полами шинелей, прошли ветеринарный врач и фельдшер с кономером. Вдоль ограды длинно выстроились разномастные лошади. К поставленному среди площади столику, где писарь записывал результаты осмотра и обмера, оскользаясь пробежал от весов вешенский станичный атаман Дударев, прошел военный пристав, что-то объясняя молодому сотнику, сердито дрыгая ногами.

Григорий, по счету сто восьмой, подвел коня к весам. Обмерили все участки на конском теле, взвесили его, и не успел конь сойти с платформы,— ветеринарный врач снова, с привычной властностью, взял его за верхнюю губу, осмотрел рот; сильно надавливая, ощупал грудные мышцы и, как паук, перебирая цепкими пальцами, перекинулся к ногам.

Он сжимал коленные суставы, стукал по связкам сухожилий, жал кость над щетками...

Долго выслушивал и выщупывал насторожившегося коня и отошел, развевая полами белого халата, сея вокруг терпкий запах карболовой кислоты.

Коня забраковали. Не оправдалась надежда деда Сашки, и у дошлого врача хватило «хисту» найти тот потаенный изъян, о котором говорил дед Сашка.

Взволнованный Григорий посоветовался с отцом и через полчаса, между очередью, ввел на весы Петрова коня. Врач пропустил его, почти не осматривая.

Тут же неподалеку выбрал Григорий место посуше и, расстелив попону, выложил на нее свое снаряжение; Пантелей Прокофьевич держал позади коня, переговариваясь с другим стариком, тоже провожавшим сына.

Мимо них в бледно-серой шинели и серебристой каракулевой папахе прошел высокий седой генерал. Он слегка заносил вперед левую ногу, помахивая рукой, затянутой в белую перчатку.

— Вон окружной атаман,— шепнул Пантелей Прокофьевич, толкая сзади Григория.

— Генерал, видно?

— Генерал-майор Макеев. Строгий дуром!

Позади атамана толпой шли приехавшие из полков и батарей офицеры. Один подъесаул, широкий в плечах и бедрах, в артиллерийской форме, громко говорил товарищу, высокому красавцу-офицеру из лейб-гвардии Атаманского полка:

— ...Что за черт! Эстонская деревушка, народ преимущественно белесый, и таким резким контрастом эта девушка, да ведь не одна! Мы строим различные предположения и вот узнаем, что лет двадцать назад...— Офицеры шли мимо, удаляясь от места, где Григорий раскладывал на попоне свою казацкую справу, и он, за ветром, с трудом расслышал покрытые смехом офицеров последние слова артиллериста-подъесаула: — ...оказывается, стояла в этой деревушке сотня вашего Атаманского полка.

Писарь пробежал, застегивая дрожащими, измазанными в химических чернилах пальцами пуговицы сюртука, вслед ему помощник окружного пристава, распалясь, кричал:

— В трех экземплярах, сказано тебе! Закатаю!

Григорий с любопытством всматривался в незнакомые лица офицеров и чиновников. На нем остановил скучающие влажные глаза шагавший мимо адъютант и отвернулся, повстречавшись с внимательным взглядом; догоняя его, почти рысью, шел старый сотник, чем-то взволнованный, кусающий желтыми зубами верхнюю губу. Григорий заметил, как над рыжей бровью сотника трепетал, трогая веко, живчик.

Под ногами Григория лежала ненадеванная попона, на ней порядком разложены седло с окованным, крашенным в зеленое ленчиком, с саквами и задними сумами, две шинели, двое шаровар, мундир, две пары сапог, белье, фунт и пятьдесят четыре золотника сухарей, банка консервов, крупа и прочая, в полагаемом для всадника количестве, снедь.

В раскрытых сумах виднелся круг — на четыре ноги — подков, ухнали, завернутые в промасленную тряпку, шитвянка с двумя иголками и нитками, полотенце.

В последний раз оглядел Григорий свои пожитки, присел на корточки и вытер рукавом измазанные края вьючных пряжек. От конца площади медленно тянулась вдоль ряда выстроившихся около попон казаков комиссия. Офицеры и атаман внимательно рассматривали казачье снаряжение, приседали, подбирая полы светлых шинелей,

рылись в сумках, разглядывали шитвянки, на руку прикидывали вес сумок с сухарями.

— Гля, ребята, вон энтон длинный,— говорил парень, стоявший рядом с Григорием, указывая пальцем на окружного военного пристава,— копает, как кобель хориную норю́.

— Ишь, ишь, чертило!.. Суму выворачивает!

— Должно, непорядок, а то б не стал требушить.

— Чтой-то он, никак, ухнали считает?..

— Во кобель!

Разговоры постепенно смолкли, комиссия подходила ближе, до Григория оставалось несколько человек. Окружной атаман в левой руке нес перчатку, правой помахивал, не сгибая ее в локте. Григорий подтянулся, позади покашливал отец. Ветер нес по площади запах конской мочи и подтаявшего снега. Невеселое, как с похмелья, посматривало солнце.

Группа офицеров задержалась около казака, стоявшего рядом с Григорием, и по одному перешли к нему.

— Фамилия, имя?

— Мелехов Григорий.

Пристав за хлястик приподнял шинель, понюхал подкладку, бегло пересчитал застежки; другой офицер, с погонами хорунжего, мял в пальцах добротное сукно шаровар; третий, нагибаясь так, что ветер на спину ему запрокидывал полы шинели, шарил по сумам. Пристав мизинцем и большим пальцем осторожно, точно к горячему, прикоснулся к тряпке с ухналями, шлепая губами, считал.

— Почему двадцать три ухналя? Это что такое? — он сердито дернул угол тряпки.

— Никак нет, ваше высокоблагородие, двадцать четыре.

— Что я, слепой?

Григорий суетливо отвернул заломившийся угол, прикрывший двадцать четвертый ухналь, пальцы его, шероховатые и черные, слегка прикоснулись к белым, сахарным пальцам пристава. Тот дернул руку, словно накололся, потер ее о боковину серой шинели; брезгливо морщась, надел перчатку.

Григорий заметил это; выпрямившись, зло улыбнулся. Взгляды их столкнулись, и пристав, краснея верхушками щек, поднял голос:

— Кэк смэтришь! Кэк смэтришь, казак? — Щека его, с присохшим у скулы бритвенным порезом, зарумянела сверху донизу.— Почему вьючные пряжки не в порядке?

Это еще что такое? Казак ты или мужицкий лапоть?.. Где отец?

Пантелей Прокофьевич дернул коня за повод, сделал шаг вперед, щелкнув хромой ногой.

— Службу не знаешь?..— насыпался на него пристав, злой с утра по случаю проигрыша в преферанс.

Подошел окружной атаман, и пристав стих. Окружной ткнул носком сапога в подушку седла,— икнув, перешел к следующему. Эшелонный офицер того полка, в который попал Григорий, вежливенько перерыл все — до содержимого шитвянки, и отошел последним, пятясь, закуривая на ветру.

Через день поезд, вышедший со станции Чертково, пер состав красных вагонов, груженных казаками, лошадьми и фуражом, на Лиски—Воронеж.

В одном из них, привалившись к дощатой кормушке, стоял Григорий. Мимо раздвинутых дверок вагона скользила чужая равнинная земля, вдали каруселила голубая и нежная прядка леса.

Лошади хрустели сеном, переступали, чуя зыбкую опору под ногами.

Пахло в вагоне степной полынью, конским потом, вешней ростепелью, и, далекая, маячила на горизонте прядка леса, голубая, задумчивая и недоступная, как вечерняя неяркая звезда.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

В марте 1914 года в ростепельный веселый день пришла Наталья к свекру. Пантелей Прокофьевич заплетал пушистым сизым хворостом разломанный бугаем плетень. С крыши капало, серебрились сосульки, дегтярными полосками чернели на карнизе следы стекавшей когда-то воды.

Ласковым телком притулялось к оттаявшему бугру рыжее потеплевшее солнце, и земля набухала, на меловых мысах, залысинами стекавших с обдонского бугра, малахитом зеленела ранняя трава.

Наталья, изменившаяся и худая, подошла сзади к свекру, наклонила изуродованную, покривленную шею.

— Здорово живете, батя.

— Натальюшка! Здорово, милая, здорово! — засуетился Пантелей Прокофьевич. Хворостина, выпавшая из рук его, свилась и выпрямилась.— Ты чего ж это глаз не кажешь? Ну, пойдем в курень, погоди, мать-то тебе возрадуется.

— Я, батя, пришла...— Наталья неопределенно повела рукой и отвернулась.— Коль не прогоните, останусь навовсе у вас...

— Что ты, что ты, любушка! Аль ты нам чужая? Григорий вон прописал в письме... Он, девка, об тебе наказывал справиться.

Пошли в курень. Пантелей Прокофьевич хромал суетливо и обрадованно.

Ильинична, обнимая Наталью, уронила частую цепку слез, шепнула, сморкаясь в завеску:

— Дитя б надоть тебе... Оно б его присушило. Ну, садись. Сем-ка я блинчиков достану?

— Спаси Христос, маманя. Я вот... пришла...

Дуняшка, вся в зареве румянца, вскочила с надворья в кухню и с разбегу обхватила Натальины колени.

— Бесстыжая! Забыла про нас!..

— Сбесилась, кобыла! — крикнул притворно-строго на нее отец.

— Большая-то ты какая...— роняла Наталья, разжимая Дуняшкины руки и заглядывая ей в лицо.

Заговорили разом все, перебивая друг друга и замолкая. Ильинична, подпирая щеку ладонью, горюнилась, с болью вглядываясь в непохожую на прежнюю Наталью.

— Совсем к нам? — допытывалась Дуняшка, тереби Натальины руки.

— Кто его знает...

— Чего ж там, родная жена да гдей-то будет жить! Оставайся! — решила Ильинична и угощала сноху, двигая по столу глиняную чашку, набитую блинцами.

Пришла Наталья к свекрам после долгих колебаний. Отец ее не пускал, покрикивал и стыдил, разубеждая, но ей неловко было после выздоровления глядеть на своих и чувствовать себя в родной когда-то семье почти чужой. Попытка на самоубийство отдалила ее от родных. Пантелей Прокофьевич сманивал ее все время после того, как проводил Григория на службу. Он твердо решил взять ее в дом и примирить с Григорием.

С того дня Наталья осталась у Мелеховых. Дарья внешне ничем не проявляла своего недовольства; Петро был приветлив и родствен, а косые редкие взгляды Дарьи искупались горячей Дуняшкиной привязанностью к Наталье и отечески-любовным отношением стариков.

На другой же день, как только Наталья перебралась к свекрам, Пантелей Прокофьевич под свой указ заставил Дуняшку писать Григорию письмо.

«Здравствуй, дорогой сын наш, Григорий Пантелеевич! Шлем мы тебе нижайший поклон и от всего родительского сердца, с матерью твоей Василисой Ильинишной, родительское благословение. Кланяется тебе брат Петр Пантелеевич с супругой Дарьей Матвеевной и желает тебе здравия и благополучия; ишо кланяется тебе сестра Евдокея и все домашние. Письмо твое, пущенное от февраля пятого числа, мы получили и сердечно благодарим за него.

А если, ты прописал, конь засекается, то заливай ему свиным нутряным салом, ты знаешь, и на задок не подковывай, коли нету склизости, или, сказать, гололедицы. Жена твоя Наталья Мироновна проживает у нас и находится в здравии и благополучии.

Сушеной вишни мать тебе посылает и пару шерстяных чулок, а ишо сала и разного гостинцу. Мы все живы и здоровы, а дите у Дарьи померло, о чем сообщаем. Надысь крыли с Петром сараи, и он тебе велит коня блюсть и сохранять. Коровы потелились; старая кобыла починает, отбила вымя, и видно как жеребенок у ней в пузе стукает. Покрыл ее с станишной конюшни жеребец по кличке «Донец», и на пятой неделе поста ждем. Мы рады об твоей службе и что начальство одобряет тебя. Ты служи, как и полагается. За царем служба не пропадет. А Наталья теперича будет у нас проживать, и ты об этом подумай. А ишо беда: на масленую зарезал зверь трех овец. Ну, бывай здоров и богом хранимый. Про жену не забывай, мой тебе приказ. Она ласковая баба и в законе с тобой. Ты борозду не ломай и отца слухай.

Твой родитель, старший урядник
Пантелей Мелехов».

Полк Григория стоял в четырех верстах от русско-австрийской границы, в местечке Радзивиллово. Григорий писал домой изредка. На сообщение о том, что Наталья пришла к отцу, ответил сдержанно, просил передать ей поклон; содержание писем его было уклончиво и мутно. Пантелей Прокофьевич заставлял Дуняшку или Петра перечитывать их по нескольку раз, вдумываясь в затаенную меж строк неведомую Григорьеву мысль. Перед пасхой он в письме прямо поставил вопрос о том, будет ли Григорий по возвращении со службы жить с женой или попрежнему с Аксиньей.

Григорий ответ задержал. После троицы получили от него короткое письмо. Дуняшка читала быстро, глотая концы слов, и Пантелей Прокофьевич с трудом поспевал улавливать смысл, откидывая бесчисленные поклоны и расспросы. В конце письма Григорий касался вопроса о Наталье:

«... Вы просили, чтоб я прописал, буду я аль нет жить с Натальей, но я вам, батя, скажу, что отрезанную краюху не прилепишь. И чем я Наталью теперь примолвлю, как у меня, сами знаете, дите? А сулить я ничего не могу, и мне об этом муторно гутарить. Нады поймали на границе одного с контрабандой, и нам довелось его повидать, объясняет, что вскорости будет с австрийцами война и царь ихний будто приезжал к границе, осматривал, откель зачинать войну и какие земли себе захапать. Как зачнется война, может, и я живой не буду, загодя нечего решать».

* * *

Наталья работала у свекра и жила, взращивая бессознательную надежду на возвращение мужа, опираясь на нее надломленным духом. Она ничего не писала Григорию, но не было в семье человека, кто бы с такой тоской и болью ожидал от него письма.

Обычным, нерушимым порядком шла в хуторе жизнь: возвратились отслужившие сроки казаки, по будням серенькая работа неприметно сжирала время, по воскресеньям с утра валили в церковь семейными табунами; шли казаки в мундирах и праздничных шароварах; длинными шуршащими подолами разноцветных юбок мели пыль бабы, туго затянутые в расписные кофточки с буфами на морщиненных рукавах.

А на квадрате площади дыбились задранные оглобли повозок, визжали лошади, сновал разный народ; около пожарного сарая болгары-огородники торговали овощной снедью, разложенной на длинных ряднах, позади них кучились оравами ребятишки, глазея на распряженных верблюдов, надменно оглядывавших базарную площадь, и толпы народа, перекипавшие краснооколыми фуражками и цветастой россыпью бабьих платков. Верблюды пенно перетирали бурьянную жвачку, отдыхая от постоянной работы на чигире, и в зеленоватой сонной полуде застывали их глаза.

По вечерам в топотном звоне стонали улицы, игрища всплескивались в песнях, в пляске под гармошку, и лишь поздней ночью догорали в теплой сухмени последние на окраинах песни.

Наталья на игрища не ходила, с радостью выслушивала бесхитростные Дуняшкины рассказы. Невидя выровнялась Дуняшка в статную и по-своему красивую девку. Рано вызрела, как яблоко-скороспелка. В этом году, отрешая от ушедшего отрочества, приняли ее старшие подруги в девичий свой круг. Вышла Дуняшка в отца: приземистая собой, смуглая.

Пятнадцатая весна минула, не округлив тонкой угловатой ее фигуры. Была в ней смесь, жалкая и наивная, детства и расцветающей юности: крепли и заметно выпирали под кофтенкой небольшие, с кулак, груди, раздавалась в плечах; а в длинных, чуть косых разрезах глаз все те же застенчивые и озорные искрились черные, в синеве белков миндалины. Приходя с игрищ, она Наталье одной рассказывала немудрые свои секреты.

— Наташа, светочка, что-то хочу рассказать...

— Ну, расскажи.

— Мишка Кошевой вчерась целый вечер со мной просидел на дубах возля гамазинов.

— Чего же ты скраснелась?

— И ничуть!

— Глянь в зеркало — чисто полымя.

— Ну, погоди! Ты ж пристыдила...

— Рассказывай, я не буду.

Дуняшка смуглыми ладонями растирала полыхавшие щеки, прижимая пальцы к вискам, вызванивала молодым беспричинным смехом:

— «Ты, гутарит, как цветок лазоревый!..»

— Ну-ну? — подбадривала Наталья, радуясь чужой радости и забывая о своей растоптанной и минувшей.

— А я ему: «Не бреши, Мишка!» А он божится.— Дуняшка бубенцами рассыпала смех по горнице, мотала головой, и черные, туго заплетенные косички ящерицами скользили по плечам ее и по спине.

— Чего ж он ишо плел?

— Утирку, мол, дай на память.

— Дала?

— Нет, говорю, не дам. Поди у своей крали попроси. Он ить с Ерофеевой снохой... Она жалмерка, гуляет.

— Ты подальше от него.

— Я и так далеко.— Дуняшка, осиливая пробивающуюся улыбку, рассказывала: — С игрищ идем домой, трое нас, девок, и догоняет нас пьяный дед Михей. «Поцелуйте, шумит, хороши мои, по семаку [1] отвалю». Как кинется на нас, а Нюрка его хворостиной через лоб. Насилу убегли!

Сухое тлело лето. Против хутора мелел Дон, и там, где раньше быстрилось шальное стремя, образовался брод, на тот берег переходили быки, не замочив спины. Ночами в хутор сползала с гребня густая текучая духота, ветер насыщал воздух пряным запахом прижженных трав. На отводе горели сухостойные бурьяны, и сладкая марь невидимым пологом висела над Обдоньем. Ночами густели за Доном тучи, лопались сухо и раскатисто громовые удары, но не падал на землю, пышущую горячечным жаром, дождь, вхолостую палила молния, ломая небо на остроугольные голубые краюхи.

По ночам на колокольне ревел сыч. Зыбкие и страшные висели над хутором крики, а сыч с колокольни перелетал на

---

[1] Семак — две копейки.

кладбище, ископыченное телятами, стонал над бурыми затравевшими могилами.

— Худому быть,— пророчили старики, заслышав с кладбища сычиные выголоски.

— Война пристигнет.

— Перед турецкой кампанией накликал так вот.

— Может, опять холера?

— Добра не жди, с церкви к мертвецам слетает.

— Ох, милостивец, Микола-угодник...

Шумилин Мартин, брат безрукого Алексея, две ночи караулил проклятую птицу под кладбищенской оградой, но сыч — невидимый и таинственный — бесшумно пролетал над ним, садился на крест в другом конце кладбища, сея над сонным хутором тревожные клики. Мартин непристойно ругался, стрелял в черное обвислое пузо проплывающей тучи и уходил. Жил он тут же под боком. Жена его, пугливая хворая баба, плодовитая, как крольчиха,— рожавшая каждый год,— встречала мужа упреками:

— Дурак, истованный дурак! Чего он тебе, вражина, мешает, что ли? А как бог накажет? Хожу вот на последях, а ну как не разрожусь через тебя, чертяку?

— Цыц, ты! Небось, разродишься! Расходилась, как бондарский конь. А чего он тут, проклятый, в тоску вгоняет? Беду, дьявол, кличет. Случись война — заберут, а ты их вон сколько нащенила.— Мартин махал в угол, где на полсти плелись мышиные писки и храп спавших вповалку детей.

Мелехов Пантелей, беседуя на майдане со стариками, веско доказывал:

— Пишет Григорий наш, что астрицкий царь наезжал на границу и отдал приказ, чтоб всю свою войску согнать в одну месту и идтить на Москву и Петербург.

Старики вспоминали минувшие войны, делились предположениями:

— Не бывать войне, по урожаю видать.

— Урожай тут ни при чем.

— Студенты мутят, небось.

— Мы об этом последние узнаем.

— Как в японскую войну.

— А коня сыну-то справил?

— Чего там загодя...

— Брехни это!

— А с кем война-то?

— С турками из-за моря. Морю никак не разделют.

— И чего там мудреного? Разбили на улеши, вот как мы траву, и дели!

Разговор замазывался шуткой, и старики расходились.

Караулил людей луговой скоротечный покос, доцветало за Доном разнотравье, невровень степному, квёлое и недуховитое. Одна земля, а соки разные высасывает трава; за бугром в степи клеклый чернозем, что хрящ: табун промечется — копытного следа не увидишь; тверда земля, и растет по ней трава сильная, духовитая, лошади по пузо; а возле Дона и за Доном мочливая, рыхлая почва гонит травы безрадостные и никудышные, брезгает ими и скотина в иной год.

Отбивали косы по хутору, выстругивали грабельники, бабы квасы томили косарям на утеху, а тут приспел случай, колыхнувший хутор от края до другого: приехал становой пристав со следователем и с чернозубым мозглявеньким офицером в форме, досель не виданной; вытребовали атамана, согнали понятых и прямиком направились к Лукешке-косой.

Следователь нес в руке парусиновую фуражку с форменным значком. Шли вдоль плетня левой стороной улицы, на стежке лежали солнечные пятна, и следователь, наступая на них запыленными ботинками, расспрашивал атамана, по-петушиному забегавшего вперед:

— Приезжий Штокман дома?

— Так точно, ваше благородие.

— Чем он занимается?

— Известно, мастеровщина... стругает себе.

— Ничего не замечал за ним?

— Никак нет.

Пристав на ходу давил пальцами угнездившийся меж бровей прыщ: отдувался, испревая в суконном мундире. Чернозубый офицерик ковырял в зубах соломинкой, морщил обмяклые в красноте складки у глаз.

— Кто у него бывает? — допытывался следователь, отводя рукой забегавшего наперед атамана.

— Бывают, так точно. Иной раз в карты поигрывают.

— Кто же?

— С мельницы больше, рабочие.

— А кто именно?

— Машинист, весовщик, вальцовщик Давыдка и кое-кто из наших казаков учащивает.

Следователь остановился, поджидая отставшего офицера, фуражкой вытер пот на переносице. Он что-то сказал офицеру, вертя в пальцах пуговицу его мундира, и помахал

атаману пальцем. Тот подбежал на носках, удерживая дыхание. На шее его вздулись и дрожали перепутанные жилы.

— Возьми двух сидельцев и пойди их арестуй. Гони в правление, а мы сейчас придем. Понятно?

Атаман вытянулся, свисая верхней частью туловища так, что на стоячий воротник мундира синим шнуром легла самая крупная жила, и, мыкнув, зашагал обратно.

Штокман в исподней рубахе, расстегнутой у ворота, сидел спиной к двери, выпиливая ручной пилкой на фанере кривой узор.

— Потрудитесь встать. Вы арестованы.

— В чем дело?

— Вы две комнаты занимаете?

— Да.

— Мы у вас произведем обыск.—Офицер, зацепившись шпорой о коврик у порога, прошел к столику и, щурясь, взял первую попавшуюся книгу.

— Позвольте ключи от этого сундука.

— Чему я обязан, господин следователь?..

— Мы успеем с вами поговорить. Понятой, ну-ка!

Из второй комнаты выглянула жена Штокмана, оставив дверь неприкрытой. Следователь, за ним писарь прошли туда.

— Это что такое? — тихо спросил офицер, держа на отлете книгу в желтом переплете.

— Книга.— Штокман пожал плечами.

— Остроты прибереги для более подходящего случая. Я тебя попрошу отвечать на вопросы иным порядком!

Штокман прислонился к печке, давя кривую улыбку. Пристав заглянул офицеру через плечо и перевел глаза на Штокмана.

— Изучаете?

— Интересуюсь,— сухо ответил Штокман, маленькой расческой разделив черную бороду на две равные половины.

— Та-а-ак-с.

Офицер перелистал страницы и бросил книгу на стол; бегло проглядел вторую; отложив ее в сторону и прочитав обложку третьей, повернулся к Штокману лицом.

— Где у тебя еще хранится подобная литература?

Штокман прищурил левый глаз, словно целясь.

— Все, что имеется, тут.

— Врешь! — четко кинул офицер, помахивая книгой.

— Я требую...

— Ищите!

Пристав, придерживая рукой шашку, подошел к сундуку, где рылся в белье и одежде рябоватый, как видно напуганный происходящим, казак-сиделец.

— Я требую вежливого обращения,— договорил Штокман, целясь прищуренным глазом офицеру в переносицу.

— Помолчите, любезный.

В половине, которую занимал Штокман с женой, перекопали все, что можно было перекопать. Обыск произвели и в мастерской. Усердствовавший пристав даже стены остукал согнутым пальцем.

Штокмана повели в правление. Шел он впереди сидельца, посредине улицы, заложив руку за борт старенького пиджака; другой помахивал, словно отряхивая прилипшую к пальцам грязь; остальные шли вдоль плетней по стежке, испещренной солнечными крапинами. Следователь также наступал на них ботинками, обзелененными лебедой, только фуражку не в руке нес, а надежно нахлобучил на бледные хрящи ушей.

Допрашивали Штокмана последним. В передней жались охраняемые сидельцем уже допрошенные: Иван Алексеевич, не успевший вымыть измазанных мазутом рук, неловко улыбающийся Давыдка, Валет в накинутом на плечи пиджаке и Кошевой Михаил.

Следователь, роясь в розовой папке, спросил у Штокмана, стоявшего по ту сторону стола:

— Почему вы скрыли, когда я вас допрашивал по поводу убийства на мельнице, что вы член РСДРП?

Штокман молча смотрел выше следовательской головы.

— Это установлено. Вы за свою работу понесете должное,— взвинченный молчанием, кидал следователь.

— Прошу вас начинать допрос,— скучающе уронил Штокман и, косясь на свободный табурет, попросил разрешения сесть.

Следователь промолчал; шелестя бумагой, глянул исподлобья на спокойно усаживавшегося Штокмана.

— Когда вы сюда прибыли?

— В прошлом году.

— По заданию своей организации?

— Без всяких заданий.

— С какого времени вы состоите членом вашей партии?

— О чем речь?

— Я спрашиваю,— следователь подчеркнул «я»,— с какого времени вы состоите членом РСДРП?

— Я думаю, что...

— Мне абсолютно неинтересно знать, что вы думаете.

Отвечайте на вопрос. Запирательство бесполезно, даже вредно.— Следователь отделил одну бумажку и придавил ее к столу указательным пальцем.— Вот справка из Ростова, подтверждающая вашу принадлежность к означенной партии.

Штокман узко сведенными глазами скользнул по беленькому клочку бумаги, на минуту задержал на нем взгляд и, поглаживая руками колено, твердо ответил:

— С тысяча девятьсот седьмого года.

— Так. Вы отрицаете то, что вы посланы сюда вашей партией?

— Да.

— В таком случае, зачем вы сюда приехали?

— Здесь ощущалась нужда в слесарной работе.

— Почему вы избрали именно этот район?

— По этой же причине.

— Имеете ли вы, или имели за это время связь с вашей организацией?

— Нет.

— Знают они, что вы поехали сюда?

— Наверное.

Следователь чинил перламутровым перочинным ножичком карандаш, топыря губы; не смотрел на Штокмана.

— Имеете ли вы с кем из своих переписку?

— Нет.

— А то письмо, которое было обнаружено при обыске?

— Это письмо товарища, не имеющего, пожалуй, никакого отношения ни к какой революционной организации.

— Получали ли вы какие-либо директивы из Ростова?

— Нет.

— С какой целью собирались у вас рабочие мельницы?

Штокман передернул плечами, словно удивляясь нелепости вопроса.

— Просто собирались зимними вечерами... Просто время коротали. Играли в карты...

— Читали запрещенные законом книги,— подсказал следователь.

— Нет. Все они малограмотные.

— Однако машинист мельницы и все остальные этого факта не отрицают.

— Это неправда.

— Мне кажется, вы просто не имеете элементарного понятия...— Штокман в этом месте улыбнулся, и следователь, роняя разговорную нить, докончил со сдержанной злобой: — Просто не имеете здравого рассудка! Вы запира-

етесь в ущерб самому себе. Вполне понятно, что вы посланы сюда вашей партией, чтобы вести разлагающую работу среди казаков, чтобы вырвать их из рук правительства. Я не понимаю: к чему тут игра втемную? Все равно это не может умалить вашей вины...

— Это ваши догадки. Разрешите закурить? Благодарю вас. Это догадки, притом ни на чем не основанные.

— Позвольте, читали вы рабочим, посещавшим вас, вот эту книжонку? — Следователь положил ладонь на небольшую книгу, прикрывая заглавие. Вверху черная на белом углилась надпись: «Плеханов».

— Мы читали стихи,— вздохнул Штокман и затянулся папироской, накрепко сжимая промеж пальцев костяной с колечками мундштук...

На другой день, хилым и пасмурным утром, выехал из хутора запряженный парой почтовый тарантас. В задке, кутая бороду в засаленный куцый воротник пальто, сидел, подремывая, Штокман. По бокам его жались вооруженные шашками сидельцы. Один из них, рябой и курчавый, крепко сжимал локоть Штокмана узловатыми грязными пальцами, косясь на него испуганными белесыми глазами, левой рукой придерживая облезлые ножны шашки.

Тарантас бойко пылил по улице. За двором Мелехова Пантелея, прислонясь к гуменному плетню, ждала их укутанная в платок маленькая женщина.

Тарантас проплыл мимо, и женщина, сжимая на груди руки, кинулась следом.

— Ося!.. Осип Давыдыч! Ох, как же?!

Штокман хотел помахать ей рукой, но рябой сиделец, подпрыгнув, склещил на его руке грязные пальцы, дичалым хриплым голосом крикнул:

— Сиди! Зарублю!..

В первый раз за свою простую жизнь видел он человека, который против самого царя шел.

II

Где-то позади, в сером слизистом тумане осталась длинная дорога от Маньково-Калитвенской слободы до местечка Радзивиллово. Пытался Григорий вспомнить оставшийся позади путь, но ничего связного не выходило; красные станционные постройки, татакающие под шатким полом колеса вагонов, запах конских испражнений и сена, бесконечные нити рельсов, стекавшие из-под паровоза, дым, ми-

моходом заглядывавший в дверки вагонов, усатая рожа жандарма на перроне не то в Воронеже, не то в Киеве...

На полустанке, где сгружались, толпились офицеры и какие-то в серых свитках бритые люди, разговаривавшие на чужом, непонятном языке. Лошадей долго выводили из вагонов по подмостям, помощник эшелонного скомандовал седловку, повел триста с лишним казаков к ветеринарному лазарету. Длинная процедура с осмотром лошадей. Разбивка по сотням. Снующие вахмистры и урядники. В первую сотню отбирали светло-гнедых лошадей; во вторую — серых и буланых; в третью — темно-гнедых: Григория отбили в четвертую, где подбирались лошади золотистой масти и просто гнедой; в пятую — светло-рыжей и в шестую — вороной. Вахмистры разбили казаков повзводно и повели к сотням, разбросанным по имениям и местечкам.

Бравый лупоглазый вахмистр Каргин с нашивками за сверхсрочную службу, проезжая мимо Григория, спросил:

— Какой станицы?

— Вёшенской.

— Куцый? [1]

Григорий, под сдержанный смешок казаков-иностаничников, молча проглотил оскорбление.

Дорога вывела на шоссе. Донские кони, в первый раз увидевшие шоссейную дорогу, ступили на нее, постригивая ушами и храпя, как на речку, затянутую льдом, потом освоились и пошли, сухо выщелкивая свежими, непотертыми подковами. Искромсанная лезвиями чахлых лесков, лежала чужая, польская, земля. Парился хмурый теплый день, и солнце, тоже как будто не донское, бродило где-то за кисейною занавесью сплошных туч.

Имение Радзивиллово находилось в четырех верстах от полустанка. Казаков на полпути обогнал шибко прорысивший эшелонный с ординарцем. До имения доехали в полчаса.

— Это что за хутор? — спросил у вахмистра казачок Митякинской станицы, указывая на купу оголенных макушек сада.

— Хутор? Ты про хутора забывай, стригун митякинский! Это тебе не Область Войска Донского.

— А что это, дяденька?

— Какой я тебе дяденька? Ать, нашелся племяш! Это, братец ты мой, имение княгини Урусовой. Тут самое наша четвертая сотня помещается.

---

[1] Станицы имели каждая свое прозвище: Вешенская — Кобели.

Тоскуя и выглаживая конскую шею, Григорий давил ногами стремена, глядел на аккуратный двухэтажный дом, на деревянный забор, на чудно́го вида дворовые постройки. Ехали мимо сада, и нагие деревья одинаковым языком шептались с ветром, так же, как и там, в покинутой далекой Донщине.

Нудная и одуряющая потекла жизнь. Молодые казаки, оторванные от работы, томились первое время, отводя душу в разговорах, перепадавших в свободные часы. Сотня поселилась в больших, крытых черепицей флигелях; спали на нарах, раскинутых возле окон. По ночам далеким пастушьим рожком брунжала отставшая от рамы, заклеивавшая щель бумага, и Григорий, прислушиваясь в многоголосом храпе к ее звону, чувствовал, как исходит весь каменной горючей тоской. Тонкое вибрирующее брунжанье щипцами хватало где-то под сердцем; в такие минуты беспредельно хотелось Григорию встать, пройти в конюшню, заседлать Гнедого и гнать его, роняя пенное мыло на глухую землю, до самого дома.

В пять часов побудка на уборку лошадей, чистка. За куценькие полчаса, пока выкармливали лошадей на коновязях овсом, перекидывались короткими фразами.

— Погано тут, ребяты!

— Мо́чи нету!

— А вахмистр — вот сука-то! Копыты коню промывать заставляет.

— Теперя дома блины трескают, масленая...

— Девку бы зараз пошшупал, эх!

— Я, братушки, ноне во сне видал, будто косим мы с батей сено в лугу, а миру кругом высыпало, как ромашки за гумнами,— говорил, сияя ласковыми телячьими глазами, смирный Прохор Зыков.— Косим мы это, трава так и полегает... Ажник дух во мне играет!..

— Жена теперича скажет: «Что-то мой Миколушка делает?»

— Ого-го-го! Она, брат, небось, со свекром в голопузика играет.

— Ну, уж ты...

— Да ни в жисть не стерпит любая баба, чтоб без мужа на стороне не хлебнуть.

— Об чем вы горюете? Кубыть корчажка с молоком, приедем со службы — и нам достанется.

На всю сотню весельчак и похабник, бессовестный и нагловатый Егорка Жарков встревал в разговор, подмигивая и грязно улыбаясь:

— Дело известное: твой батя снохе не спустит. Кобелина добрый. Так же вот было раз...— Он играл глазами, оглядывая слушателей.— Повадился один такой-то к снохе, покою не дает, а муж мешается. Он ить что придумал? Ночью вышел на баз и растворил нарошно ворота, скотина вся и ходит по базу. Он и говорит сыну: «Ты, такой-сякой, чего ж так дверцы прикрывал? Гля: скотина вся вышла, поди загони!» Он-то думал, дескать, сын выйдет, а он тем часом к снохе прилабунится, а сын заленился. «Поди, шепчет жене, загони». Энта и пошла. Вот он лежит, слухает, а отец сполз с пригрубка и на коленях к кровати гребется. Сын-то, не будь дурак, скалку взял с лавки и ждет. Вот это отец подполз к кровати и только рукой лапнул, а сын его скалом кы-ы-ык потянет через лысину. «Тпрусь, шумит, проклятый! Повадился дерюжку жевать!..» А у них телок в куренях ночевал и все подойдет, да и жует одежду. Сын-то навроде как на телка, а сам батяню резанул и лежит помалкивает... Старик-то дополз до пригрубка, лежит, шишку обминает, а она взыграла с гусиное яйцо. Вот лежал, лежал и говорит: «Иван, а Иван?» — «Чего ты, батя?» — «Ты кого ж это вдарил?» — «Да телка»,— говорит. А старик ему со слезами: «Какой же, грит, из тебя, к чертовой матери, хозяин будет, ежели ты так скотину бьешь?»

— А здоров ты брехать.

— На цепь тебя, рябого.

— Что за базар? Разойдись! — орал вахмистр, подходя, и казаки расходились к лошадям, посмеиваясь и перебрасываясь шутками. После чая выходили на строевые занятия. Урядники выколачивали домашнюю закваску.

— Пузо-то подбери, эй ты, требуха свиная!

— Равнение на-пра-во, ша-а-гом...

— Взвод, стой!

— Арш!

— Эй, левофланговый, как стоишь, мать твою?..

Господа офицеры стояли в стороне и, наблюдая, как гоняют по широкому задворью казаков, курили, иногда вмешивались в распоряжения урядников.

Глядя на вылощенных, подтянутых офицеров в нарядных бледно-серых шинелях и красиво подогнанных мундирах, Григорий чувствовал между собой и ими неперелазную невидимую стену: там аккуратно пульсировала своя, не по-казачьи нарядная, иная жизнь, без грязи, без вшей, без страха перед вахмистрами, частенько употреблявшими зубобой.

На Григория, да и на всех молодых казаков, тяжкое впе-

чатление произвел случай, происшедший на третий день после приезда в имение. Учились в конном строю; лошадь Прохора Зыкова, парня с телячье-ласковыми глазами, которому часто снились сны о далекой, манившей его станице, норовистая и взгальная, при поездке лягнула вахмистерского коня. Удар был не силен и слегка лишь просек кожу на стегне левой ноги. Вахмистр наотмашь хлестнул Прохора плетью по лицу, наезжая на него конем, крикнул:

— Ты чего глядишь?.. Чего глядишь? Я тебе, с-с-сукиному сыну! Ты у меня продневалишь суток трое...

Сотенный командир, что-то приказывавший взводному офицеру, видел эту сценку и отвернулся, теребя темляк шашки, скучающе и длинно зевая. Прохор рукавом шинели вытер со вздувшейся щеки полосу проступившей крови, задрожал губами.

Выравнивая в строю лошадь, Григорий глядел на офицеров, но те разговаривали, словно ничего не случилось. Суток пять спустя Григорий на водопое уронил в колодец цибарку, вахмистр налетел на него коршуном, занес руку.

— Не трожь!..— глухо кинул Григорий, глядя в рябившую под срубом воду.

— Что? Лезь, гад, вынимай! Морду искровяню!..

— Выну, а ты не трожь! — не поднимая головы, медленно растягивал слова Григорий.

Если б у колодца были казаки — по-иному обошлось бы дело: вахмистр, несомненно, избил бы Григория, но коноводы были у ограды и не могли слышать разговора. Вахмистр, подступая к Григорию, оглядывался на них, хрипел, выкатывая хищные, обессмысленные гневом глаза.

— Ты мне что? Ты как гутаришь с начальством?

— Ты, Семен Егоров, не насыпайся!

— Грозишь?.. Да я тебя в мокрое!..

— Вот что,— Григорий оторвал от сруба голову,— ежели когда ты вдаришь меня — все одно убью! Понял?

Вахмистр изумленно зевал квадратным сазаньим ртом, не находил ответа. Момент для расправы был упущен. Посеревшее, известкового цвета лицо Григория не сулило ничего доброго, и вахмистр растерялся. Он пошел от колодца, оскользаясь по грязи, взмешанной у желоба, по которому сливали воду в долбленые корыта, и, уже отойдя, сказал, обернувшись, размахивая кулаком, как кувалдой:

— Сотенному доложу! Вот я сотенному отрапортую!

Но сотенному почему-то так и не сказал, а на Григория недели две гнал гонку, придирался к каждой пустяковине,

вне очереди посылал в караулы и избегал встречаться глазами.

Нудный, однообразный распорядок дня выматывал живое. До вечера, пока трубач не проиграет зо́рю, мотались на занятиях в пешем и конном строю, убирали, чистили и выкармливали на коновязях лошадей, зубрили бестолковщину «словесности» и лишь в десять часов, после проверки и назначения на караулы, становились на молитву, и вахмистр, обводя построенную шеренгу круглыми оловяшками глаз, заводил отроду сиповатым голосом «Отче наш».

С утра начиналась та же волынка, и шли дни разные и в то же время похожие, как близнецы.

На все имение, кроме старой жены управляющего, была одна женщина, на которую засматривалась вся сотня, не исключая и офицеров,— молоденькая, смазливая горничная управляющего — полька Франя. Она часто бегала из дома в кухню, где властвовал старый безбровый повар.

Сотня, разбитая на марширующие взводы, со вздохами и подмигиванием следила за шелестом серой Франиной юбки. Чувствуя на себе постоянные взгляды казаков и офицеров, Франя словно обмаслилась в потоках похоти, излучаемых тремя стами глаз, и, вызывающе подрагивая бедрами, рысила из дома в кухню, из кухни в дом, улыбаясь взводам поочередно, господам офицерам в отдельности. Ее внимания добивались все, но, по слухам, преуспевал лишь курчавый и густо волосатый сотник.

Уже перед весной случилось это. В этот день Григорий дневалил на конюшне. Он чаще бывал в одном конце конюшни, где не ладили офицерские кони, попавшие в общество кобылы. Был обеденный перерыв. Григорий только что отходил плетью белоногого есаульского коня и заглянул в станок к своему Гнедому. Конь мокро хрустел сеном, косил на хозяина розовый глаз, поджимая заднюю, ушибленную на рубке ногу. Поправляя на нем недоуздок, Григорий услышал топот и приглушенный крик в темном углу конюшни. Он пошел мимо станков, слегка изумленный необычным шумом. Глаза ему залепила вязкая темнота, неожиданно хлынувшая в проход. Хлопнула дверь конюшни, и чей-то сдержанный голос шепотом крикнул:

— Скорей, ребята!

Григорий прибавил шагу.

— Кто такой?

На него наткнулся ощупью пробиравшийся к дверям урядник Попов.

— Ты, Григорий? — шепнул он, лапая плечи Григория.

— Погоди. Что тут такое?..

Урядник подребезжал виноватым смешком, схватил Григория за рукав.

— Тут... Постой, куда ты?

Григорий вырвал руку, распахнул дверь. На обезлюдевшем дворе ходила пестрая, с подрезанным хвостом курица и, не зная того, что назавтра помышляет повар приготовить из нее суп пану управляющему, походя копалась в навозе и клохтала в раздумье, где бы положить яйцо.

Свет, плеснувшийся Григорию в глаза, на секунду ослепил его, Григорий заслонил глаза ладонью и повернулся, заслышав усилившийся шум в темном углу конюшни. Касаясь рукой стенки, пошел туда; на стенке и на яслях против дверей выплясывал солнечный зайчик. Григорий шел, жмурясь от света, обжегшего зрачки. Ему навстречу попался Жарков — балагур. Он шел, на ходу застегивая ширинку спадавших шаровар, мотая головой.

— Ты чего?.. Что вы тут?..

— Иди скорей! — шепнул Жарков, дыша в лицо Григорию своонявшимся запахом грязного рта,— там... там чудо!.. Франю там затянули ребята... Расстелили...— Жарков хахакнул и, обрезав смех, глухо стукнулся спиной о рубленую стену конюшни, откинутый Григорием. Григорий бежал на шум возни, в расширенных, освоившихся с темнотой глазах его белел страх. В углу, там, где лежали попоны, густо толпились казаки — весь первый взвод. Григорий, молча раскидывая казаков, протискался вперед. На полу, бессовестно и страшно раскидав белевшие в темноте ноги, не шевелясь, лежала Франя, с головой укутанная попонами, в юбке, разорванной и взбитой выше груди. Один из казаков, не глядя на товарищей, криво улыбаясь, отошел к стене, уступая место очередному. Григорий рванулся назад и побежал к дверям.

— Ва-а-ахмистр!..

Его догнали у самых дверей, валяя назад, зажали ему ладонью рот. Григорий от ворота до края разорвал на одном гимнастерку, успел ударить другого ногой в живот, но его подмяли, так же, как Фране, замотали голову попоной, связали руки и молча, чтобы не узнал по голосу, понесли и кинули в порожние ясли. Давясь вонючей шерстью попоны, Григорий пробовал кричать, бил ногами в перегородку. Он слышал перешепоты там, в углу, скрип дверей, пропускавших входивших и уходивших казаков. Минут через двадцать его развязали. На выходе стояли вахмистр и двое казаков из другого взвода.

— Ты помалкивай! — сказал вахмистр, часто мигая и глядя вбок.

— Дуру не трепи, а то... ухи отрежем,— улыбнулся Дубок — казак чужого взвода.

Григорий видел, как двое подняли серый сверток — Франю (у нее, выпирая под юбкой острыми углами, неподвижно висели ноги) и, взобравшись на ясли, выкинули в пролом стены, где отдиралась плохо прибитая пластина. Стена выходила в сад. Над каждым станком коптилось вверху грязное крохотное окошко. Казаки застучали, взбираясь на перегородки, чтобы посмотреть, что будет делать упавшая у пролома Франя; некоторые спеша выходили из конюшни. Звериное любопытство толкнуло и Григория. Уцепившись за перекладину, он подтянулся на руках к окошку и, найдя ногами опору, заглянул вниз. Десятки глаз глядели из прокопченных окошек на лежавшую под стеной. Она лежала на спине, ножницами сводя и разводя ноги, скребла пальцами талый у стены снежок. Лица ее Григорий не видел, но слышал затаенный сап казаков, торчавших у окошек, и хруст, приятный и мягкий, сена.

Она лежала долго, потом встала на четвереньки. У нее дрожали, подламываясь, руки. Григорий ясно видел это. Качаясь, поднялась на ноги и, растрепанная, чужая и незнакомая, обвела окошки долгим-долгим взглядом.

И пошла, цепляясь одной рукой за кустики жимолости, другой опираясь о стену и отталкиваясь...

Григорий прыгнул с перегородки, растирая ладонью горло; он задыхался.

У дверей ему кто-то, он даже не помнил кто, деловито и ясно сказал:

— Вякнешь кому — истинный Христос, убьем! Ну?

На занятиях взводный офицер, увидев оторванную пуговицу на шинели Григория, спросил:

— Кто тебя тягал? Это еще что за мода?

Григорий глянул на кружок, вдавленный в сукне оторванной пуговицей; пронизанный воспоминанием, в первый раз за длинный отрезок времени чуть-чуть не заплакал.

III

Над степью — желтый солнечный зной. Желтой пылью дымятся нескошенные вызревшие заливы пшеницы. К частям косилки не притронуться рукой. Вверх не поднять го-

ловы. Иссиня-желтая наволока неба накалена жаром. Там, где кончается пшеница,— шафранная цветень донника.

Хутор скочевал в степь. Косили жито. Выматывали в косилках лошадей, задыхались в духоте, в пряной пыли, в хрипе, в жаре... Ветер, наплывавший от Дона редкими волнами, подбирал полы пыли; марью, как чадрой, кутал колючее солнце.

Петро, метавший с косилки, выпил с утра половину двухведерной баклаги. Пил теплую противную воду, и через минуту ссыхалось во рту, мокли рубаха и портки, текло с лица, шкварился в ушах немолчный трельчатый звон, репьем застревало в горле слово. Дарья, укутав платком лицо, расстегнув прореху рубашки, копнила. В ложбинке меж побуревших грудей копился серый зернистый пот. Лошадей, запряженных в косилку, гоняла Наталья. У нее свекловицей рдели опаленные щеки, глаза слезились. Пантелей Прокофьевич ходил по рядам, как искупанный. Мокрая, непросыхающая рубаха жгла тело. Казалось, что не борода стекает у него с лица на грудь, а черная растаявшая колесная мазь.

— Взмылился, Прокофьич? — крикнул с воза, проезжая мимо, Христоня.

— Мокро! — Прокофьевич махнул рукой и захромал, растирая подолом рубахи скопившуюся на животе влагу.

— Петро,— крикнула Дарья,— ох, кончай!

— Погоди, загон проедем.

— Перегодим жару. Я брошу!

Наталья остановила лошадей, задыхаясь, будто она тянула косилку, а не лошади. К ним шла Дарья, медленно переставляла по жнивью черные, потертые чириками ноги.

— Петюшка, тут ить пруд недалеко.

— Ну, уж недалеко, версты три!

— Искупаться бы.

— Покель дойдешь оттель...— вздохнула Наталья.

— И черт-те чего идтить. Копей выпрягем и верхи!

Петро опасливо поглядел на отца, вершившего копну, махнул рукой.

— Выпрягайте, бабы!

Дарья отцепила постромки и лихо вскочила на кобылу. Наталья, ежа в улыбке растрескавшиеся губы, подвела коня к косилке, примащивалась сесть с косилочного стула.

— Давай ногу,— услужил Петро, подсаживая ее.

Поехали. Дарья с оголенными коленями и сбитым на затылок платком поскакала вперед. Она по-казацки сидела на лошади, и Петро не утерпел, чтобы не крикнуть ей вслед:

— Эй, гляди, потрешь!

— Небось! — отмахнулась Дарья.

Пересекая летник, Петро глянул влево. Далеко по серой спине шляха от хутора быстро двигался меняющий очертания пыльный комок.

— Ве́рхи какой-то бегет,— Петро сощурился.

— Шибко! Ты гля, как пылит! — удивилась Наталья.

— Что б такое? Дашка! — крикнул Петро рысившей впереди жене.— Погоди, вон конного поглядим.

Комочек упал в лощину, выбрался оттуда увеличенный до размеров муравья.

Сквозь пыль просвечивала фигура верхового. Минут через пять стало видно отчетливей. Петро всматривался, положив на поля соломенной рабочей шляпы грязную ладонь.

— Так недолго и лошадь запалить, намётом идет.

Он, нахмурившись, снял с полей шляпы руку, некое смятение коснулось его лица и застыло на развилке приподнятых бровей.

Теперь уже ясно виден был верховой. Он шел броским намётом, левой рукой придерживал фуражку, в правой вяло вился запыленный красный флажок.

Он проскакал мимо съехавшего со шляха Петра так близко, что слышен был гулкий хрип коня, вдыхавшего в легкие раскаленный воздух, крикнул, оскалив квадратный серо-каменный рот:

— Споло́х!

На след, оставленный в пыли подковой его коня, упала желтоватая пена. Петро проводил глазами конного. Одно осталось у него в памяти: тяжкий хрип полузагнанного коня и, когда глянул вслед ему,— мокрый, отливающий стальным блеском круп.

Не осознав еще окончательно подступившего несчастья, Петро тупо оглядел трепещущую в пыли пену, степь, сползающую к хутору волнистым скатом. Со всех концов по желтым скошенным кулигам хлеба скакали к хутору казаки. По степи, до самого желтеющего в дымчатой непрогляди бугра, вздували комочки пыли всадники, а там, где, выбравшись на шлях, скакали они толпою, тянулся к хутору серый хвостище пыли. Казаки, числившиеся на военной службе, бросали работу, выпрягали из косилок лошадей, мчались в хутор. Петро видел, как Христоня выпряг из арбы своего гвардейца-коня и ударился намётом, раскорячивая длинные ноги, оглядываясь на Петра.

— Чего же это? — охнула Наталья, испуганно пялясь

на Петра, и взгляд ее — взгляд зайца под прицелом — встряхнул Петра.

Он подскакал к стану; прыгнув на ходу с лошади, натянул скинутые в разгаре работы шаровары и, махнув отцу рукой, растаял в таком же облачке пыли, как и те, что серыми текучими веснушками расцветили истлевавшую в зное степь.

IV

На площади серая густела толпа. В рядах — лошади, казачья справа, мундиры с разными номерами погонов. На голову выше армейцев-казаков, как гуси голландские среди мелкорослой домашней птицы, похаживали в голубых фуражках атаманцы.

Кабак закрыт. Военный пристав хмур и озабочен. У плетней по улицам — празднично одетые бабы. Одно слово в разноликой толпе: «мобилизация». Пьяные, разгоряченные лица. Тревога передается лошадям — визг и драка, гневное ржанье. Над площадью — низко повисшая пыль, на площади — порожние бутылки казенки, бумажки дешевых конфет.

Петро вел в поводу заседланного коня. Около ограды здоровенный черный атаманец, застегивая необъятные синие шаровары, щерит рот в белозубой улыбке, возле него серенькой перепелкой чечекает низкорослая казачка — жена ли, любушка ли.

— Я тебе за эту курву чертей всыплю! — обещает казачка.

Она пьяна, в распатлаченных космах — подсолнуховая лузга, развязаны концы расписного полушалка. Атаманец, затягивая пояс, приседает, улыбается; под морщеным морем шаровар годовалый телок пройдет — не зацепится.

— Не наскакивай, Машка.

— Кобель проклятый! Бабник!

— Ну, так что ж?

— Гляделки твои бесстыжие!

А рядом вахмистр в рыжей оправе бороды спорит с батарейцем:

— Ничего не будет! Постоим сутки — и восвояси.

— А ну, как война?

— Тю, мил друг! Супротив нас какая держава на ногах устоит?

Рядом бессвязно скачущий разговор; немолодой красивый казак горячится:

— Нам до них дела нету. Они пущай воюют, а у нас хлеба не убратые!

— Это беда-а-а! Гля, миру согнали, а ить ноне день — год кормит.

— Потравят копны скотиной.

— У нас уж ячмень зачали косить.

— Астрицкого царя, стал быть, стукнули?

— Наследника.

— Станишник, какого полка?

— Эй, односум, забогател, мать твою черт!

— Га, Стешка, ты откель?

— Атаман гутарил, дескать, на всякий случай согнали.

— Ну, казацтво, держися!

— Ишо б годок погодить им, вышел бы я из третьей очереди.

— А ты, дед, зачем? Аль не отломал службу?

— Как зачнут народ крошить — и до дедов доберутся.

— Монопольку закрыли!

— Эх ты, свистюля! У Марфутки хучь бочонок можно купить.

Комиссия начала осмотр. В правление трое казаков провели пьяного окровяненного казака. Откидываясь назад, он рвал на себе рубаху, закатывая калмыцкие глаза, хрипел:

— Я их, мужиков, в кррровь! Знай донского казака!

Кругом, сторонясь, одобрительно посмеивались, сочувствовали.

— Крой их!

— За что его сбатовали?

— Мужика какого-то изватлал.

— Их следовает!

— Мы им ишо врежем.

— Я, браток, в тысячу девятьсот пятом годе на усмирении был. То-то смеху!

— Война будет — нас опять на усмиренья будут гонять.

— Будя! Пущай вольных нанимают. Полиция пущай, а нам кубыть и совестно.

У прилавка моховского магазина — давка, толкотня. К хозяевам пристал подвыпивший Томилин Иван. Его увещевал, разводя руками, сам Сергей Платонович; компаньон его Емельян Константинович Цаца пятился к дверям.

— Ну, цто это такое... Цестное слово, это бесцинство! Мальцик, сбегай к атаману!

Томилин, вытирая о шаровары потные ладони, грудью пер на нахмуренного Сергея Платоновича.

— Прижал с векселем, гад, а теперя робеешь? То-то! И морду побью, ищи с меня! Заграбил наши казацкие права. Эх ты, сучье вымя! Гад!

Хуторской атаман лил масло радостных слов толпившимся вокруг него казакам:

— Война? Нет, не будет. Их благородие военный пристав говорили, что это для наглядности. Могете быть спокойными.

— Добришша! Как возвернусь домой, зараз же на поля.

— Да ить дело стоит!

— Скажи на милость, что начальство думает? У меня ить боле ста десятин посеву.

— Тимошка! Перекажи нашим, мол, завтра вернемся.

— Никак, афишку читают? Айда туда.

Площадь гомонила допоздна.

* * *

Через четыре дня красные составы увозили казаков с полками и батареями к русско-австрийской границе.

Война...

В приклетях у кормушек — конский сап и смачный запах навоза. В вагонах — те же разговоры, песни, чаще всего:

Всколыхнулся, взволновался
Православный тихий Дон.
И послушно отозвался
На призыв монарха он.

На станциях — любопытствующе-благоговейные взгляды, щупающие казачий лампас на шароварах; лица, еще не смывшие рабочего густого загара.

Война!..

Газеты, захлебывающиеся воем...

На станциях казачьим эшелонам женщины махали платочками, улыбались, бросали папиросы и сладости. Лишь под Воронежем в вагон, где парился с остальными тридцатью казаками Петро Мелехов, заглянул пьяненький старичок железнодорожник, спросил, поводя тоненьким носиком:

— Едете?

— Садись с нами, дед,— за всех ответил один.

— Милая ты моя... говядинка! — И долго укоризненно качал головой.

V

В последних числах июня полк выступил на маневры. По распоряжению штаба дивизии полк походным порядком прошел до города Ровно. В окрестностях его развертывались две пехотные дивизии и части конной. Четвертая сотня стала постоем в деревне Владиславке.

Недели через две, когда сотня, измученная длительным маневрированием, расположилась в местечке Заборонь, из штаба полка прискакал сотенный командир, подъесаул Полковников. Григорий с казаками своего взвода отлеживался в палатке. Он видел, как по узкому руслу улицы на взмыленном коне проскакал подъесаул.

Во дворе зашевелились казаки.

— Либо опять выступать? — высказал предположение Прохор Зыков и выжидающе прислушался.

Взводный урядник воткнул в подкладку фуражки иглу (он зашивал прохудившиеся шаровары).

— Не иначе, выступать.

— Не дадут и отдохнуть, черти!

— Вахмистр гутарил, что бригадный командир наедет.

«Та-та-та—три-три-та-ти-та!..» —кинул трубач тревогу.

Казаки повскакали.

— Куда кисет запропастил? — заметался Прохор.

— Се-е-длать!

— Пропади он, твой кисет! — на бегу крикнул Григорий.

Во двор вбежал вахмистр. Придерживая рукой шашку, затрусил к коновязям. Лошадей оседлали в положенный по уставу срок. Григорий рвал приколы палатки; ему успел шепнуть урядник:

— Война, парень!

— Брешешь?

— И вот тебе бог, вахмистр сообчил!

Сорвали палатки. На улице строилась сотня.

Командир сотни на разгоряченном коне вертелся перед строем.

— Взводными колоннами!.. — повис над рядами его зычный голос.

Зацокотали копыта лошадей. Сотня па рысях вышла из местечка на тракт. От деревни Кустень переменным аллюром шли к полустанку первая и пятая сотни.

День спустя полк выгрузился на станции Вербы в тридцати пяти верстах от границы. За станционными березками занималась заря. Погожее обещалось быть утро.

На путях погромыхивал паровоз. Блестели отлакированные росой рельсы. По подмостям, храпя, сходили из вагонов лошади. За водокачкой — перекличка голосов, басовитая команда.

Казаки четвертой сотни в поводу выводили лошадей за переезд. В сиреневой рыхлой темноте вязкие плавали голоса. Мутно синели лица, контуры лошадей рассасывались в невиди.

— Какая сотня?

— А ты чей такой приблудился?

— Я тебе, дам, подлец! Как с офицером раз-гова-риваешь?

— Виноват, ваше благородие!.. Обознался.

— Проезжай, проезжай!

— Чего разлопоушился-то? Паровоз вон идет, двигай.

— Вахмистр, где у тебя третий взвод?

— Со-о-отня-а, подтянись!

А в колонне тихо, вполголоса:

— Подтянулись, едрена-матрена, две ночи не спамши.

— Семка, дай потянуть, с вечеру не курил.

— Жеребца потяни...

— Чумбур перегрыз, дьяволюка.

— А мой на передок расковался.

Четвертой сотне перегородила дорогу свернувшая в сторону другая сотня.

В синеватой белеси неба четко вырезались, как нарисованные тушью, силуэты всадников. Шли по четыре в ряд. Колыхались пики, похожие на оголенные подсолнечные будылья. Изредка звякнет стремя, скрипнет седло.

— Эй, братушки, вы куда ж это?

— К куме на крестины.

— Га-га-га-га!

— Молчать! Что за разговоры!

Прохор Зыков, ладонью обнимая окованную луку седла, всматривался в лицо Григория, говорил шепотом:

— Ты, Мелехов, не робеешь?

— А чего робеть-то?

— Как же, ныне, может, в бой пойдем.

— И пущай.

— А я вот робею,— сознался Прохор и нервно перебирал пальцами скользкие от росы поводья.— Всею ночь в вагоне не спал. Нету сну, хучь убей.

Голова сотни качнулась и поползла, движение передалось третьему взводу, мерно пошли лошади, колыхнулись и поплыли притороченные к ногам пики.

Пустив поводья, Григорий дремал. Ему казалось: не конь упруго переступает передними ногами, покачивая его в седле, а он сам идет куда-то по теплой черной дороге, и идти необычайно легко, подмывающе радостно.

Прохор что-то говорил над ухом, голос его мешался с хрустом седла, копытным стуком, не нарушая обволакивающей бездумной дремы.

Шли по проселку. Баюкающая звенела в ушах тишина. Вдоль дороги дымились в росе вызревшие овсы. Кони тянулись к низким метелкам, вырывая из рук казаков поводья. Ласковый свет заползал Григорию под набухшие от бессонницы веки; Григорий поднимал голову и слышал все тот же однообразный, как скрип арбы, голос Прохора.

Пробудил его внезапно приплывший из-за далекого овсяного поля густой перекатистый гул.

— Стреляют! — почти крикнул Прохор.

Страх налил мутью его телячьи глаза. Григорий поднял голову: перед ним двигалась в такт с конской спиной серая шинель взводного урядника, сбоку млело поле с нескошенными делянами жита, с жаворонком, плясавшим на уровне телеграфного столба. Сотня оживилась, густой орудийный стон прошел по ней электрическим током. Подъесаул Полковников, подхлестнутый стрельбой, повел сотню рысью. За узлом проселочных дорог, сходившихся у брошенной корчмы, стали попадаться подводы беженцев. Мимо сотни промчался эскадрон нарядных драгун. Ротмистр с русыми баками на рыжем кровном коне иронически оглядел казаков и дал коню шпоры. В ложбинке, болотистой и топкой, застряла гаубичная батарея. Ездовые мордовали лошадей, около суетилась прислуга. Рослый рябой батареец нес от корчмы охапку досок, оторванных, наверное, от забора.

Сотня обогнала пехотный полк. Солдаты со скатанными шинелями шли быстро, солнце отсвечивало в их начищенных котелках и стекало с жал штыков. Ефрейтор последней роты, маленький, но бедовый, кинул в Григория комком грязи.

— Лови, в австрийцев кинешь!

— Не дури, кобылка.— Григорий на лету рассек плетью комок грязи.

— Казачки, везите им от нас поклоны!

— Сами свидитесь!

В головной колонне наяривали похабную песню; толстозадый, похожий на бабу солдат шел сбочь колонны задом, щелкая ладонями по куцым голенищам. Офицеры

посмеивались. Острый душок недалекой опасности сближал их с солдатами, делал снисходительней.

От корчмы до деревни Горовищук гусеницами ползли пехотные части, обозы, батареи, лазареты. Чувствовалось смертное дыхание близких боев.

У деревни Берестечко четвертую сотню обогнал командир полка Каледин. С ним рядом ехал войсковой старшина. Григорий, провожая глазами статную фигуру полковника, слышал, как войсковой старшина, волнуясь, говорил ему:

— На трехверстке, Василий Максимович, не обозначена эта деревушка. Мы можем попасть в неловкое положение.

Ответа полковника Григорий не слышал. Догоняя их, проскакал адъютант. Конь его улегал на левую заднюю. Григорий машинально определил добротность адъютантского коня.

Вдали под покатым склоном поля показались халупы деревушки. Полк шел переменным аллюром, и лошади заметно припотели. Григорий ладонью щупал потемневшую шею своего Гнедого, посматривал по сторонам. За деревушкой, зелеными остриями вонзаясь в синеющий купол неба, виднелись вершины леса. За лесом пухнул орудийный гул; теперь он потрясал слух всадников, заставляя настораживаться лошадей, в промежутки частили ружейные залпы. Далекие таяли за лесом дымки шрапнельных разрывов, ружейные залпы отплывали куда-то правее леса, то замирая, то усиливаясь.

Григорий остро воспринимал каждый звук, нервы его все более взвинчивались. Прохор Зыков ерзал в седле, болтал не умолкая.

— Григорий, стреляют,— похоже, как ребята палкой по частоколу. Верно ить?

— Молчи ты, балабон!

Сотня подтянулась к деревушке. Во дворах кишат солдаты; в хатах — суетня: хозяева собираются выезжать. Всюду на лицах жителей лежала печать смятения и растерянности. В одном дворе Григорий, проезжая, видел: солдаты развели огонь под крышей сарая, а хозяин — высокий седой белорус,— раздавленный гнетом внезапного несчастья, ходил мимо, не обращая внимания. Григорий видел, как семья его бросала на телегу подушки в красных наволочках, разную рухлядь, а хозяин заботливо нес сломанный обод колеса, никому не нужный, пролежавший на погребице, быть может, десяток лет.

Григорий дивился бестолковости баб, тащивших в телеги цветочные горшки, иконы и оставлявших в хатах вещи необходимые и ценные. По улице метелицей стлался выпущенный кем-то из перины пух. Воняло пригорелой сажей и погребным затхлым душком. На выезде попался им бежавший навстречу еврей. Тонкая, словно разрезанная шашкой, щель его рта раззявлена криком:

— Господин ко́зак! Господин ко́зак! Ах, бож-ж-же ж мой!

Маленький, круглоголовый казак ехал рыском, помахивая плетью, не обращая на крик внимания.

— Стой! — крикнул казаку подъесаул из второй сотни.

Казак пригнулся к луке и нырнул в проулок.

— Стой, мерзавец! Какого полка?

Круглая голова казака припала к конской шее. Он, как на скачках, повел коня бешеным намётом, у высокого забора поднял его на дыбы и ловко перемахнул на ту сторону.

— Тут девятый полк, ваше благородие. Не иначе, с ихнего полка,— рапортовал подъесаулу вахмистр.

— Черт с ним.— Подъесаул поморщился и — обращаясь к еврею, припавшему к стремени: — Что он у тебя взял?

— Господин офицер... часы, господин офицер!..— Еврей, поворачивая к подъехавшим офицерам красивое лицо, часто моргал глазами.

Подъесаул, отводя ногой стремя, тронулся вперед.

— Немцы придут, все равно заберут,— улыбаясь в усы, отъезжая, проговорил он.

Еврей растерянно стоял посреди улицы. По лицу его блуждала судорога.

— Дорогу, пане жидове! — строго крикнул командир сотни и замахнулся плетью.

Четвертая сотня прошла мимо него в дробной стукотени копыт, в скрипе седел. Казаки насмешливо косились на растерянного еврея, переговаривались.

— Наш брат жив не будет, чтоб не слямзить.

— К казаку всяка вещь прилипает.

— Пущай плохо не кладет.

— А ловкач энтот...

— Ишь, махнул через забор, как борзой кобель!

Вахмистр Каргин приотстал от сотни и под смех, прокатившийся по рядам казаков, опустил пику.

— Беги, а то заколю!..

Еврей испуганно зевнул и побежал. Вахмистр догнал его, сзади рубанул плетью. Григорий видел, как еврей споткнулся и, закрывая лицо ладонями, повернулся к

вахмистру. Сквозь тонкие пальцы его цевкой брызнула кровь.

— За что?..— рыдающим голосом крикнул он.

Вахмистр, масля в улыбке круглые, как казенные пуговицы, коршунячьи глаза, ответил, отъезжая:

— Не ходи босой, дурак!

За деревней в лощине, поросшей желтыми кувшинками и осокой, саперы доканчивали просторный мосток. Неподалеку стоял, гудя и сотрясаясь, автомобиль. Около него суетился шофер. На сиденье, откинувшись, полулежал толстый седой генерал, с бородкой-эспаньолкой и вислыми сумками щек. Возле, держа под козырек, стояли командир 12-го полка полковник Каледин и командир саперного батальона. Генерал, турсуча рукой ремень полевой сумки, гневно выкрикивал, адресуясь к саперному офицеру:

— Вам приказано еще вчера закончить работу. Молчать! О подвозе строительного материала вы должны были озаботиться раньше. Молчать! — гремел генерал, несмотря на то, что офицер, замкнув рот, только дрожал губами.— А теперь как мне проехать на ту сторону?.. Я вас спрашиваю, капитан, к-а-ак мне проехать?

Сидевший по левую сторону от него молодой черноусый генерал жег спички, закуривая сигару, улыбаясь. Саперный капитан, изгибаясь, на что-то указывал в сторону моста. Сотня прошла мимо, у моста спустилась в лощину. Буро-черная грязь выше колен забирала ноги лошадей, сверху с моста сыпались на казаков белые перья сосновых щепок.

В полдень проехали границу. Кони прыгали через поваленный полосатый пограничный столб. Орудийный гул погромыхивал справа. Вдали краснели черепичные крыши фольварка. Солнце разило землю отвесно падающими лучами. Оседала горькая тучная пыль. Командир полка отдал приказ выслать головной дозор. Из четвертой сотни выехал третий взвод со взводным офицером, сотником Семеновым. Позади в сером мареве пыли остался расчлененный на сотни полк. Отряд в двадцать с лишним казаков поскакал, минуя фольварк, по изморщиненной зачерствелыми колеями дороге.

Сотник отвел разъезд версты на три и остановился, сверяясь с картой. Казаки съехались кучей покурить. Григорий слез было ослабить подпруги, но вахмистр блеснул на него глазами.

— Я тебе чертей всыплю!.. На ко́нь!

Сотник закурил, долго протирал вынутый из чехла

бинокль. Перед ними, тронутая полуденным зноем, лежала равнина. Справа зубчатилась каемка леса, в нее вонзалось отточенное жало дороги. Версты за полторы от них виднелась деревушка, возле нее изрезанный глинистый крутояр речки и стеклянная прохлада воды. Сотник долго смотрел в бинокль, щупая глазами омертвелые в безлюдье улицы, но там было пусто, как на кладбище. Манила зазывно голубеющая стежка воды.

— Надо полагать — Королевка? — Сотник указал на деревушку глазами.

Вахмистр подъехал к нему молча. Выражение его лица без слов говорило: «Вам лучше знать. Наше дело маленькое».

— Проедем туда,— нерешительно сказал сотник, пряча бинокль и морщась, как от зубной боли.

— Не напоремся на них, ваше благородие?

— Мы осторожно. Ну, трогаем.

Прохор Зыков — поближе к Григорию. Лошади их шли рядом. В опустелую улицу въехали с опаской. Каждое окно сулило расправу, каждая распахнутая дверь сарая вызывала при взгляде на нее чувство одиночества и противную дрожь вдоль спинного хребта. Магнитом притягивало взгляды к заборам и канавам. Въехали хищниками,— так в голубую зимнюю ночь появляются около жилья волки,— но улицы пустовали. Одуряющая висела тишина. Из раскрытого окна одного дома послышался наивный бой стенных часов, звук их лопался выстрелами, и Григорий заметил, как сотник, ехавший впереди, дрогнул, судорожно лапнул кобуру револьвера.

В деревне не было ни одной души. Разъезд вброд переехал речушку, вода подходила лошадям по пузо, они охотно шли в воду и пили на ходу, взнузданные, понукаемые всадниками. Григорий жадно всматривался во взмученную воду; близкая и недоступная, она тянула к себе непреодолимо. Если б можно было, он соскочил бы с седла, лег не раздеваясь, под дремотный перешепот струй так, чтобы холодом и ознобом охватило спину и мокрую от пота грудь.

За деревней с холма виден был город: квадраты кварталов, кирпичные здания, разлив садов, шпили костелов.

Сотник взъехал на впалую вершину холма, приставил к глазам бинокль.

— Вон они! — крикнул, шевеля пальцами левой руки.

Вахмистр, за ним казаки по одному взъезжали на выжженную солнцем вершину, всматривались. По улицам,

крохотные отсюда, сновали люди, прудили переулки обозы, мельтешились конные. Григорий, щуря глазами, глядел из-под ладони; он различал даже серую, чужую окраску мундиров. Возле города бурели свежевырытые логова окопов, над ними кишели люди.

— Сколько их...— изумленно протянул Прохор.

Остальные молчали, зажатые в кулаке одного чувства. Григорий прислушивался к учащенному бою сердца (будто кто-то маленький, но тяжелый, там, в левой стороне груди, делал бег на месте) и сознавал, что владеет им совсем иное чувство при взгляде на этих чужих людей, чем то, которое испытывал он на маневрах, видя «противника».

Сотник делал в полевой книжке какие-то отметки карандашом. Вахмистр согнал с холма казаков, спе́шил их, поднялся к сотнику. Тот поманил Григория пальцем.

— Мелехов!

— Я.

Григорий поднялся на холм, разминая затекшие ноги. Сотник подал ему сложенную вчетверо бумажку.

— У тебя лошадь добрей остальных. К командиру полка намётом.

Григорий спрятал в грудной карман бумагу, сошел к лошади, спуская на подбородок ремень фуражки.

Сотник глядел ему вслед, выждал, пока Григорий сел на коня, и кинул взгляд на решетку ручных часов.

Полк подтягивался к Королевке, когда Григорий прискакал с донесением.

Полковник Каледин отдал распоряжение адъютанту, и тот запылил к первой сотне.

Четвертая сотня текла по Королевке и быстро, как на ученье, развернулась за околицей. От холма подскакал с казаками третьего взвода сотник Семенов.

Сотня выравнивала подкову построения. Кони мотали головами: жалил слепень; позвякивали уздечки. В полуденной тиши глухо гудел топот первой сотни, проходившей последние дворы деревни.

Подъесаул Полковников на переплясывающем статном коне выскакал перед строй; туго подбирая поводья, продел руку в темляк. Григорий, задерживая дыханье, ждал команды. На левом фланге мягко грохотала первая сотня, разворачиваясь, готовясь.

Подъесаул вырвал из ножен шашку, клинок блекло сверкнул голубизной.

— Со-о-от-ня-а-а-а-а! — Шашка накренилась вправо, влево и упала вперед, задержавшись в воздухе повыше

торчмя поднятых ушей коня. «Рассыпаться лавой и вперед»,— в уме перевел Григорий немую команду.— Пики к бою, шашки вон, в атаку марш-марш! — обрезал есаул команду и выпустил коня.

Глухо охнула земля, распятая под множеством копыт. Григорий едва успел опустить пику (он попал в первый ряд), как конь, захваченный хлынувшим потоком лошадей, рванулся и понес, забирая вовсю. Впереди рябил на сером фоне поля подъесаул Полковников. Неудержно летел навстречу черный клин пахоты. Первая сотня взвыла трясучим колеблющимся криком, крик перенесло к четвертой сотне. Лошади в комок сжимали ноги и пластались, кидая назад сажени. Сквозь режущий свист в ушах Григорий услышал хлопки далеких еще выстрелов. Первая цвинькнула где-то высоко пуля, тягучий свист ее забороздил стеклянную хмарь неба. Григорий до боли прижимал к боку горячее древко пики, ладонь потела, словно смазанная слизистой жидкостью. Свист перелетавших пуль заставлял его клонить голову к мокрой шее коня, в ноздри ему бил острый запах конского пота. Как сквозь запотевшие стекла бинокля, видел бурую гряду окопов, серых людей, бежавших к городу. Пулемет без передышки стлал над головами казаков веером разбегающийся визг пуль; они рвали впереди и под ногами лошадей ватные хлопья пыли.

В середине грудной клетки Григория словно одубело то, что до атаки суетливо гоняло кровь, он не чувствовал ничего, кроме звона в ушах и боли в пальцах левой ноги.

Выхолощенная страхом мысль путала в голове тяжелый, застывающий клубок.

Первым упал с коня хорунжий Ляховский. На него наскакал Прохор.

Оглянувшись, Григорий запечатлел в памяти кусочек виденного: конь Прохора, прыгнув через распластанного на земле хорунжего, ощерил зубы и упал, подогнув шею. Прохор слетел с него, выбитый из седла толчком. Резцом, как алмазом на стекле, вырезала память Григория и удержала надолго розовые десны Прохорова коня с ощеренными плитами зубов, Прохора, упавшего плашмя, растоптанного копытами скакавшего сзади казака. Григорий не слышал крика, но понял по лицу Прохора, прижатому к земле с перекошенным ртом и вылезшими из орбит телячьими глазами, что крикнул тот нечеловечески-дико. Падали еще. Казаки падали и кони. Сквозь пленку слез, надутых ветром, Григорий глядел перед собой на серую киповень бежавших от окопов австрийцев.

Сотня, рванувшаяся от деревни стройной лавой, рассыпалась, дробясь и ломаясь. Передние, в том числе Григорий, подскакивали к окопам, остальные топотали где-то сзади.

Высокий белобровый австриец, с надвинутым на глаза кепи, хмурясь, почти в упор выстрелил в Григория с колена. Огонь свинца опалил щеку. Григорий повел пикой, натягивая изо всей силы поводья. Удар настолько был силен, что пика, пронизав вскочившего на ноги австрийца, до половины древка вошла в него. Григорий не успел, нанеся удар, выдернуть ее и, под тяжестью оседавшего тела, ронял, чувствуя на ней трепет и судороги, видя, как австриец, весь переломившись назад (виднелся лишь острый небритый клин подбородка), перебирает, царапает скрюченными пальцами древко. Разжав пальцы, Григорий въелся занемевшей рукой в эфес шашки.

Австрийцы бежали в улицы предместья. Над серыми сгустками их мундиров дыбились казачьи кони.

В первую минуту после того как выронил пику, Григорий, сам не зная для чего, повернул коня. Ему на глаза попался скакавший мимо него оскаленный вахмистр. Григорий шашкой плашмя ударил коня. Тот, заломив шею, понес его по улице.

Вдоль железной решетки сада, качаясь, обеспамятев, бежал австриец без винтовки, с кепи, зажатым в кулаке. Григорий видел нависший сзади затылок австрийца, мокрую у шеи строчку воротника. Он догнал его. Распаленный безумием, творившимся кругом, занес шашку. Австриец бежал вдоль решетки, Григорию не с руки было рубить, он, перевесившись с седла, косо держа шашку, опустил ее на висок австрийца. Тот без крика прижал к ране ладони и разом повернулся к решетке спиною. Не удержав коня, Григорий проскакал; повернув, ехал рысью. Квадратное, удлиненное страхом лицо австрийца чугунно чернело. Он по швам держал руки, часто шевелил пепельными губами. С виска его упавшая наосклизь шашка стесала кожу; кожа висела над щекой красным лоскутом. На мундир кривым ручьем падала кровь.

Григорий встретился с австрийцем взглядом. На него мертво глядели залитые смертным ужасом глаза. Австриец медленно сгибал колени, в горле у него гудел булькающий хрип. Жмурясь, Григорий махнул шашкой. Удар с длинным потягом развалил череп надвое. Австриец упал, топыря руки, словно поскользнувшись; глухо стукнули о камень мостовой половинки черепной коробки. Конь прыгнул, всхрапнув, вынес Григория на середину улицы.

По улицам перестукивали редеющие выстрелы. Мимо Григория вспененная лошадь протащила мертвого казака. Нога его застряла в стремени, и лошадь несла, мотая избитое оголенное тело по камням.

Григорий видел только красную струю лампаса да изорванную зеленую гимнастерку, сбившуюся комом выше головы.

Муть свинцом налила темя. Григорий слез с коня и замотал головой. Мимо него скакали казаки подоспевшей третьей сотни. Пронесли на шинели раненого, на рысях прогнали толпу пленных австрийцев. Они бежали скученным серым стадом, и безрадостно-дико звучал стук их окованных ботинок. Лица их слились в глазах Григория в студенистое, глиняного цвета пятно. Он бросил поводья и, сам не зная для чего, подошел к зарубленному им австрийскому солдату. Тот лежал там же, у игривой тесьмы решетчатой ограды, вытянув грязную коричневую ладонь, как за подаянием. Григорий глянул ему в лицо. Оно показалось ему маленьким, чуть ли не детским, несмотря на вислые усы и измученный страданием ли, прежним ли безрадостным житьем,— покривленный суровый рот.

— Эй, ты! — крикнул, проезжая посредине улицы, незнакомый казачий офицер.

Григорий глянул на его белую, покрытую пылью кокарду и, спотыкаясь, пошел к коню. Путано-тяжек был шаг его, будто нес за плечами непосильную кладь; гнусь и недоумение комкали душу. Он взял в руки стремя и долго не мог поднять затяжелевшую ногу.

VI

Казаки-второочередники с хутора Татарского и окрестных хуторов на второй день после выступления из дому ночевали на хуторе Ея. Казаки с нижнего конца хутора держались от верховцев особняком. Поэтому Петро Мелехов, Аникушка, Христоня, Степан Астахов, Томилин Иван и остальные стали на одной квартире. Хозяин — высокий дряхлый дед, участник турецкой войны — завел с ними разговор. Казаки уже легли спать, расстелив в кухне и горнице полсти, курили остатний перед сном раз.

— На войну, стал быть, служивые?

— На войну, дедушка.

— Должно, не похожая на турецкую выйдет война? Теперь ить вон какая оружия пошла.

— Одинаково. Один черт! Как в турецкую народ переводили, так и в эту придется,— озлобясь неизвестно на кого, буркнул Томилин.

— Ты, милок, сепетишь-то без толку. Другая война будет.

— Оно конечно,— лениво, с зевотцей, подтвердил Христоня, о ноготь гася цигарку.

— Повоюем,— зевнул Петро Мелехов и, перекрестив рот, накрылся шинелью.

— Я вас, сынки, вот об чем прошу. Дюже прошу, и вы слово мое попомните,— заговорил дед.

Петро отвернул полу шинели, прислушался.

— Помните одно: хочешь живым быть, из смертного боя целым выйтить — надо человечью правду блюсть.

— Какую? — спросил Степан Астахов, лежавший с краю. Он улыбнулся недоверчиво. Он стал улыбаться с той поры, когда услышал про войну. Она его манила, и общее смятение, чужая боль утишали его собственную.

— А вот какую: чужого на войне не бери — раз. Женщин упаси бог трогать, и ишо молитву такую надо знать.

Казаки заворочались, заговорили все сразу.

— Тут хучь бы свое не уронить, а то чужое.

— А баб как нельзя трогать? — Дуриком — это я понимаю — невозможно, а по доброму слову?

— Рази ж утерпишь?

— То-то и оно!

— А молитва, какая она?

Дед сурово насталил глаза, ответил всем сразу:

— Женщин никак нельзя трогать. Вовсе никак! Не утерпишь — голову потеряешь али рану получишь, посля спопашишься, да поздно. Молитву скажу. Всю турецкую войну пробыл, смерть за плечьми, как переметная сума, висела, и жив остался через этую молитву.

Он пошел в горницу, порылся под божницей и принес клеклый, побуревший от старости лист бумаги.

— Вот. Вставайте, поспишите. Завтра, небось, до кочетов ить тронетесь?

Дед ладонью разгладил на столе хрустящий лист и отошел. Первым поднялся Аникушка. На голом, бабьем, лице его трепетали неровные тени от огня, колеблемого ветром, проникавшим в оконную щель. Сидели и списывали все, кроме Степана. Аникушка, списавший ранее остальных, скомкал вырванный из тетради листок, привязал его на гайтан, повыше креста. Степан, качая ногой, трунил над ним:

— Вшам приют устроил. В гайтане им неспособно водиться, так ты им бумажный курень приспособил. Во!

— Ты, молодец, не веруешь, так молчи! — строго перебил его дед.— Ты людям не препятствуй и над верой не насмехайся. Совестно так-то и грех!

Степан замолчал, улыбаясь; сглаживая неловкость, Аникушка спросил у деда:

— Там, в молитве, про рогатину есть и про стрелу. Это к чему?

— Молитва при набеге — это ишо не в наши времена сложенная. Деду моему покойнику от его деда досталась. А там, может, ишо раньше была она. В старину-то с рогатинами воевать шли да с сагайдаками.

Списывали молитвы на выбор, кому какая приглянется.

МОЛИТВА ОТ РУЖЬЯ

Господи, благослови. Лежит камень бел на горе, что конь. В камень нейдет вода, так бы и в меня, раба божия, и в товарищей моих, и в коня моего не шла стрела и пулька. Как молот отпрядывает от ковадла, так и от меня пулька отпрядывала бы; как жернова вертятся, так не приходила бы ко мне стрела, вертелась бы. Солнце и месяц светлы бывают, так и я, раб божий, ими укреплен. За горой замок, замкнут тот замок, ключи в море брошу под бел-горюч камень Алтор, не видный ни колдуну, ни колдунице, ни чернецу, ни чернице. Из океан-моря вода не бежит, и желтый песок не пересчитать, так и меня, раба божья, ничем не взять. Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь.

МОЛИТВА ОТ БОЯ

Есть море-океан, на том море-океане есть белый камень Алтор, на том камне Алторе есть муж каменный тридевять колен. Раба божьего и товарищей моих каменной одеждой одень от востока до запада, от земли до небес; от вострой сабли и меча, от копья булатна и рогатины, от дротика каленого и некаленого, от ножа, топора и пушечного боя; от свинцовых пулек и от метких оружий; от всех стрел, перенных пером орловым, и лебединым, и гусяным, и журавлиным, и дергуновым, и вороновым, от турецких боев, от крымских и австрийских, нагонского супостата, татарского и литовского, немецкого и шилинского, и калмыцкого. Святые отцы и небесные силы, соблюдите меня, раба божьего. Аминь.

МОЛИТВА ПРИ НАБЕГЕ

Пречистая владычица святая богородица и господь наш Иисус Христос. Благослови, господи, набеги идучи раба божьего и товарищей моих, кои со мною есть, облаком обволоки, небесным, святым, каменным твоим градом огради. Святой Дмитрий Солунский, ущити меня, раба божьего, и товарищей моих на все четыре стороны: лихим людям не стрелять, ни рогаткою колоть и ни бердышем сечи, не колоти, ни обухом прибити, ни топором рубити, ни саблями сечи, не колоти, ни ножом, не

колоти и не резати, ни старому и ни малому, и ни смуглому и ни черному; ни еретику, ни колдуну и ни всякому чародею. Все теперь предо мною, рабом божьим, посироченным и судимым. На море на океане на острове Буяне стоит столб железный. На том столбе муж железный, подпершися посохом железным, и заколевает он железу, булату и синему олову, свинцу и всякому стрельцу: «Пойди ты, железо, во свою матерь-землю от раба божья и товарищей моих, и коня моего мимо. Стрела древоколкова в лес, а перо во свою матерь-птицу, а клей в рыбу». Защити меня, раба божья, золотым щитом от сечи и от пули, от пушечного боя, ядра, и рогатины, и ножа. Будет тело мое крепче панциря. Аминь.

Увезли казаки под нательными рубахами списанные молитвы. Крепили их к гайтанам, к материнским благословениям, к узелкам со щепотью родимой земли, но смерть пятнила и тех, кто возил с собою молитвы.

Трупами истлевали на полях Галиции и Восточной Пруссии, в Карпатах и Румынии — всюду, где полыхали зарева войны и ложился копытный след казачьих коней.

VII

Обычно из верховских станиц Донецкого округа — Еланской, Вешенской, Мигулинской и Казанской — брали казаков в 11-й — 12-й армейские казачьи полки и в лейб-гвардии Атаманский.

В 1914 году часть призванных на действительную военную службу казаков Вешенской станицы влили почему-то в 3-й Донской казачий имени Ермака Тимофеевича полк, состоявший сплошь из казаков Усть-Медведицкого округа. В числе остальных попал в 3-й полк и Митька Коршунов.

Вместе с некоторыми частями 3-й кавалерийской дивизии полк стоял в Вильно. В июне сотни выступили из города на лунки [1].

Теплился пасмурный летний день. Текучие облака табунились на небе, застили солнце. Полк шел походным порядком. Ревел оркестр. Господа офицеры в летних защитных фуражках и легких кителях ехали толпой. Над ними голубел папиросный дымок.

По сторонам от проселка мужики и нарядные бабы косили траву, смотрели из-под ладони на колонны казаков.

Лошади заметно потели. В промежножьях копилась желтоватая пена, и легкий ветерок, тянувший с юго-востока, не сушил пот, а еще больше усугублял парную духоту.

На полпути, неподалеку от какой-то деревушки, к пятой

[1] Стать на лунки — поставить лошадей на подножный корм.

сотне приблудился жеребенок-стригун. Он вылетел из-за околицы, увидел плотную массу лошадей и, игогокнув, поскакал наперерез. Хвост его, еще не утративший ребяческой пушистости, относило на сторону, из-под точеных раковинок копыт вспрядывала серыми пузырями пыль и оседала на притолоченной зеленке. Он подскакал к головному взводу, дурашливо ткнулся мордой в пах вахмистрову коню. Конь вскинул задок, но ударить не решился, пожалел, видно.

— Брысь, дурак! — Вахмистр замахнулся плетью.

Казаки засмеялись, обрадованные домашним, милым видом жеребенка. Тут случилось непредвиденное: жеребенок нахально протиснулся между взводными рядами, и взвод раскололся, утратил стройную, компактную до этого форму. Лошади, понукаемые казаками, топтались в нерешительности. Теснимый ими жеребенок шел боком и норовил укусить ближнего к нему коня.

Подлетел командир сотни.

— Это что тут такое?

В том месте, где затесался несуразный стригун, бочились и всхрапывали кони, казаки, улыбаясь, хлестали его плетьми, кишмя-кишел расстроенный взвод, а сзади напирали остальные, и рядом с дорогой скакал от хвоста сотни разъяренный взводный офицер.

— Что такое? — громыхнул командир сотни, направляя коня в середину гущины.

— Жеребенок вот...

— Влез промеж нас...

— Не выгонишь дьяволенка!..

— Да ты его плетью! Чего жалеешь?

Казаки виновато улыбались, натягивали поводья, удерживая разгоряченных лошадей.

— Вахмистр! Господин сотник, что это за черт? Приведите свой взвод в порядок, этого еще недоставало!..

Командир сотни отскакал в сторону. Лошадь его оступилась и сорвалась задними ногами в придорожную канаву. Он дал ей шпоры и выскочил на ту сторону канавы, на вал, заросший лебедой и желтопенной ромашкой. Вдали остановилась группа офицеров. Войсковой старшина, запрокинув голову, тянул из фляжки, и рука его отечески ласково лежала на нарядной окованной луке.

Вахмистр разбил взвод, сквернословя выгнал жеребенка за дорогу. Взвод сомкнулся. Полтораста пар глаз глядели, как вахмистр, привстав на стременах, рысил за жеребенком, а тот то останавливался, прислоняясь гряз-

ным от присохшей коры помета боком к вахмистерскому трехвершковому коню, то снова улепетывал, настобурчив хвост, и вахмистр никак не мог достать его плетью по спине, а все попадал по метелке хвоста. Хвост опускался, сбитый плетью, и через секунду опять его лихо относило ветром.

Смеялась вся сотня. Смеялись офицеры. Даже на угрюмом лице есаула появилось кривое подобие улыбки.

В третьем ряду головного взвода ехал Митька Коршунов с Иванковым Михаилом, казаком с хутора Каргина Вешенской станицы, и усть-хоперцем Козьмой Крючковым. Мордатый, широкий в плечах Иванков молчал, Крючков, по прозвищу «Верблюд», чуть рябоватый, сутулый казак, придирался к Митьке. Крючков был «старый» казак, то есть дослуживавший последний год действительной, и по неписаным законам полка имел право, как и всякий «старый» казак, гонять молодых, вымуштровывать, за всякую пустяковину ввалить пряжек. Было установлено так: провинившемуся казаку призыва 1913 года — тринадцать пряжек, 1914 года — четырнадцать. Вахмистры и офицеры поощряли такой порядок, считая, что этим внедряется в казака понятие о почитании старших не только по чину, но и по возрасту.

Крючков, недавно получивший нашивку приказного [1], сидел в седле сутулясь, по-птичьи горбатя вислые плечи. Он щурился на серое грудастое облако, спрашивал у Митьки, подражая голосом ломовитому командиру сотни есаулу Попову:

— Э... скэжи мне, Кэршунов, как звэть нэшего кэмэндира сэтни?

Митька, не раз пробовавший пряжек за свою строптивость и непокорный характер, натянул на лицо почтительное выражение.

— Есаул Попов, господин старый казак!

— Кэк?

— Есаул Попов, господин старый казак!

— Я не прэ это спрэшиваю. Ты мне скэжи, как его кличут прэмеж нэс, кэзэков?

Иванков опасливо подмигнул Митьне, вывернул в улыбке трегубый рот. Митька оглянулся и увидел подъезжавшего сзади есаула Попова.

— Ну? Этвечай!

---

[1] Приказный — здесь: звание нижнего чина в казачьих войсках царской армии (помощник урядника, ефрейтор).

— Есаул Попов звать их, господин старый казак.
— Четырнэдцэть пряжек. Гэвэри, гад!
— Не знаю, господин старый казак!
— А вот приедем на лунки,— заговорил Крючков подлинным голосом,— я тебе всыплю! Отвечай, когда спрашивают!
— Не знаю.
— Что ж ты, сволочуга, не знаешь, как его дражнют?
Митька слышал позади осторожный воровской шаг есаульского коня, молчал.
— Ну? — Крючков зло щурился.
Позади в рядах сдержанно захохотали. Не поняв, над чем смеются, относя этот смех на свой счет, Крючков вспыхнул:
— Коршунов, ты гляди!.. Приедем — полсотни пряжек вварю!
Митька повел плечами, решился.
— Черногуз!
— Ну, то-то и оно.
— Крю-ю-учк-ов! — окликнули сзади.
Господин старый казак дрогнул на седле и вытянулся в жилу.
— Ты чтэ ж это, мерзэвэц, здесь выдумываешь? — заговорил есаул Попов, ровняя свою лошадь с лошадью Крючкова.— Ты чему ж это учишь мэлодого кээка, а?
Крючков моргал прижмуренными глазами. Щеки его заливала гуща бордового румянца. Сзади похохатывали.
— Я кэго в прошлом гэду учил? Об чью мэрду этот нэготь слэмал?..— Есаул поднес к носу Крючкова длинный заостренный нототь мизинца и пошевелил усами.— Чтэб я бэльше этого не слэшал! Пэнимэешь, брэтец ты мой?
— Так точно, ваше благородие, понимаю!
Есаул, помедлив, отъехал, придержал коня, пропуская сотню. Четвертая и пятая сотни двинулись рысью.
— Сэтня, рысь, вэзьми!..
Крючков, поправляя погонный ремень, оглянулся на отставшего есаула и, выравнивая пику, вэбалмошно махнул головой.
— Вот, с этим Черногузом! Откель он взялся?
Весь потный от смеха, Иванков рассказывал:
— Он давешь едет позади нас. Он все слыхал. Кубыть учуял, про что речь идет.
— Ты б хоть мигнул, дура.
— А мне-то нужно.
— Не нужно? Ага, четырнадцать пряжек по голой!

Сотни разбились по окрестным помещичьим усадьбам. Днем косили помещикам клевер и луговую траву, ночью на отведенных участках пасли стреноженных лошадей, при дымке костров поигрывали в карты, рассказывали сказки, дурили.

Шестая сотня батрачила у крупного польского помещика Шнейдера. Офицеры жили во флигеле, играли в карты, пьянствовали, скопом ухаживали за дочкой управляющего. Казаки разбили стан в трех верстах от усадьбы. По утрам приезжал к ним на беговых дрожках пан управляющий. Толстый, почтенный шляхтич вставал с дрожек, разминая затекшие жирные ноги, и неизменно приветствовал «козаков» помахиваньем белого, с лакированным козырьком, картуза.

— Иди с нами косить, пан!

— Жир иди растряси трошки!

— Бери косу, а то паралик захлестнет!..— кричали из белорубашных шеренг казаков.

Пан очень хладнокровно улыбался, вытирая каемчатым платком закатную розовость лысины, и шел с вахмистром отводить новые участки покосной травы.

В полдень приезжала кухня. Казаки умывались, шли за едой.

Ели молча, зато уж в послеобеденный получасовой отдых наверстывались разговоры.

— Трава тут поганая. Супротив нашей степовой не выйдет.

— Пырею почти нету.

— Наши в Донщине теперь уж откосились.

— Скоро и мы прикончим. Вчерась рождение месяца, дождь обмывать будет.

— Скупой поляк. За труды хучь бы по бутылке на гаврика пожаловал.

— Ого-го-го! Он за бутылку в алтаре...

— Во, братушки, что б это обозначало: чем богаче — тем скупее?

— Это у царя спроси.

— А дочерю помещикову кто видал?

— А что?

— Мя-а-сис-тая девка!

— Баранинка?

— Во-во...

— С сырцом ба ее хрумкнул...

— Правда ай нет, гутарют, что за нее из царского роду сваталися?

— Простому рази такой шматок достанется?

— Ребя, надысь слыхал брехню, будто высочайшая смотра нам будет.

— Коту делать нечего, так он...

— Ну, ты брось, Тарас!

— Дай дымнуть, а!

— Чужбинник, дьявол, с длинной рукой — под церкву!

— Гля, служивые, у Федотки и плям[1] хорош, а куру нету.

— Одна пепла осталась.

— Тю, брат, разуй гляделки, там огню, как у доброй бабы!

Лежали на животах. Курили. До красноты жгли оголенные спины. В сторонке человек пять старых казаков допытывались у одного из молодых:

— Ты какой станицы?

— Еланской.

— Из козлов, значится?

— Так точно.

— А на чем у вас там соль возют?

Неподалеку на попонке лежал Крючков Козьма, скучал, наматывал на палец жидкую поросль усов.

— На конях.

— А ишо на чем?

— На быках.

— Ну, а тарань с Крыму везут на чем? Знаешь, такие быки есть, с кочками на спине, колючки жрут: как их звать-то?

— Верблюды.

— Огхо-хо-ха-ха!..

Крючков лениво подымался, шел к проштрафившемуся, по-верблюжьи сутулясь, вытягивая кадыкастую шафранно-смуглую шею, на ходу снимал пояс.

— Ложись!

А вечерами в опаловой июньской темени в поле у огня:

Поехал казак на чужбину далеку
На добром своем коне вороном,
Свою он краину навеки покинул...

Убивается серебряный тенорок, и басы стелют бархатную густую печаль:

Ему не вернуться в отеческий дом.

---

[1] Плямкать — чмокать.

Тенор берет ступенчатую высоту, хватает за самое оголенное:

Напрасно казачка его молодая
Все утро и вечер на север смотрит.
Все ждет она, поджидает — с далекого края
Когда ж ее милый казак-душа прилетит.

И многие голоса хлопочут над песней. Оттого и густа она и хмельна, как полесская брага.

А там за горами, где вьются метели,
Зимою морозы лютые трещат,
Где сдвинулись грозно и сосны и ели,
Казачьи кости под снегом лежат.

Рассказывают голоса нехитрую повесть казачьей жизни, и тенор-подголосок трепещет жаворонком над апрельской талой землей:

Казак, умирая, просил и молил
Насыпать курган ему большой в головах.

Вместе с ним тоскуют басы:

Пущай на том на кургане калина родная
Растет и красуется в ярких цветах.

У другого огня — реже народу и песня иная:

Ах, с моря буйного да с Азовского
Корабли на Дон плывут.
Возвертается домой
Атаман молодой.

У третьего, поодаль, огня, покашливая от дыма, вяжет сотенный краснобай замысловатые петли сказки. Слушают с неослабным вниманием, изредка лишь, когда герой рассказа особенно ловко выворачивается из каверз, подстроенных ему москалями и нечистой силой, в полосе огня мелькает чья-нибудь ладонь, шлепнет по голенищу сапога, продымленный, перхающий голос воскликнет восхищенно:

— Ах, язви-разъязви, вот здорово!

И снова — текучий, бесперебойный голос рассказчика...

...Через неделю после того как полк пришел на лунки, есаул Попов позвал сотенного коваля и вахмистра.

— Кэк кони? — к вахмистру.

— Ничего, ваше благородие, очень приятно даже. Жолобки на спинах посравняли. Поправляются.

Есаул в стрелку ссучил черный ус (отсюда и прозвище — Черногуз), сказал:

— Прикэз от кэмэндира пэлка пэлудить стремена и удила. Будет вэсэчэйший смэтр пэлку. Чтэбы все было

с блэскэм: чтэ седлицо, чтэ все эстальное. Чтэфы на кэзэков было любо, мило-дэрэго глянуть. Кэгда, брэтец ты мой, будет гэтово?

Вахмистр глянул на коваля. Коваль глянул на вахмистра. Оба глянули на есаула.

Вахмистр сказал:

— Либо что к воскресенью, ваше благородие? — И почтительно тронул пальцем собственный заплесневелый в табачной зелени ус.

— Смэтри у меня! — грозно предупредил есаул.

С тем и ушли вахмистр с ковалем.

С этого дня начались приготовления к высочайшему смотру. Иванков Михаил, сын каргинского коваля,— сам знающий коваль,— помогал лудить стремена и удила, остальные сверх нормы скребли коней, чистили уздечки, терли битым кирпичом трензеля и металлические части конского убора.

Через неделю полк блестел свеженьким двугривенным. Лоснилось глянцем все, от конских копыт до лиц казаков. В субботу командир полка полковник Греков смотрел полк и благодарил господ офицеров и казаков за ретивую подготовку и бравый вид.

Разматывалась голубая пряжа июльских дней. Добрели от сытых кормов казачьи кони, лишь казаки сумятились, червоточили их догадки; ни слуху ни духу про высочайший смотр... Неделя шла в коловертных разговорах, гоньбе, подготовке. Бревном по голове приказ — выступать в Вильно.

К вечеру были там. По сотням второй приказ: убирать в цехгауз сундуки с казачьим добром и приготовиться к возможному выступлению.

— Ваше благородие, к чему ба это? — изнывали казаки, выпытывая у взводных офицеров истину.

Офицеры плечиками вздергивали. Сами за правду алтын бы заплатили.

— Не знаю.

— Маневры в присутствии государя будут?

— Неизвестно пока.

Вот офицерские ответы казакам на усладу. Девятнадцатого июля вестовой полкового командира перед вечером успел шепнуть приятелю, казаку шестой сотни Мрыхину, дневалившему на конюшне:

— Война, дядя!

— Брешешь?!.

— Истинный бог. А ты цыц!

Наутро полк выстроили дивизионным порядком. Окна

казарм тускло поблескивали пыльным разбрызгом стекол. Полк в конном строю ждал командира.

Перед шестой сотней — на подбористом коне есаул Попов. Левой рукой в белой перчатке натягивает поводья. Конь бочит голову, изогнув колесистую шею, чешет морду о связку грудных мускулов.

Полковник вывернулся из-за угла казарменного корпуса, боком поставил лошадь перед строй. Адъютант достал платок, изящно топыря холеный мизинец, но высморкаться не успел. В напряженную тишину полковник кинул:

— Казаки!..— и властно загреб к себе общее внимание.

«Вот оно»,— подумал каждый. Пружинилось нетерпеливое волнение. Митька Коршунов досадливо толкнул каблуком своего коня, переступавшего с ноги на ногу. Рядом с ним в строю в крепкой посадке обмер Иванков, слушал, зевласто раскрыв трегубый рот с исчернью неровных зубов. За ним жмурился, горбатясь, Крючков, еще дальше — по-лошадиному стриг хрящами ушей Лапин, за ним виднелся рубчато выбритый кадык Щеголькова.

— ...Германия нам объявила войну.

По выровненным рядам — шелест, будто по полю вызревшего чернобылого ячменя прошлась, гуляя, ветровая волна. Вскриком резнуло слух конское ржанье. Округленные глаза и квадратная чернота раскрытых ртов — в сторону первой сотни; там, на левом фланге, заржал конь.

Полковник говорил еще. Расстанавливая в необходимом порядке слова, пытался подпалить чувство национальной гордости, но перед глазами тысячи казаков — не шелк чужих знамен, шурша, клонился к ногам, а свое буднее, кровное, разметавшись, кликало, голосило: жены, дети, любушки, неубранные хлеба, осиротелые хутора, станицы...

«Через два часа погрузка в эшелоны». Единственное, что ворвалось в память каждому.

Толпившиеся неподалеку жены офицеров плакали в платочки, к казарме ватагами разъезжались казаки. Сотник Хопров почти на руках нес свою белокурую беременную польку-жену.

К вокзалу полк шел с песнями. Заглушили оркестр, и на полпути он конфузливо умолк. Офицерские жены ехали на извозчиках, по тротуарам пенилась цветная толпа, щебнистую пыль сеяли конские копыта, и, насмехаясь над своим и чужим горем, дергая левым плечом так, что лихорадочно ежился синий погон, кидал песенник-запевала охальные слова похабной казачьей:

Девица красная, щуку я поймала...

Сотня, нарочно сливая слова, под аккомпанемент свежекованных лошадиных копыт, несла к вокзалу, к красным вагонным куреням лишенько свое — песню:

Щуку я, щуку я, щуку я поймала.
Девица красная, уху я варила.
Уху я, уху я, уху я варила.

От хвоста сотни, весь багровый от смеха и смущения, скакал к песенникам полковой адъютант. Запевала, наотлет занося, бросал поводья, цинично подмигивал в густые на тротуарах толпы провожавших казаков женщин, и по жженой бронзе его щек к черным усикам стекал горький полынный настой, а не пот.

Девица красная, сваху я кормила...
Сваху я, сваху я, сваху я кормила...

На путях предостерегающе трезво ревел, набирая пары, паровоз.

* * *

Эшелоны... Эшелоны... Эшелоны... Эшелоны несчетно!

По артериям страны, по железным путям к западной границе гонит взбаламученная Россия серошинельную кровь.

VIII

В местечке Торжок полк разбили по сотням. Шестая сотня, на основании приказа штаба дивизии, была послана в распоряжение Третьего армейского пехотного корпуса и, пройдя походным порядком до местечка Пеликалие, выставила посты.

Граница еще охранялась нашими пограничными частями. Подтягивались пехотные части и артиллерия. К вечеру двадцать четвертого июля в местечко прибыли батальон 108-го Глебовского полка и батарея. В близлежащем фольварке Александровском находился пост из девяти казаков под начальством взводного урядника.

В ночь на двадцать седьмое есаул Попов вызвал к себе вахмистра и казака Астахова.

Астахов вернулся к взводу уже затемно. Митька Коршунов только что привел с водопоя коня.

— Это ты, Астахов? — окликнул он.

— Я. А Крючков с ребятами где?

— Там, в халупе.

Астахов, большой, грузноватый и черный казак, подслепо жмурясь, вошел в халупу. За столом у лампы-коптюшки Щегольков сшивал дратвой порванный чумбур. Крючков, заложив руки за спину, стоял у печи, подмигивал Иванкову, указывая на оплывшего в водянке хозяина-поляка, лежавшего на кровати. Они только что пересмеялись, и у Иванкова еще дергал розовые щеки смешок.

— Завтра, ребята, чуть свет выезжать на пост.

— Куда? — спросил Щегольков и, заглядевшись, уронил не всученную в дратву щетинку.

— В местечко Любов.

— Кто поедет? — спросил Митька Коршунов, входя и ставя у порога цибарку.

— Поедут со мной Щегольков, Крючков, Рвачев, Попов и ты, Иванков.

— А я, Павлыч?

— Ты, Митрий, останешься.

— Ну, и черт с вами!

Крючков оторвался от печки; с хрустом потягиваясь, спросил у хозяина:

— Сколько до Любови до этой верст кладут?

— Четыре мили.

— Тут близко,— сказал Астахов и, присаживаясь на лавку, снял сапог.— А где тут портянку высушить?

Выехали на заре. У колодца на выезде босая девка черпала бадьей воду. Крючков приостановил коня.

— Дай напиться, любушка!

Девка, придерживая рукой холстинную юбку, прошлепала по луже розовыми ногами; улыбаясь серыми, в густой опуши ресниц, глазами, подала бадью. Крючков пил, рука его, державшая на весу тяжелую бадью, дрожала от напряжения; на красную лампасину шлепали, дробясь и стекая, капли.

— Спаси Христос, сероглазая!

— Богу Иисусу.

Она приняла бадью и отошла, оглядываясь, улыбаясь.

— Ты чего скалишься, поедем со мной! — Крючков посунулся на седле, словно место уступал.

— Трогай! — крикнул, отъезжая, Астахов.

Рвачев насмешливо скосился на Крючкова:

— Загляделся?

— У ней ноги красные, как у гулюшки,— засмеялся Крючков, и все, как по команде, оглянулись.

Девка нагнулась над срубом, выставив туго обтянутый раздвоенный зад, раскорячив красноикрые полные ноги.

— Жениться ба...— вздохнул Попов.

— Дай я те плеткой оженю разок,— предложил Астахов.

— Плеткой что...

— Жеребцуешь?

— Выложить его придется!

— Мы ему перекрут, как бугаю, сделаем.

Пересмеиваясь, казаки пошли рысью. С ближнего холма завиднелось раскинутое в ложбине и по изволоку местечко Любов. За спинами из-за холма вставало солнце. В стороне над чашечкой телеграфного столба надсаживался жаворонок.

Астахов — как только что окончивший учебную команду — был назначен начальником поста. Он выбрал место стоянки в последнем дворе, стоявшем на отшибе, в сторону границы. Хозяин — бритый кривоногий поляк в белой войлочной шляпе — отвел казаков в стодол, указал, где поставить лошадей. За стодолом, за реденьким пряслом зеленела деляна клевера. Взгорье горбилось до ближнего леса, дальше белесились хлеба, перерезанные дорогой, и опять зеленые глянцевые ломти клевера. За стодолом у канавки дежурили поочередно, с биноклем. Остальные лежали в прохладном стодоле. Пахло там слежавшимся хлебом, пылью мякины, мышиным пометом и сладким плесневелым душком земляной ржавчины.

Иванков, примостившись в темном углу у плуга, спал до вечера. Его разбудили на закате солнца. Крючков, в щепоть захватив кожу у него на шее, оттягивал ее, приговаривая:

— Разъелся на казенных харчах, нажрал калкан, ишь! Вставай, ляда, иди немцев карауль!

— Не дури, Козьма!

— Вставай!

— Ну, брось! Ну, не дури... я зараз встану.

Он поднялся, опухший, красный. Покрутил котельчатой короткошеей головой, надежно приделанной к широким плечам, чмыкая носом (простыл, лежа на сырой земле), перевязал патронташ и волоком потянул за собой к выходу винтовку. Сменил Щеголькова и, приладив бинокль, долго глядел на северо-запад, к лесу.

Там бугрился под ветром белесый размет хлебов, на зеленый мысок ольхового леса низвергался рудой поток закатного солнца. За местечком в речушке (лежала она голубой нарядной дугой) кричали купающиеся ребятишки. Женский контральтовый голос звал: «Стасю! Ста-а-асю! идзь до мне!» Щегольков свернул покурить, сказал, уходя:

— Закат вон как погорел. К ветру.

— К ветру,— согласился Иванков.

Ночью кони стояли расседланные. В местечке гасли огни и шумок. На следующий день утром Крючков вызвал Иванкова из стодола.

— Пойдем в местечко.

— Чего?

— Пожрем чего-нибудь, выпьем.

— Навряд,— усомнился Иванков.

— Я тебе говорю. Я спрашивал хозяина. Вон в энтой халупе, видишь, вон сарай черепичный? — Крючков указал черным ногтистым пальцем.— Там у шинкаря пиво есть, пойдем?

Пошли. Их окликнул выглянувший из дверей стодола Астахов.

— Вы куда?

Крючков, чином старший Астахова, отмахнулся.

— Зараз придем.

— Вернитесь, ребята!

— Не гавкай!

Старый, пейсатый, с вывернутым веком еврей встретил казаков поклонами.

— Пиво есть?

— Уже нет, господин ко́зак.

— Мы за деньги.

— Езус-Мария, да разве я... Ах, господин ко́зак, верьте честному еврею, нет пива!

— Брешешь ты, жид!

— Та, пан ко́зак! Я уже говорю.

— Ты вот чего...— досадливо перебил Крючков и полез в карман шароваров за потертым кошельком.— Ты дай нам, а то ругаться зачну!

Еврей мизинцем прижал к ладони монету, опустил вывернутое трубочкой веко и пошел в сени.

Спустя минуту принес влажную, с ячменной шелухой на стенках, бутылку водки.

— А говорил — нету. Эх ты, папаша!

— Я говорил — пива нету.

— Закусить-то дай чего-нибудь.

Крючков шлепком высадил пробку, налил чашку вровень с выщербленными краями.

Вышли полупьяные. Крючков приплясывал и грозил кулаком в окна, зиявшие черными провалами глаз.

В стодоле зевал Астахов. За стенкой мокро хрустели сеном кони.

Вечером уехал с донесением Попов. День разменяли в безделье.

Вечер. Ночь. Над местечком в выси — желтый месяц.

Изредка в саду за домом упадет с яблони вызревший плод. Слышен мокрый шлепок. Около полуночи Иванков услышал конский топот по улице местечка. Вылез из канавы, вглядываясь, но на месяц легло облако; ничего не видно за серой непроглядью.

Он растолкал спавшего у входа в стодол Крючкова.

— Козьма, конные идут! Встань-ка!

— Откуда?

— По местечку.

Вышли. По улице, саженях в пятидесяти, хрушко чечекал копытный говор.

— Побегем в сад. Оттель слышнее.

Мимо дома — рысью в садок. Залегли под плетнем. Глухой говор. Звяк стремян. Скрип седел. Ближе. Видны смутные очертания всадников.

Едут по четыре в ряд.

— Кто едет?

— А тебе кого надо? — откликнулся тенорок из передних рядов.

— Кто едет? Стрелять буду! — Крючков клацнул затвором.

— Тррр,— остановил лошадь один и подъехал к плетню.— Это пограничный отряд. Пост, что ли?

— Пост.

— Какого полка?

— Третьего казачьего.

— С кем это ты там, Тришин? — спросили из темноты.

Подъехавший отозвался:

— Это казачий пост, ваше благородие.

К плетню подъехал еще один.

— Здорово, казаки!

— Здравствуйте,— не сразу откликнулся Иванков.

— Давно вы тут?

— Со вчерашнего дня.

Второй подъехавший зажег спичку, закуривая, и Крючков увидел офицера в форме пограничника.

— Наш пограничный полк сняли с границы,— заговорил офицер, пыхая папироской.— Имейте в виду, что вы теперь — лобовые. Противник завтра, пожалуй, продвинется сюда.

— Вы куда же едете, ваше благородие? — спросил Крючков, не снимая пальца со спуска.

— Мы должны в двух верстах отсюда присоединиться к нашему эскадрону. Ну, трогай, ребята! Всего хорошего, казачки!

— Час добрый.

Ветер сорвал с месяца завесу тучи, и на местечко, на купы садов, на шишкастую верхушку стодола, на отряд, выезжавший на взгорье, потек желтый мертвенный свет.

Утром уехал с донесением в сотню Рвачев. Астахов переговорил с хозяином, и тот, за небольшую плату, разрешил скосить лошадям клевера. С ночи лошади стояли оседланные. Казаков пугало то, что они остались лицом к лицу с противником. Раньше, когда знали, что впереди пограничная стража, не было этого чувства оторванности и одиночества; тем сильнее сказалось оно после известия о том, что граница обнажена.

Хозяйская пашня была неподалеку от стодола. Астахов назначил косить Иванкова и Щеголькова. Хозяин, под белым лопухом войлочной шляпы, повел их к своей деляне. Щегольков косил, Иванков сгребал влажную тяжелую траву и увязывал ее в фуражирки. В это время Астахов, наблюдавший в бинокль за дорогой, манившей к границе, увидел бежавшего по полю с юго-западной стороны мальчишку. Тот бурым неслинявшим зайцем катился с пригорка и еще издали что-то кричал, махая длинными рукавами пиджака. Подбежал и, глотая воздух, поводя округленными глазами, крикнул:

— Ко́зак, ко́зак, пшишел герман! Герман пшишел оттонд.

Он протянул хоботок длинного рукава, и Астахов, припавший к биноклю, увидел в окружье стекол далекую густую группу конных. Не отдирая от глаз бинокля, зыкнул:

— Крючков!

Тот выскочил из косых дверей стодола, оглядываясь.

— Беги, ребят кличь! Немцы! Немецкий разъезд!

Он слышал топот бежавшего Крючкова и теперь уже ясно видел в бинокль плывущую за рыжеватой полосой травы кучку всадников.

Он различал даже гнедую масть их лошадей и темносинюю окраску мундиров. Их было больше двадцати человек. Ехали они, тесно скучившись, в беспорядке; ехали с юго-западной стороны, в то время как наблюдатель ждал их с северо-запада. Они пересекли дорогу и пошли наискось по гребню над котловиной, в которой разметалось местечко Любов.

Высунув из морщиненных губ кутец прикушенного языка, сопя от напряжения, Иванков затягивал в фуражирку ворох травья. Рядом с ним, посасывая трубочку, стоял колченогий хозяин-поляк. Он сунул руки за пояс, из-под полей шляпы, насупясь, оглядывал косившего Щеголькова.

— Рази это коса? — ругался тот, злобно взмахивая игрушечно-маленькой косой.— Косишь ей?

— Ко́сю,— ответил поляк, заплетая языком за обгрызанный мундштук, и выпростал один палец из-за пояса.

— Этой твоей косой у бабы на причинном месте косить!

— Угу-м,— согласился поляк.

Иванков прыснул. Он хотел что-то сказать, но, оглянувшись, увидел бежавшего по пашне Крючкова. Тот бежал, приподняв рукой шашку, вихляя ногами по кочковатой пахоте.

— Бросайте!

— Чего ишо? — спросил Щегольков, втыкая косу острием в землю.

— Немцы!

Иванков выронил фуражирку. Хозяин, пригибаясь, почти цепляя руками землю, словно над ним взыкали пули, побежал к дому.

Только что добрались до стодола и, запыхавшись, вскочили на коней,— увидели роту русских солдат, втекавшую со стороны Пеликалие в местечко. Казаки поскакали навстречу Астахов доложил командиру роты, что по бугру, огибая местечко, идет немецкий разъезд. Капитан строго оглядел носки своих сапог, присыпанные пыльным инеем, спросил:

— Сколько их?

— Больше двадцати человек.

— Езжайте им наперерез, а мы отсюда их обстреляем.— Он повернулся к роте, скомандовал построение и быстрым маршем повел солдат.

Когда казаки выскочили на бугор, немцы, уже опередив их, шли рысью, пересекая дорогу на Пеликалие. Впереди выделялся офицер на светло-рыжем куцехвостом коне.

— Вдогон! Мы их нагоним на второй пост! — скомандовал Астахов.

Приставший к ним в местечке конный пограничник отстал.

— Ты чего же? Отломил, брат? — оборачиваясь, крикнул Астахов.

Пограничник махнул рукой, шагом стал съезжать в местечко. Казаки шли шибкой рысью. Даже невооружен-

ным глазом ясно стало видно синюю форму немецких драгун. Они ехали куцей рысью по направлению на второй пост, стоявший в фольварке верстах в трех от местечка, и оглядывались на казаков. Расстояние, разделявшее их, заметно сокращалось.

— Обстреляем! — хрипнул Астахов, прыгая с седла.

Стоя, намотав на руки поводья, дали залп. Лошадь Иванкова стала вдыбки, повалила хозяина. Падая, он видел, как один из немцев валился с лошади: вначале лениво клонился набок и вдруг, кинув руками, упал. Немцы, не останавливаясь, не вынимая из чехлов карабинов, поскакали, переходя в намет. Рассыпались реже. Ветер крутил матерчатые флюгерки на их пиках. Астахов первым вскочил на коня. Налегли на плети. Немецкий разъезд под острым углом повернул влево, и казаки, преследуя их, проскакали саженях в сорока от упавшего немца. Дальше шла холмистая местность, изрезанная неглубокими ложбинами, изморщиненная зубчатыми ярками. Как только немцы поднимались из ложбины на ту сторону,— казаки спешивались и выпускали им вслед по обойме. Против второго поста свалили еще одного.

— Упал! — крикнул Крючков, занося ногу в стремя.

— Из фольварка зараз наши!.. Тут второй пост...— бормотнул Астахов, загоняя обкуренным желтым пальцем в магазинную коробку новую обойму.

Немцы перешли на ровную рысь. Проезжая, поглядывали на фольварк. Но двор был пустынен, черепичные крыши построек ненасытно лизало солнце. Астахов выстрелил с коня. Чуть приотставший задний немец мотнул головой и дал лошади шпоры.

Уже после выяснилось: казаки ушли со второго поста этой ночью, узнав, что телеграфные провода в полуверсте от фольварка перерезаны.

— На первый пост погоним! — крикнул, поворачиваясь к остальным, Астахов.

И тут только Иванков заметил, что у Астахова шелушится нос, тонкая шкурка висит на ноздрине.

— Чего они не обороняются? — тоскливо спросил он, поправляя за спиной винтовку.

— Погоди ишо...— кинул Щегольков, дыша, как запаленная лошадь.

Немцы спустились в первую ложбину не оглядываясь. По ту сторону чернела пахота, с этой стороны щетинился бурьянок и редкий кустарник. Астахов остановил коня, сдвинул фуражку, вытер тыльной стороной ладони зерни-

стый пот. Оглядел остальных; сплюнув комок слюны, сказал:

— Иванков, езжай к котловине, глянь, где они.

Иванков, кирпично-красный, с мокрой от пота спиной, жадно облизал зачерствелые губы, поехал.

— Курнуть бы,— шепотом сказал Крючков, отгоняя плетью овода.

Иванков ехал шагом, приподнимаясь на стременах, заглядывая в низ котловины. Сначала он увидел колышущиеся кончики пик, потом внезапно показались немцы, повернувшие лошадей, шедшие из-под склона котловины в атаку. Впереди, картинно подняв палаш, скакал офицер. За момент, когда поворачивал коня, Иванков запечатлел в памяти безусое нахмуренное лицо офицера, статную его посадку. Градом по сердцу — топот немецких коней. Спиной до боли ощутил Иванков щиплющий холодок смерти. Он крутнул коня и молча поскакал назад.

Астахов не успел сложить кисет, сунул его мимо кармана.

Крючков, увидев за спиной Иванкова немцев, поскакал первый. Правофланговые немцы шли Иванкову наперерез. Настигали его с диковинной быстротой. Он хлестал коня плетью, оглядывался. Кривые судороги сводили ему посеревшее лицо, выдавливали из орбит глаза. Впереди, припав к луке, скакал Астахов. За Крючковым и Щегольковым вихрилась бурая пыль.

«Вот! Вот! Догонит!» — стыла мысль, и Иванков не думал об обороне; сжимая в комок свое большое полное тело, головой касался холки коня.

Его догнал рослый рыжеватый немец. Пикой пырнул его в спину. Острие, пронизав ременный пояс, наискось на полвершка вошло в тело.

— Братцы, вертайтесь!..— обезумев, крикнул Иванков и выдернул из ножен шашку. Он отвел второй удар, направленный ему в бок, и, привстав, рубнул по спине скакавшего с левой стороны немца. Его окружили. Рослый немецкий конь грудью ударился о бок его коня, чуть не сшиб с ног, и близко, в упор, увидел Иванков страшную муть чужого лица.

Первый подскакал Астахов. Его оттерли в сторону. Он отмахивался шашкой, вьюном вертелся в седле, оскаленный, изменившийся в лице, как мертвец. Иванкова концом палаша полоснули по шее. С левой стороны над ним вырос драгун, и блекло в глазах метнулся на взлете разящий палаш, Иванков подставил шашку; сталь о сталь брызнула

визгом. Сзади пикой поддели ему погонный ремень, настойчиво срывали его с плеча. За вскинутой головой коня маячило потное, разгоряченное лицо веснушчатого немолодого немца. Дрожа отвисшей челюстью, немец бестолково ширял палашом, норовя попасть Иванкову в грудь. Палаш не доставал, и немец, кинув его, рвал из пристроченного к седлу желтого чехла карабин, не спуская с Иванкова часто мигающих, напуганных коричневых глаз. Он не успел вытащить карабин, через лошадь его достал пикой Крючков, и немец, разрывая на груди темно-синий мундир, запрокидываясь назад, испуганно-удивленно ахнул.

— Майн готт!

В стороне человек восемь драгун окружили Крючкова. Его хотели взять живьем, но он, подняв на дыбы коня, вихляясь всем телом, отбивался шашкой до тех пор, пока ее не выбили. Выхватив у ближнего немца пику, он развернул ее, как на ученье.

Отхлынувшие немцы щепили ее палашами. Возле небольшого клина суглинистой невеселой пахоты грудились, перекипали, колыхаясь в схватке, как под ветром. Озверев от страха, казаки и немцы кололи и рубили по чем попало: по спинам, по рукам, по лошадям и оружию... Обеспамятевшие от смертного ужаса лошади налетали и бестолково сшибались. Овладев собой, Иванков несколько раз пытался поразить наседавшего на него длиннолицего белесого драгуна в голову, но шашка падала на стальные боковые пластинки каски, соскальзывала.

Астахов прорвал кольцо и выскочил, истекая кровью. За ним погнался немецкий офицер. Почти в упор убил его Астахов выстрелом, сорвав с плеча винтовку. Это и послужило переломным моментом в схватке. Немцы, все израненные нелепыми ударами,— потеряв офицера, рассыпались, отошли. Их не преследовали. По ним не стреляли вслед. Казаки поскакали напрямки к местечку Пеликалие, к сотне; немцы, подняв упавшего с седла раненого товарища, уходили к границе.

Отскакав с полверсты, Иванков зашатался.

— Я все... Я падаю! — он остановил коня, но Астахов дернул поводья.

— Ходу!

Крючков размазывал по лицу кровь, щупал грудь. На гимнастерке рдяно мокрели пятна.

От фольварка, где находился второй пост, разбились надвое.

— Направо ехать,— сказал Астахов, указывая на сказочно зеленевшее за двором болото в ольшанике.

— Нет, налево! — упрямился Крючков.

Разъехались. Астахов с Иванковым приехали в местечко позже. У околицы их ждали казаки своей сотни.

Иванков кинул поводья, прыгнул с седла и, закачавшись, упал. Из закаменевшей руки его с трудом вынули шашку.

Спустя час почти вся сотня выехала на место, где был убит германский офицер. Казаки сняли с него обувь, одежду и оружие, толпились, рассматривая молодое, нахмуренное, уже пожелтевшее лицо убитого. Устьхоперец Тарасов успел снять с убитого часы с серебряной решеткой и тут же продал их взводному уряднику. В бумажнике нашли немного денег, письмо, локон белокурых волос в конверте и фотографию девушки с надменным улыбающимся ртом.

IX

Из этого после сделали подвиг. Крючков, любимец командира сотни, по его реляции получил Георгия. Товарищи его остались в тени. Героя отослали в штаб дивизии, где он слонялся до конца войны, получив остальные три креста за то, что из Петрограда и Москвы на него приезжали смотреть влиятельные дамы и господа офицеры. Дамы ахали, дамы угощали донского казака дорогими папиросами и сладостями, он вначале порол их тысячным матом, а после, под благотворным влиянием штабных подхалимов в офицерских погонах, сделал из этого доходную профессию: рассказывая о «подвиге», сгущая краски до черноты, врал без зазрения совести, и дамы восторгались, с восхищением смотрели на рябоватое разбойницкое лицо казака-героя. Всем было хорошо и приятно.

Приезжал в ставку царь, и Крючкова возили ему на показ. Рыжеватый сонный император осмотрел Крючкова, как лошадь, поморгал кислыми сумчатыми веками, потрепал его по плечу.

— Молодец казак! — и повернувшись к свите: — Дайте мне сельтерской воды.

Чубатая голова Крючкова не сходила со страниц газет и журналов. Были папиросы с портретом Крючкова. Нижегородское купечество поднесло ему золотое оружие.

Мундир, снятый с германского офицера, убитого Астаховым, прикрепили к фанерной широкой доске, и генерал

фон Ренненкампф, посадив в автомобиль Иванкова и адъютанта с этой доской, ездил перед строем уходивших на передовые позиции войск, произносил зажигательно-казенные речи.

А было так: столкнулись на поле смерти люди, еще не успевшие наломать рук на уничтожении себе подобных, в объявшем их животном ужасе натыкались, сшибались, наносили слепые удары, уродовали себя и лошадей и разбежались, вспугнутые выстрелом, убившим человека, разъехались нравственно искалеченные.

Это назвали подвигом.

X

Фронт еще не улегся многоверстной неподатливой гадюкой. На границе вспыхивали кавалерийские стычки и бои. В первые дни после объявления войны германское командование выпустило щупальца — сильные кавалерийские разъезды, которые тревожили наши части, скользя мимо постов, выведывая расположение и численность войсковых частей. Перед фронтом 8-й армии Брусилова шла 12-я кавалерийская дивизия под командой генерала Каледина. Левее, перевалив австрийскую границу, продвигалась 11-я кавалерийская дивизия. Части ее, с боем забрав Лешнюв и Броды, топтались на месте,— к австрийцам подвалило подкрепление, и венгерская кавалерия с наскоку шла на нашу конницу, тревожа ее и тесня к Бродам.

Григорий Мелехов после боя под городом Лешнювом тяжело переламывал в себе нудную нутряную боль. Он заметно исхудал, сдал в весе, часто в походах и на отдыхе, во сне и в дреме чудился ему австриец, тот, которого срубил у решетки. Необычно часто переживал он во сне ту первую схватку, и даже во сне, отягощенный воспоминаниями, ощущал он конвульсию своей правой руки, зажавшей древко пики; просыпаясь и очнувшись, гнал от себя сон, заслонял ладонью до боли зажмуренные глаза.

Вызревшие хлеба топтала конница, на полях легли следы острошипых подков, будто град пробарабанил по всей Галиции. Тяжелые солдатские сапоги трамбовали дороги, щебнили шоссе, взмешивали августовскую грязь.

Там, где шли бои, хмурое лицо земли оспой взрыли снаряды: ржавели в ней, тоскуя по человеческой крови, осколки чугуна и стали. По ночам за горизонтом тянулись к небу рукастые алые зарева, зарницами полыхали де-

ревни, местечки, городки. В августе — когда вызревают плоды и доспевают хлеба,— небо неулыбчиво серело, редкие погожие дни томили парной жарой.

К исходу клонился август. В садах жирно желтел лист, от черенка наливался предсмертным багрянцем, и издали похоже было, что деревья — в рваных ранах и кровоточат рудой древесной кровью.

Григорий с интересом наблюдал за изменениями, происходившими с товарищами по сотне. Прохор Зыков, только что вернувшийся из лазарета, с рубцеватым следом кованного копыта на щеке, еще таил в углах губ боль и недоумение, чаще моргал ласковыми телячьими глазами; Егорка Жарков при всяком случае ругался тяжкими непристойными ругательствами, похабничал больше, чем раньше, и клял все на свете; одпохуторянин Григория Емельян Грошев, серьезный и деловитый казак, весь как-то обуглился, почернел, нелепо похахакивал, смех его был непроизволен, угрюм. Перемены вершились на каждом лице, каждый по-своему вынашивал в себе и растил семена, посеянные войной.

Полк, выведенный с линии боев, стоял на трехдневном отдыхе, пополняемый прибывшим с Дона подкреплением. Сотня только что собралась идти на купанье к помещичьему пруду, когда со станции, расположенной в трех верстах от имения, выехал крупный отряд конницы.

Пока казаки четвертой сотни дошли до плотины, отряд, выехавший со станции, спустился под изволок, и теперь ясно стало видно, что конница — казаки. Прохор Зыков, выгибаясь, снимал на плотине гимнастерку; выпростав голову, вгляделся:

— Наши, донские.

Григорий, жмурясь, глядел на колонну, сползавшую в имение.

— Маршевые пошли.

— К нам, небось, пополнение.

— Должно, вторую очередь подбирают.

— Гля-кось, ребята? Да ить это Степан Астахов? Вон, в третьем ряду! — воскликнул Грошев и коротко, скрипуче хахакнул.

— Подбирают и ихнего брата.

— А вон Аникушка!

— Гришка! Мелехов! Брат, вот он. Угадал?

— Угадал.

— Магарыч с тебя, шатун, я первый угадал.

Собрав на скулах рытвинки морщин, Григорий вгляды-

вался, стараясь узнать под Петром коня. «Нового купили», — подумал и перевел взгляд на лицо брата, странно измененное давностью последнего свидания, загорелое, с подрезанными усами пшеничного цвета и обожженными солнцем серебристыми бровями. Григорий пошел ему навстречу, сняв фуражку, помахивая рукой, как на ученье. За ним с плотины хлынули полураздетые казаки, обминая ломкую поросль пустотволого купыря и застарелый лопушатник.

Маршевая сотня шла, огибая сад, в имение, где расположился полк. Вел ее есаул, пожилой и плотный, со свежевыбритой головой, с деревянно твердыми загибами властного бритого рта.

«Хрипатый, должно, и злой», — подумал Григорий, улыбаясь брату и оглядывая мельком крепко подогнанную фигуру есаула, горбоносого коня под ним, калмыцкой, видно, породы.

— Сотня! — звякнул есаул чистым наставленным голосом. — Взводными колоннами, левое плечо вперед, марш!

— Здорово, братуха! — крикнул Григорий, улыбаясь Петру, радостно волнуясь.

— Слава богу. К вам вот. Ну, как?

— Ничего.

— Живой?

— Покуда.

— Поклон от наших.

— Как там они?

— Здравствуют.

Петро, опираясь ладонью о круп бледно-рыжей масти коня, всем корпусом поворачивался назад, скользил улыбчивыми глазами по Григорию, объезжал дальше — его заслоняли пропыленные спины других, знакомых и незнакомых.

— Здорово, Мелехов! Поклон от хутора.

— И ты к нам? — скалился Григорий, узнав Мишку Кошевого по золотой глыбе чуба.

— К вам. Мы как куры на просо.

— Наклюешься! Скорей тебе наклюют.

— Но-но!

От плотины в одной рубахе чикилял на одной ноге Егорка Жарков. Он кособочился, растопыривая, рогатил шаровары: норовил попасть ногой в болтающуюся штанину

— Здорово, станишники!

— Тю-у-у! Да ить это Жарков Егорка.

— Эй ты, жеребец, аль стреножили?

— Как мать там?

— Живая.
— Поклон шлет, а гостинцу не взял — так чижало.
Егорка с необычно серьезным лицом выслушал ответ и сел голым задом на траву, скрывая расстроенное лицо, не попадая дрожащей ногой в штанину.
За крашенной в голубое оградой стояли полураздетые казаки; с той стороны по дороге, засаженной каштанами, стекала во двор сотня — пополнение с Дона.
— Станица, здорово!
— Да, никак, ты, сват Александр?
— Он самый.
— Андреян! Андреян! Чертило вислоухий, не угадаешь?
— Поклон от жены, эй, служба!
— Спаси Христос.
— А где тут Борис Белов?
— В какой сотне был?
— В четвертой, никак.
— А откель он сам?
— С Затона Вёшенской станицы.
— На что он тебе сдался? — ввязывается в летучий разговор третий.
— Стал быть, нужен. Письмо везу.
— Его, брат, надысь под Райбродами убили.
— Да ну?..
— Ей-бо! На моих глазах. Под левую сиську пуля вдарила.
— Кто тут из вас с Черной речки?
— Нету, проезжай.
Сотня вобрала хвост и строем стала посредине двора. Плотина загустела вернувшимися к купанью казаками.
Немного погодя подошли только что приехавшие из маршевой сотни. Григорий присел рядом с братом. Глина на плотине тяжко пахла сырью. По краю зеленой травой зацветала густая вода. Григорий бил в рубцах и складках рубахи вшей, рассказывал:
— Я, Петро, уморился душой. Я зараз будто недобитый какой... Будто под мельничными жерновами побывал, перемяли они меня и выплюнули.— Голос у него жалующийся, надтреснутый и борозда (ее только что, с чувством внутреннего страха, заметил Петро) темнела, стекая наискось через лоб, незнакомая, пугающая какой-то переменой, отчужденностью.
— Как оно? — спросил Петро, стягивая рубаху, обнажая белое тело с ровно надрезанной полосой загара на шее.

— А вот видишь как,— заторопился Григорий, и голос окреп в злобе,— людей стравили, и не попадайся! Хуже бирюков стал народ. Злоба кругом. Мне зараз думается, ежли человека мне укусить — он бешеный сделается.

— Тебе-то приходилось... убивать?

— Приходилось!..— почти крикнул Григорий и скомкал и кинул под ноги рубаху. Потом долго мял пальцами горло, словно пропихивал застрявшее слово, смотрел в сторону.

— Говори,— приказал Петро, избегая и боясь встретиться с братом глазами.

— Меня совесть убивает. Я под Лешнювом заколол одного пикой. Сгоряча... Иначе нельзя было... А зачем я энтого срубил?

— Ну?

— Вот и ну, срубил зря человека и хвораю через него, гада, душой. По ночам снится, сволочь. Аль я виноват?

— Ты не обмялся ишо. Погоди, оно придет в чоку.

— Ваша сотня — маршевая? — спросил Григорий.

— Зачем? Нет, мы в Двадцать седьмом полку.

— А я думал — нам подмога.

— Нашу сотню к какой-то пехотной дивизии пристегивают, это мы ее догоняем, а с нами маршевая шла, молодых к вам пригнали.

— Так. Ну, давай искупаемся.

Григорий, торопясь, снял шаровары, отошел на гребень плотины, коричневый, сутуло-стройный, на взгляд Петра, постаревший за время разлуки. Вытягивая руки, он головой вниз кинулся в воду; тяжелая зелень волны сомкнулась над ним и разошлась плесом. Он плыл к группе гоготавших посередине казаков, ласково шлепая ладонями по воде, лениво двигая плечами.

Петро долго снимал нательный крест и молитву, зашитую в материнское благословенье. Гайтан сунул под рубаху, вошел в воду с опасливой брезгливостью, помочил грудь, плечи, охнув, нырнул и поплыл, догоняя Григория; отделившись, они плыли вместе к тому берегу, песчаному, заросшему кустарником.

Движение холодило, успокаивало, и Григорий, кидая взмахи, говорил сдержанно, без недавней страсти:

— Вша меня заела. С тоски. Я бы дома теперя побывал: так и полетел бы, кабы крылья были. Хучь одним глазком глянул бы. Ну, как там?

— Наталья у нас.

— А?

— Живет.
— Отец-мать как?
— Ничего. А Наталья все тебя ждет. Она думку держит, что ты к ней возвернешься.
Григорий фыркал и молча сплевывал попавшую в рот воду. Поворачивая голову, Петро норовил глянуть ему в глаза.
— Ты в письмах хучь поклоны ей посылай. Тобой баба и дышит.
— Что ж она... разорванное хочет связать?
— Да ить как сказать... Человек своей надеждой живет. Славная бабочка. Строгая. Себя дюже блюдет. Чтоб баловство какое аль ишо чего — нету за ней этого.
— Замуж бы выходила.
— Чудное ты гутаришь!
— Ничего не чудное. Так оно должно быть.
— Дело ваше. Я в него не вступаюсь.
— А Дуняшка?
— Невеста, брат! Там за этот год так вымахала, что не спознаешь.
— Ну? — повеселев, удивился Григорий.
— Истинный бог. Выдадут замуж, а нам и усы в водку омакнуть не придется. Убьют ишо, сволочи!
— Чего хитрого!
Они вылезли на песок и легли рядом, облокотившись, греясь под суровеющим солнцем. Мимо плыл, до половины высовываясь из воды, Мишка Кошевой.
— Лезь, Гришка, в воду!
— Полежу, погоди.
Зарывая в сыпкий песок жучка, Григорий спросил:
— Про Аксинью что слыхать?
— Надысь, перед тем как объявили войну, видал ее в хуторе.
— Чего она туда забилась?
— Приезжала к мужу имение забирать.
Григорий кашлянул и похоронил жучка, надвинув ребром ладони ворох песку.
— Не гутарил с ней?
— Поздравствовался только. Она гладкая из себя, веселая. Видать, легко живется на панских харчах.
— Что ж Степан?
— Отдал ее огарки. Ничего обошелся. Но ты его берегись. Остерегайся. Мне переказывали казаки, дескать, пьяный Степан грозился: как первый бой — даст тебе пулю.

— Ага.
— Он тебе не простит.
— Знаю.
— Коня себе справил,— перевел Петро разговор.
— Продали быков?
— Лысых. За сто семьдесят. Купил за полтораста. Конь куда тебе. На Цуцкане купили.
— Хлеба как?
— Добрые. Не довелось вот убрать. Захватили.
Разговор перекинулся на хозяйство, утрачивая напряженность. Григорий жадно впитывал в себя домашние новости. Жил эту минуту ими, похожий на прежнего норовистого и простого парня.
— Ну, давай охолонемся — и одеваться,— предложил Петро, обметая с влажного живота песок, подрагивая. Кожа на спине его и руках поднялась пупырышками.
Шли от пруда толпой. У забора, отделявшего сад от двора имения, догнал их Астахов Степан. Он на ходу расчесывал костяной расческой свалявшийся чуб, заправляя его под козырек; поравнялся с Григорием.
— Здорово, приятель!
— Здравствуй,— Григорий приотстал, встречая его чуть смущенным, с виноватцей взглядом.
— Не забыл обо мне?
— Почти что.
— А я вот тебя помню,— насмешливо улыбнулся Степан и прошел не останавливаясь, обнял за плечо шагавшего впереди казака в урядницких погонах.
Затемно из штаба дивизии получили телефонограмму с приказанием выступить на позицию. Полк смотался в каких-нибудь четверть часа; пополненный людьми с песнями пошел заслонять прорыв, продырявленный мадьярской кавалерией.
При прощании Петро сунул брату в руки сложенный вчетверо листок бумаги.
— Что это? — спросил Григорий.
— Молитву тебе списал. Ты возьми...
— Помогает?
— Не смейся, Григорий!
— Я не смеюсь.
— Ну, прощай, брат. Бывай здоров. Ты не вылетывай вперед других, а то горячих смерть метит! Берегись там! - кричал Петро.
— А молитва?
Петро махнул рукой.

До одиннадцати шли, не блюдя никакой предосторожности. Потом вахмистры разнесли по сотням приказ идти с возможной тишиной, курение прекратить.

Над дальней грядкой леса взметнулись окрашенные лиловым дымом ракеты.

XI

Небольшая в сафьяновом, цвета под дуб, переплете записная книжка. Углы потерты и заломлены: долго носил хозяин в кармане. Листки исписаны узловатым косым почерком...

* * *

«...С некоторого времени явилась вот эта потребность общения с бумагой. Хочу вести подобие институтского «дневника». Прежде всего о ней: в феврале, не помню какого числа, меня познакомил с ней ее земляк, студент Боярышкин. Я столкнулся с ними у входа в синематограф. Боярышкин, знакомя нас, говорил: «Это станичница, вёшенская. Ты, Тимофей, люби ее и жалуй. Лиза — отменная девушка». Помню, я что-то изрек нечленораздельное и подержал в руке ее мягкую потную ладонь. Так началось мое знакомство с Елизаветой Моховой. Что она испорченная девушка, я понял с первого взгляда: у таких женщин глаза говорят больше, чем следует. Она на меня произвела, признаюсь, невыгодное впечатление: прежде всего эта теплая мокрая ладонь. Я никогда не встречал, чтобы у людей так потели руки; потом — глаза, в сущности очень красивые глаза, с этаким ореховым оттенком, но в то же время неприятные.

Друг Вася, я сознательно ровняю слог, прибегаю даже к образности, с тем чтобы в свое время, когда сей «дневник» попадет к тебе в Семипалатинск (есть такая мысль по окончании любовной интриги, которую завел я с Елизаветой Моховой, переслать тебе его. Пожалуй, чтение этого документа доставит тебе немалое удовольствие), ты имел бы точное представление о происходившем. Буду описывать в хронологическом порядке. Так вот, познакомился я с ней, и втроем пошли мы смотреть какую-то сентиментальнейшую чушь. Боярышкин молчал (у него ломил «кутний», как он выразился, зуб), а я очень туго вел разговор. Мы оказались земляками, т. е. соседями по станицам,

и, перебрав общие воспоминания о красоте степных пейзажей и пр. и пр., умолкли. Я, если можно так выразиться, непринужденно молчал, она не испытывала ни малейшего неудобства от того, что изжевали мы разговорчик. Я узнал от нее, что она медичка второго курса, а по происхождению купчиха, и очень любит крепкий чай и асмоловский табак. Как видишь, очень убогие сведения для познания девы с ореховыми глазами. При прощании (мы провожали ее до трамвайной остановки) она просила заходить к ней. Адрес я записал. Думаю заглянуть 28 апреля.

29 апреля.

Был сегодня у нее, угощала чаем с халвой. В сущности — любопытная девка. Острый язык, в меру умна, вот только арцыбашевщиной от нее попахивает, ощутимо даже на расстоянии. Пришел от нее поздно. Набивал папиросы и думал о вещах, не имеющих абсолютно никакого отношения к ней,— в частности, о деньгах. Костюм мой изношен до дикости, а «капитала» нет. В общем — хреновина.

1 мая.

Ознаменован сей день событием. В Сокольниках во время очень безобидного времяпровождения напоролись на историю: полиция и отряд казаков, человек в двадцать, рассеивали рабочую маевку. Один пьяный ударил лошадь казака палкой, а тот пустил в ход плеть. (Принято почему-то называть плеть нагайкой, а ведь у нее собственное славное имя, к чему же?..) Я подошел и ввязался. Обуревали меня самые благородные чувства, по совести говорю. Ввязался и сказал казаку, что он чапура, и кое-что из иного-прочего. Тот было замахнулся и на меня плетью, но я с достаточной твердостью сказал, что я сам казак Каменской станицы и так могу его помести, что чертям станет тошно. Казак попался добродушный, молодой; служба, видно, не замордовала еще. Ответил, что он из станицы Усть-Хоперской и биток по кулачкам. Мы разошлись мирно. Если б он что-либо предпринял в отношении меня, была бы драка и еще кое-что похуже для моей персоны. Мое вмешательство объясняется тем, что в нашей компании была Елизавета, а меня в ее присутствии подмывает этакое мальчишеское желание «подвига». На собственных глазах превращаюсь в петуха и чувствую, как под фуражкой вырастает незримый красный гребень. Ведь вот до чего допер!

3 мая.

Запойное настроение. Ко всему прочему, нет денег. На развилках, попросту говоря, ниже мотни, безнадежно порвались брюки, репнули, как переспелый задонский арбуз Надежда на то, что шов будет держаться,— призрачна С таким же успехом можно сшить и арбуз. Приходил Володька Стрежнев. Завтра иду на лекции.

7 мая.

Получил от отца деньги. Поругивает в письме, а мне ни крохотки не стыдно. Знал бы батя, что у сына подгнили нравственные стропила... Купил костюм. На галстук даже извозчики обращают внимание. Брился в парикмахерской на Тверской. Вышел оттуда свежим галантерейным приказчиком. На углу Садово-Триумфальной мне улыбнулся городовой. Этакий плутишка! Ведь есть что-то общее у меня с ним в этом виде! А три месяца назад? Впрочем, не стоит ворошить белье истории... Видел Елизавету случайно, в окне трамвая. Помахала перчаткой и улыбнулась Каков я?

8 мая.

«Любви все возрасты покорны». Так и представляется мне рот Татьяниного муженька, раззявленный, как пушечное дуло. Мне с галереи непреодолимо хотелось плюнуть в рот ему. А когда в уме встает эта фраза, особенно конец: «По-коо-о-р-ны-ы-ы...», челюсти мне судорожно сводит зевота, нервная, по всей вероятности.

Но дело-то в том, что я в своем возрасте влюблен. Пишу эти строки, а волосы дыбом... Был у Елизаветы. Очень выспренно и издалека начал. Делала вид, что не понимает и пыталась свести разговор на другие рельсы. Не рано ли? Э, черт, костюм этот дело попутал!.. Погляжусь в зеркало — неотразим: дай, думаю, выскажусь. У меня как-то здравый расчет преобладает над всем остальным. Если не объясниться сейчас, то через два месяца будет уже поздно брюки износятся и обопреют в таком месте, что никакое объяснение будет немыслимо. Пишу и сам собой восторгаюсь: до чего ярко сочетались во мне все лучшие чувства лучших людей нашей эпохи. Тут вам и нежно-пылкая страсть и «глас рассудка твердый». Винегрет добродетелей помимо остальных достоинств.

Я так и не кончил предварительной подготовки с ней. Помешала хозяйка квартиры, которая вызвала ее в коридор и, я слышал, попросила у нее взаймы денег. Она отказала, в то время как деньги у нее были. Я это достоверно знал, и я представил себе ее лицо, когда она правдивым голосом отказывала, и глаза ее ореховые и вполне искренние. Охота говорить о любви у меня исчезла.

13 мая.

Я основательно влюблен. Это не подлежит никакому сомнению. Все признаки налицо. Завтра объяснюсь. Роли своей я так и не уяснил пока.

14 мая.

Дело обернулось неожиданнейшим образом. Был дождь, тепленький такой, приятный. Мы шли по Моховой, плиты тротуара резал косой ветер. Я говорил, а она шла молча, потупив голову, словно раздумывая. Со шляпки на щеку ей стекали дождевые струйки, и она была прекрасна. Приведу наш разговор:

— Елизавета Сергеевна, я изложил вам то, что я чувствую. Слово за вами.

— Я сомневаюсь в подлинности ваших чувств.

Я глупейшим образом пожал плечами и сморозил, что готов принять присягу, или что-то в этом роде.

Она сказала:

— Слушайте, вы заговорили языком тургеневских героев. Вы бы попроще.

— Проще некуда. Я вас люблю.

— И что же?

— За вами слово.

— Вы хотите ответного признания?

— Я хочу ответа.

— Видите ли, Тимофей Иванович... Что я вам могу сказать? Вы мне чуточку нравитесь... Высокий вы очень.

— Я еще подрасту,— пообещал я.

— Но мы так мало знакомы, общность...

— Съедим вместе пуд соли и плотней узнаем друг друга.

Она розовой ладонью вытерла мокрые щеки и сказала:

— Что ж, давайте сойдемся. Поживем — увидим. Только дайте мне срок, чтобы я могла покончить с моей бывшей привязанностью.

— Кто он? — поинтересовался я.
— Вы его не знаете. Доктор один, венеролог.
— Когда вы освободитесь?
— Я надеюсь, к пятнице.
— Мы будем вместе жить? То есть в одной квартире?
— Да, пожалуй, это будет удобней. Вы переберетесь ко мне.
— Почему?
— У меня очень удобная комната. Чисто, и хозяйка симпатичная особа.

Я не возражал. На углу Тверской мы расстались. Мы поцеловались к великому изумлению какой-то дамы.

Что день грядущий мне готовит?

22 мая.

Переживаю медовые дни. «Медовое» настроение омрачено было сегодня тем, что Лиза сказала мне, чтобы я переменил белье. Действительно, белье мое — изношенный кошмар. Но деньги, деньги... Тратим мои, их не так-то много. Придется поискать работы.

24 мая.

Сегодня решил купить себе на белье, но Лиза ввела меня в непредвиденный расход. Ей до зарезу захотелось пообедать в хорошем ресторане и купить себе шелковые чулки. Пообедали и купили, но я в отчаянии: ухнуло мое белье!

27 мая.

Она меня истощает. Я опустошен физически и напоминаю голый подсолнечный стебель. Это не баба, а огонь с дымом!

2 июня.

Мы проснулись сегодня в девять. Проклятая привычка шевелить пальцами ног привела к следующим результатам: она открыла одеяло и долго рассматривала мою ступню. Она так резюмировала свои наблюдения:

— У тебя не нога, а лошадиное копыто. Хуже! И потом эти волосы на пальцах, фи! — Она лихорадочно-брезгливо передернула плечами и, укрывшись одеялом, отвернулась к стене.

Я был сконфужен. Поджал ноги и тронул ее плечо.

— Лиза!

— Оставьте меня!

— Лиза, это ни на что не похоже. Не могу же я изменить форму своей ноги, ведь делалась она не по заказу, а что касается растительности, то волос — дурак, он всюду растет. Тебе, как медичке, надо бы знать законы естественного развития.

Она повернулась ко мне лицом. Ореховые глаза приняли злой шоколадный оттенок.

— Сегодня же извольте купить присыпанье от пота: у вас трупный запах от ног!

Я резонно заметил, что у нее постоянно мокрые ладони. Она промолчала, а на мою душу, выражаясь высоким «штилем», упала облачная тень... Тут не в ногах дело и не в шерсти...

4 июня.

Сегодня мы катались в лодке по Москве-реке. Вспоминали Донщинку. Елизавета ведет себя недостойно: все время она злословит на мой счет, иногда очень грубо. Отвечать ей тем же — значит пойти на разрыв, а этого мне не хочется. Я, несмотря на все, привязываюсь к ней все больше. Она просто — избалованная женщина. Боюсь, что моего воздействия будет недостаточно, чтобы в корне перетрясти ее характер. Милая, взбалмошная девочка. Притом девочка, видавшая такие виды, о которых я знал лишь понаслышке. На обратном пути она затащила меня в аптекарский магазин и, улыбаясь, купила тальку и еще какой-то чертовщины.

— Это тебе присыпать от пота.

Я кланялся очень галантно и благодарил.

Смешно, но так.

7 июня.

Очень уж убогий у нее умственный пожиток. В остальном-то она любого научит.

Каждый день перед сном мою ноги горячей водой, обливаю одеколоном и присыпаю какой-то сволочью.

16 июня.

С каждым днем она становится нетерпимей. С нею был вчера нервный припадок. С такою тяжело ужиться.

18 июня.

Ничего общего! Мы говорим на разных языках. Связующее начало — кровать. Выхолощенная жизнь.

Сегодня утром брала она у меня из кармана деньги, перед тем как идти в булочную, и напала на эту книжонку Вытащила.

— Что это у тебя?

Меня осыпало жаром. Что, если откроет одну-две страницы? Я ответил и сам удивился натуральности своего голоса:

— Книжка для арифметических исчислений.

Она равнодушно сунула ее обратно в карман и ушла Надо быть осторожней. Остроты с глазу на глаз тогда хороши, когда их не читает чужой.

Васе-другу — источник развлечения.

21 июня.

Я поражаюсь Елизавете. Ей 21 год. Когда она успела так разложиться? Что у нее за семья, как она воспитывалась, кто приложил руку к ее развитию? Вот вопросы которые меня крайне интересуют. Она дьявольски хороша Она гордится совершенством форм своего тела Культ самопочитания,— остального не существует. Пробовал несколько раз говорить с ней по-серьезному... Легче старовера убедить в несуществовании бога, чем ее перевоспитать.

Жизнь совместная становится немыслимой и глупой Однако я медлю с разрывом. Признаюсь, она мне, несмотря на все это, нравится. Вросла в меня.

24 июня.

А ларчик просто открывался. Мы по душам говорили сегодня, и она сказала, что я ее физически не удовлетворяю. Разрыв еще не оформлен, на днях наверное.

26 июня.

Жеребца бы ей со станичной конюшни.

Жеребца!

28 июня.

Мне тяжело с ней расставаться. Она меня опутала, как тина. Ездили сегодня на Воробьевы горы. Она сидела в номере у окошка, и солнце сквозь резьбу карниза стремитель-

но падало на ее локон. Волосы цвета червонного золота. Вот тебе и поэзии шматок!

4 июля.

Работа покинута мною. Я покинут Елизаветой. Пили сегодня со Стрежневым пиво. Вчера пили водку. Расстались с Елизаветой, как и полагается культурным людям, корректно. Безо всяких и без некóторых. Сегодня видел ее на Дмитровке с молодым человеком в жокейских сапожках. Сдержанно ответила на мой поклон. На этом пора уж и кончить записки — иссяк родник.

30 июля.

Приходится совершенно неожиданно взяться за перо. Война. Взрыв скотского энтузиазма. От каждого котелка, как от червивой собаки, за версту воняет патриотизмом. Ребята возмущены, а я обрадован. Меня сжирает тоска по... «утерянном рае». Вчера очень скоромно видел во сне Елизавету. Она оставила тоскующий след. Рассеяться бы.

1 августа.

Шумиха приелась. Вернулось давнишнее, тоска. Сосу ее, как ребенок соску.

3 августа.

Выход! Иду на войну. Глупо? Очень. Постыдно?

Полно же, мне ведь некуда деть себя. Хоть крупицу иных ощущений. А ведь этой пресыщенности не было два года назад. Старею, что ли?

7 августа.

Пишу в вагоне. Только сейчас выехал из Воронежа. Завтра слезать в Каменской. Решил твердо: иду за «веру, царя и отечество».

12 августа.

Мне устроили торжественные проводы. Атаман подвыпил и двигал зажигательную речь. После я ему сказал шепотом: «Дурак вы, Андрей Карпович!» Он изумился и обиделся до зелени на щеках. Прошипел язвительно:

«А тоже образованный. Вы не из тех, каких мы в тысяча девятьсот пятом году пороли плетьми?» Я ответил, что, к моему сожалению, «не из тех». Отец плакал и лез целоваться, а нос в соплях. Бедный милый отец! Тебя бы в мою шкуру. Я ему в шутку предложил идти со мной на фронт, и он испуганно воскликнул: «Что ты, а хозяйство?» Завтра выезжаю на станцию.

13 августа.

Неубранные кое-где хлеба. Жирные на кургашках сурки. Разительно похожи на тех немцев на дешевой литографии, которых Козьма Крючков нанизывает на пику. Жил-был, здравствовал, изучал математику и прочие точные науки и никогда не думал, что стану таким «шовинистом». Уж в полку я с казаками погутарю.

22 августа.

На какой-то станции видел первую партию пленных. Статный австрийский офицер со спортсменской выправкой шел под конвоем на вокзал. Ему улыбнулись две барышни, гулявшие по перрону. Он на ходу очень ловко раскланялся и послал им воздушный поцелуй.

Даже в плену чисто выбрит, галантен, желтые краги лоснятся. Я проводил его взглядом: красивый молодой парень, милое товарищеское лицо. Столкнись с таким — и рука шашку не поднимет.

24 августа.

Беженцы, беженцы, беженцы... Все пути заняты составами с беженцами и солдатами.

Прошел первый санитарный поезд. На остановке из вагона выскочил молодой солдат. Повязка на лице. Разговорились. Ранило картечью. Доволен ужасно, что едва ли придется служить, поврежден глаз. Смеется.

27 августа.

Я в своем полку. Командир полка очень славный старичок. Казак из низовских. Тут уже попахивает кровицей По слухам, послезавтра на позицию. Мой 3-й взвод третьей сотни — из казаков Константиновской станицы Серые ребята. Один только балагур и песенник.

28 августа.

Выступаем. Сегодня особенно погромыхивает там. Впечатление такое, как будто находит гроза и рушится далекий гром. Я даже принюхался: не пахнет ли дождем? Но небо — сатиновое, чистенькое.

Конь мой вчера захромал, ушиб ногу о колесо походной кухни. Все ново, необычно, и не знаю, за что взяться, о чем писать.

30 августа.

Вчера не было времени записать. Сейчас пишу на седле. Качает, и буквы ползут из-под карандаша несуразно чудовищные. Едем трое с фуражирками за травой.

Сейчас ребята увязывают, а я лежу на животе и «фиксирую» с запозданием вчерашнее. Вчера вахмистр Толоконников послал нас шестерых в рекогносцировку (он презрительно величает меня «студентом»: «Эй, ты, студент, подкова у коня отрывается, а ты и не видишь?») Проехали какое-то полусожженное местечко. Жарко. Лошади и мы мокрые. Плохо, что казакам приходится и летом носить суконные шаровары. За местечком в канаве увидел первого убитого. Немец. Ноги по колено в канаве, сам лежит на спине. Одна рука подвернута под спину, а в другой зажата винтовочная обойма. Винтовки около нет. Впечатление ужаснейшее. Восстанавливаю в памяти пережитое, и холодок идет по плечам... У него была такая поза, словно он сидел, свесив ноги в канаву, а потом лег, отдыхая. Серый мундир, каска. Видна кожаная подкладка лепестками, как в папиросах для того, чтобы не просыпался табак. Я так был оглушен этим первым переживанием, что не помню его лица. Видел лишь желтых крупных муравьев, ползавших по желтому лбу и остекленевшим прищуренным глазам. Казаки, проезжая, крестились. Я смотрел на пятнышко крови с правой стороны мундира. Пуля ударила его в правый бок навылет. Проезжая, заметил, что с левой стороны, там, где она вышла,— пятно и подтек крови на земле гораздо больше и мундир вырван хлопьями.

Я проехал мимо содрогаясь. Так вот оно что...

Старший урядник, Трундалей по прозвищу, пытался поднять наше упавшее настроение, рассказывал похабный анекдот, а у самого губы дрожали...

В полуверсте от местечка — стены какого-то сожженного завода, кирпичные стены с задымленными черными

верхушками. Мы побоялись ехать прямо по дороге, так как она лежала мимо этого пепелища, решили его околесить. Поехали в сторону, и в это время оттуда в нас начали стре лять. Звук первого выстрела, как это ни стыдно, едва не вышиб меня из седла. Я вцепился в луку и инстинктивно нагнулся, дернул поводья. Мы скакали к местечку мимо той канавы с убитым немцем, опомнились только тогда, когда местечко осталось позади. Потом вернулись. Спешились. Лошадей оставили с двумя коноводами, а сами четверо пошли на край местечка к той канаве. Мы, пригибаясь, шли по этой канаве. Я еще издали увидел ноги убитого немца в коротких желтоватых сапогах, остро согнутые в коленях. Я шел мимо него, затаив дыхание, как мимо спящего, словно боялся разбудить. Под ним влажно зеленела примятая трава...

Мы залегли в канаве, и через несколько минут из-за развалин сожженного завода гуськом выехали девять человек немецких улан... Я угадал их по форме. Офицер, отделяясь, что-то крикнул резким гортанным голосом, и их отрядик поскакал по направлению на нас. Ребята кричат, чтоб я помог им траву увязать. Иду.

30 августа.

Мне хочется досказать, как я в первый раз стрелял в человека. Когда немецкие уланы поскакали на нас (как сейчас перед глазами встают их зеленовато-серые мундиры, окраски ящерицы-медянки, лоснящиеся раструбы киверов, пики, колыхающиеся, с флажками).

Под уланами были караковые лошади. Я зачем-то перевел взгляд на насыпь канавы и увидал небольшого изумрудного жука. Он вырос на моих глазах и принял чудовищные размеры. Исполином полз он, качая травяные былки, к локтю моему, упертому в высохшую крупчатую глину насыпи, вскарабкался по рукаву моей защитной гимнастерки и быстро сполз на винтовку, с винтовки на ремень. Я проследил за его путешествием и услышал срывающийся голос урядника Трундалея: «Стреляйте, что ж вы?»

Я установил тверже локоть, зажмурил левый глаз, почувствовал, что сердце мое пухнет, становится таким же огромным, как тот изумрудный жук. В прорези прицельной рамы на фоне серовато-зеленого мундира дрожала мушка. Рядом со мной выстрелил Трундалей. Я нажал спуск и услышал стонущий полет моей пули. По всей вероятности,

я снизил прицел, пуля рикошетом срывала с кочек дымки пыли. Первый по человеку выстрел. Я выпустил обойму, не целясь, не видя ничего перед собой. В последний раз двинул затвором, щелкнул, позабыв, что патронов нет, и только тогда глянул на немцев. Они так же стройно скакали назад. Позади всех офицер. Их было девять, и я видел караковый круп офицерского коня и металлическую пластинку верха уланского кивера.

2 сентября.

У Толстого в «Войне и мире» есть место, где он говорит о черте между двумя неприятельскими войсками — черте неизвестности, как бы отделяющей живых от мертвых. Эскадрон, в котором служил Николай Ростов, идет в атаку, и Ростов мысленно определяет эту черту. Мне особенно ярко вспомнилось сегодня это место романа потому, что сегодня на заре мы атаковали немецких гусар... С утра их части, превосходно подкрепленные артиллерией, теснили нашу пехоту. Я видел, как наши солдаты,— кажется, 241-й и 273-й пехотные полки,— бежали панически. Они были буквально деморализованы в результате неудачного наступления, когда два полка без артиллерийской поддержки пошли в наступление и были сбиты огнем противника и уничтожены чуть не на треть всего состава. Нашу пехоту преследовали немецкие гусары. Тут-то и был введен в дело наш стоявший на лесной просеке в резерве полк. Вот как помнится мне это дело. Мы вышли из деревни Тышвичи в 3-м часу утра. Густела предрассветная тьма. Остро пахло сосновой хвоей и овсяными хлебами. Полк шел, разбитый на сотни. С проселка свернули влево и пошли по хлебам. Лошади шли пофыркивая, копытами сбивая сочную росу с овсов.

Прохладно даже в шинели. Полк долго таскали по полю, и уже через час из штаба полка прискакал офицер, отдал распоряжение командиру. Наш старик недовольным голосом передал команду, и полк под прямым углом свернул к лесу. Мы во взводных колоннах жались на узкой просеке. Где-то левее нас шел бой. Действовали немецкие батареи, судя по звукам, в большом количестве. Звуки выстрелов колебались; казалось, что выше нас горит эта пахучая сосновая хвоя. Мы были слушателями до восхода солнца. Потом продрожало «ура», вялое, жалкое такое, бессочное, и — тишина, пронизанная чистой работой пулеметов. В эту минуту так бестолково толпились мысли; единственное, что я представлял в эту минуту до режущей боли отчетливо

и ясно,— это многоликое лицо нашей пехоты, идущей в наступление цепями.

Я видел мешковатые серые фигуры в блинчатых защитных фуражках, в грубых, ниже колен, солдатских сапогах, топчущие осеннюю землю, и слышал отчетливый хриповатый смешок немецких пулеметов, перерабатывающих этих живых потных людей в трупы. Два полка были сметены и бежали, бросая оружие. На плечах их шел полк немецких гусар. Мы очутились у них с фланга, на расстоянии 300 или меньше сажен. Команда. Строимся моментально. Слышу единственное холодное, сдерживающее, как удила: «марш-марш!» — и летим. Уши моего коня прижаты так плотно, что, кажется, рукой их не оторвать. Оглядываюсь — позади командир полка и два офицера. Вот она, черта, разделяющая живых и мертвых. Вот оно, великое безумие!

Гусары мнут свои изломанные ряды и поворачивают назад. На моих глазах сотник Чернецов зарубил немецкого гусара. Видел, как один казак шестой сотни, догоняя немца, осумасшедшев, рубил его лошадь по крупу. От взлетывающей шашки лоскутьями отскакивала кожа... Нет, это немыслимо! Этому названья нет! После того как вернулись, видел лицо Чернецова — сосредоточенно, сдержанно-весело,— за преферансом сидит, а не в седле, после убийства человека. Далеко пойдет сотник Чернецов. Способный!

4 сентября.

Мы на отдыхе. К фронту стягивается 4-я дивизия 2-го корпуса. Стоим в местечке Кобылино. Сегодня утром через местечко форсированным маршем прошли части 11-й кавалерийской дивизии и уральские казаки. На западе идут бои. Беспрерывный гуд. После обеда ходил к лазарету. При мне подошел транспорт раненых. Санитары, разгружая одну четырехколку, посмеиваются. Подхожу. Рябой высокий солдат, охая и улыбаясь, слезает при помощи санитара. «Вот, казачок,— говорит он, адресуясь ко мне,— сыпанули мне горохом в задницу. Четыре картечины получил». Санитар спрашивает: «Сзади разорвался снаряд-то?» — «Какой там сзади, я сам задом наступал». Из халупы вышла сестра милосердия. Я глянул на нее, и дрожь заставила прислониться к повозке. Сходство с Елизаветой необычайное. Те же глаза, овал лица, нос, волосы. Даже голос похож. Или это мне так кажется. Теперь я, пожалуй, в любой буду находить сходство с нею.

5 сентября.

Сутки кормили лошадей на коновязях, а сейчас опять туда. Физически я разбит. Трубач играет седловку. Вот в кого в данный момент я с наслаждением выстрелил бы!..»

* * *

Григория Мелехова командир сотни послал для связи со штабом полка. Проезжая место недавних боев, Григорий увидел у самого шоссе убитого казака. Тот лежал, прижав белокурую голову к выщербленному лошадиными копытами щебню шоссе. Григорий слез и, зажимая нос (от мертвого разило густо-сладким трупным запахом), обыскал его. В кармане шаровар нашел эту книжку, огрызок химического карандаша и кошелек. Снял патронташ и мельком оглядел бледное, влажное, уже начавшее разлагаться лицо. На висках и у переносья оно мокро, бархатисто чернело, на лбу в косой морщине мертвого сосредоточенного раздумья темнела пыль.

Григорий накрыл лицо убитого батистовым, найденным в кармане хозяина платком и поехал в штаб, изредка оглядываясь. Книжку передал в штабе писарям, и те, скопом перечитывая ее, посмеялись над чужой коротенькой жизнью и ее земными страстями.

XII

11-я кавалерийская дивизия после занятия Лешнюва с боем прошла через Станиславчик, Радзивиллов, Броды и 15 августа развернулась возле города Каменка-Струмилово. Позади шла армия, сосредоточивались на важных стратегических участках пехотные части, копились на узлах штабы и обозы. От Балтики смертельным жгутом растягивался фронт. В штабах разрабатывались планы широкого наступления, над картами корпели генералы, мчались, развозя боевые приказы, ординарцы, сотни тысяч солдат шли на смерть...

Разведки доносили, что к городу стягиваются крупные кавалерийские силы противника. В перелесках возле дорог вспыхивали стычки, казачьи разъезды входили в соприкосновение с неприятельскими разведками.

Мелехов Григорий все дни похода, после того как расстался с братом, пытался и не мог найти в душе точку опоры, чтобы остановиться в болезненных раздумьях и

вернуть себе прежнее ровное настроение. С последней маршевой сотней влили в полк третьеочередников. Один из них, казак станицы Казанской, Алексей Урюпин попал в один взвод с Григорием. Был Урюпин высок, сутуловат, с выдающейся нижней челюстью и калмыцкими косицами усов; веселые, бесстрашные глаза его вечно смеялись; несмотря на возраст, светил он лысиной, лишь по бокам оголенного шишкасто-выпуклого черепа кустились редкие русые волосы. С первого же дня дали казаки ему прозвище Чубатый.

Под Бродами после боя полк отдыхал сутки. Григорий стоял с Чубатым в одной халупе. Они разговорились.

— Ты, Мелехов, какой-то линялый.

— Как линялый? — Григорий нахмурился.

— Квелый, вроде хворый,— пояснил Чубатый.

Они кормили на коновязи лошадей, курили, прислонясь к обомшелому ветхому заборчику. По улице по четыре в ряд шли гусары, под заборами валялись неубранные трупы (вытесняя австрийцев, дрались на улицах предместья), чадный дымок сочился из-под развалин сожженной синагоги. Великое разрушение и мерзостную пустоту являл город в этот предвечерний пышно расшитый красками час.

— Здоровый я,— Григорий, не глядя на Чубатого, сплюнул.

— Брешешь! Вижу.

— Чего видишь?

— Робеешь, сопатый? Смерти боишься?

— Глупой ты,— презрительно сказал Григорий и, щурясь, осмотрел ногти.

— Скажи: убил ты человека? — чеканил, испытующе вглядываясь в лицо Григория, Чубатый.

— Убил. Ну?

— Стенить душа?

— Сте-нить? — усмехнулся Григорий.

Чубатый выдернул из ножен шашку.

— Хочешь, голову срублю?

— Потом?

— Убью и не вздохну,— нет во мне жалости! — Глаза Чубатого смеялись, но Григорий по голосу, по хищному трепету ноздрей понял, что говорит он серьезно.

— Дикой ты и чудак,— сказал Григорий, внимательно осматривая лицо Чубатого.

— У тебя сердце жидкое. А баклановский удар знаешь? Гляди!

Чубатый выбрал рослую в палисаднике престарелую березку, пошел прямо на нее, сутулясь, целясь глазами. Его длинные, жилистые, непомерно широкие в кисти руки висели неподвижно.

— Гляди!

Он медленно заносил шашку и, приседая, вдруг со страшной силой кинул косой взмах. Березка, срезанная на два аршина от корня, падала, цепляя ветвями голые рамы окон, царапая стену дома.

— Видал? Учись. Бакланов-атаман был, слыхал? Шашка у него была — на стоке ртуть залитая, поднимать тяжело ее, а рубанет — коня пополам. Вот!

Григорий долго не мог усвоить сложной техники удара.

— Сильный ты, а рубить дурак. Вот как надо,— учил Чубатый, и шашка его в косом полете разила цель с чудовищной силой.

— Человека руби смело. Мягкий он, человек, как тесто,— поучал Чубатый, смеясь глазами.— Ты не думай, как и что. Ты — казак, твое дело — рубить, не спрашивая. В бою убить врага — святое дело. За каждого убитого скащивает тебе бог один грех, тоже как и за змею. Животную без потребы нельзя губить — телка, скажем, или ишо что,— а человека унистожай. Поганый он, человек... Нечисть, смердит на земле, живет вроде гриба-поганки.

На возражения Григория он поморщился и упрямо умолк.

Григорий с удивлением замечал, что Чубатого беспричинно боятся все лошади. Когда подходил он к коновязи, кони пряли ушами, сбивались в одну кучу, будто зверь шел к ним, а не человек. Под Станиславчиком сотня, наступая по лесистой и топкой местности, вынуждена была спешиться. Коноводы брали лошадей и отъезжали в лощинку, под прикрытие. Чубатому досталось коноводить, но он отказался наотрез.

— Урюпин, ты чего, сучье вымя, выколашиваешься? Почему не берешь коней? — налетел на него взводный урядник.

— Они меня боятся. Ей-богу! — уверял тот, тая постоянный смешок в глазах.

Он никогда не был коноводом. Со своим конем обращался ласково, холил его заботой, но всегда замечал Григорий: как только хозяин подходил к коню, по привычке не шевеля прижатыми к бедрам руками,— по спине коня волною шла дрожь: конь беспокоился.

— Ты скажи, угодник, чего от тебя кони полохаются? — спросил как-то Григорий.

— Кто их знает.— Чубатый пожал плечами.— Я их жалею.

— Пьяных по духу угадывают, боятся, а ты тверезый.

— Во мне сердце твердое, они чуют.

— Волчиное в тебе сердце, а может, и никакого нету, камушек заместо него заложенный.

— Могет быть,— охотно соглашался Чубатый.

Под городом Каменка-Струмилово третий взвод целиком со взводным офицером выехал в рекогносцировку: накануне чех-перебежчик сообщил командованию о дислокации австрийских частей и предполагаемом контрнаступлении по линии Гороши — Ставинцкий; требовалось постоянное наблюдение за дорогой, по которой предполагалось передвижение частей противника; с этой целью взводный офицер оставил на опушке леса четырех казаков со взводным урядником, а с остальными поехал к видневшимся за взгорьем черепичным крышам какого-то выселка.

На опушке, возле старой остроконечной часовни со ржавым распятием, остались Григорий Мелехов, урядник, казаки из молодых — Силантьев, Чубатый и Мишка Кошевой.

— Спешивайся, ребята,— приказал урядник.— Кошевой, отведи коней вон за энти сосны,— ну да, вон за энти, какие погуще.

Казаки лежали под сломленной засохшей сосной, курили: урядник глаз не отрывал от бинокля. Шагах в десяти от них волнилось неубранное, растерявшее зерно жито. Вылощенные ветром колосья горбились и скорбно шуршали. Полчаса пролежали казаки, перебрасываясь ленивыми фразами. Где-то правее города неумолчно колыхался орудийный гул. Григорий подполз к хлебам и, выбирая полные колосья, обминал их, жевал черствое, перестоявшееся зерно.

— Никак, австрийцы! — вполголоса воскликнул урядник.

— Где? — встрепенулся Силантьев.

— Вон, из леса. Правей гляди!

Кучка всадников выехала из-за дальнего перелеска. Остановившись, они разглядывали поле с далеко выпяченными мысами леса, потом тронулись по направлению на казаков.

— Мелехов! — позвал урядник.

Григорий ползком добрался до сосны.

— Подпустим ближе и вдарим залпом. Готовь винтовки, ребята! — лихорадочно шептал урядник.

Всадники, забирая вправо, двигались шагом. Четверо лежали под сосной молча, тая дыхание.

– ...аухт, капраль! — донесло ветром молодой звучный голос.

Григорий приподнял голову: шесть венгерских гусар, в красивых, расшитых шнурами куртках, ехали кучкой. Передний, на вороном крупном коне, держал на руке карабин и негромко басовито смеялся.

— Крой! — шепнул урядник.

Гу-гу-гак! — гукнул залп.

Ака-ка-ка — ка-ак! — залаяло позади эхо.

— Чего вы? — испуганно крикнул из-за сосен Кошевой и — по лошадям: — Тррр, проклятый! Взбесился! Тю, черт! — Голос его прозвучал отрезвляюще громко.

По хлебам скакали, разбившись цепкой, гусары. Один из них, тот, который ехал передним на сытом вороном коне, стрелял вверх. Последний, отставший, припадая к шее лошади, оглядывался, держал левой рукой кепи.

Чубатый вскочил первый и побежал, путаясь ногами в житах, держа наперевес винтовку. Саженях в ста взбрыкивала и сучила ногами упавшая лошадь, около нее без кепи стоял венгерский гусар, потирал ушибленное при падении колено. Он что-то крикнул еще издали и поднял руки, оглядываясь на скакавших вдали товарищей.

Все это произошло так быстро, что Григорий опомнился только тогда, когда Чубатый подвел пленника к сосне.

— Сымай, вояка! — крикнул он, грубо рванув к себе палаш.

Пленник растерянно улыбнулся, засуетился. Он с готовностью стал снимать ремень, но руки его заметно дрожали, ему никак не удавалось отстегнуть пряжку. Григорий осторожно помог ему, и гусар — молодой, рослый, пухлощекий парень, с крохотной бородавкой, прилепившейся на уголке бритой верхней губы,— благодарно ему улыбаясь, закивал головой. Он словно обрадовался, что его избавили от оружия, пошарил в карманах, оглядывая казаков, достал кожаный кисет и залопотал что-то, жестами предлагая покурить.

— Угощает,— улыбнулся урядник, а сам уж щупал в кармане бумажку.

— Закуривай на чужбяк,— хохотнул Силантьев.

Казаки свернули цигарки, закурили. Черный трубочный табак крепко ударил в головы.

— Винтовка его где? — с жадностью затягиваясь, спросил урядник.

— Вот она,— Чубатый показал из-за спины простроченный желтый ремень.

— Надо его в сотню. В штабе, небось, нуждаются в «языке». Кто погонит, ребята? — спросил урядник, перхая и обводя казаков посоловелыми глазами.

— Я провожу,— вызвался Чубатый.

— Ну, гони.

Пленный, видимо, понял, заулыбался кривой, жалкой улыбкой; пересиливая себя, он суетился, вывернул карманы и совал казакам помятый влажный шоколад.

— Русин их... русин... нихт австриц! — Он коверкал слова, смешно жестикулировал и все совал казакам пахучий мятый шоколад.

— Оружие есть окромя? — спросил его урядник.— Да ты не лопочи, не поймем все одно. Ливорверт есть? Бах-бах есть? — Урядник нажал мнимый спуск.

Пленный яростно замотал головой.

— Не есть! Не есть!

Он охотно дал себя обыскать, пухлые щеки его дрожали. Из разорванных на колене рейтуз стекала кровь, виднелась на розовом теле ссадина. Он прикладывал к ней носовой платок, морщился, чмокал губами, безумолчно говорил... Кепи его осталось возле убитой лошади, он просил позволения сходить взять одеяло, кепи и записную книжку, в ней ведь фотография его родных. Урядник тщетно силился его понять и безнадежно махнул рукой:

— Гони.

Чубатый взял у Кошевого своего коня, сел, поправляя винтовочный ремень, указал рукой:

— Иди, служивый, тоже вояка, едрена-матрена!

Поощренный его улыбкой, пленный улыбнулся и, шагая рядом с лошадью, даже с заискивающей фамильярностью хлопнул ладонью по сухой голени Чубатого. Тот сурово откинул его руку, натянул поводья, пропуская его вперед.

— Иди, черт! Шутки шутишь?

Пленный виновато заторопился, пошел уже серьезный, часто оглядываясь на оставшихся казаков. Белесые его вихры задорно торчали на макушке. Таким он и остался в памяти Григория — накинутая внапашку расшивная гусарская куртка, белесые, торчмя поднятые вихры и уверенная, бравая походка.

— Мелехов, поди его коня расседлай,— приказал уря-

дник и с сожалением плюнул на остаток цигарки, уже припекавшей пальцы.

Григорий снял с убитой лошади седло, зачем-то поднял лежавшее неподалеку кепи. Он понюхал подкладку, ощутил пряный запах дешевого мыла и пота. Нес седло и бережно держал в левой руке гусарское кепи. Казаки, сидя на корточках у сосны, копались в сумках, рассматривали невиданной формы седло.

— Табачок хорош у него, надо бы ишо на цигарку попросить,— пожалел Силантьев.

— Да, что верно, то верно, хорош табак.

— Будто ажник сладкий, так маслом по глотке и идет...— Урядник вздохнул при воспоминании и проглотил слюну.

Спустя несколько минут из-за сосны показалась голова лошади. Чубатый ехал обратно.

— Ну?.. — испуганно вскочил урядник.— Упустил?

Помахивая плетью, Чубатый подъехал, спешился, потянулся, разминая плечи.

— Куда дел австрийца? — допытывался, подступая, урядник.

— Чего лезешь? — огрызнулся Чубатый.— Побег он... думал убечь...

— Упустил?

— Выехали на просеку, он и ахнул... Срубил я его.

— Брешешь ты! — крикнул Григорий.— Зря убил!

— Ты чего шумишь? Тебе какое дело? — Чубатый поднял на Григория ледяные глаза.

— Ка-а-ак? — Григорий медленно привстал, шарил вокруг себя подпрыгивающими руками.

— Не лезь, куда не надо! Понял, а? Не лезь! — строго повторил Чубатый.

Рванув за ремень винтовку, Григорий стремительно вскинул ее к плечу.

Палец его прыгал, не попадая на спуск, странно косилось побуревшее лицо.

— Но-нно! — угрожающе вскрикнул урядник, подбегая к Григорию.

Толчок опередил выстрел, и пуля, сбивая хвою с сосен, запела тягуче тонко.

— Что ж это! — ахнул Кошевой.

Силантьев как сидел с открытым ртом, так и остался.

Урядник, пихая Григория в грудь, вырвал у него винтовку, лишь Чубатый не изменил положения: он все так же стоял, отставив ногу, держался левой рукой за поясок.

— Стреляй ишо.

— Убью!..— рванулся к нему Григорий.

— Да вы что?.. Как это? Под суд, под расстрел хочете? Клади оружие!..— заорал урядник и, отпихнув Григория, стал между ними, распятьем расклячив руки.

— Брешешь, не убьешь! — сдержанно смеялся Чубатый, подрыгивая отставленной ногой.

На обратном пути, уже в сумерках, Григорий первый заметил на просеке труп зарубленного. Подскакал, опережая остальных, удерживая всхрапывающего коня, всмотрелся: на курчавом мху, далеко откинув вывернутую руку, плашмя, зарывшись лицом в мох, лежал зарубленный. На траве тускло, осенним листом желтела ладонь. Ужасающий удар, нанесенный, по всей вероятности, сзади, расклинил пленного надвое, от плеча наискось до пояса.

— Полохнул он его...— глухо проговорил урядник, проезжая, испуганно косясь на белесые вихры убитого, никло торчавшие на покривленной голове.

Казаки ехали молча до места стоянки сотни. Сгущались сумерки. Черную перистую тучу гнал с запада ветерок. Откуда-то с болота подползал пресный запах мочажинника, ржавой сырости, гнилья; гукала выпь. Дремная тишина прерывалась звяком конской сбруи, случайным стуком шашки о стремя, хрустом хвои под копытами лошадей. Над просекой меркли на стволах сосен темно-рудые следы ушедшего солнца. Чубатый часто курил. Тлеющий огонек освещал его толстые, с выпуклыми черными ногтями пальцы, крепко сжимавшие цигарку.

Туча наплывала над лесом, подчеркивая, сгущая кинутые на землю линялые, непередаваемо-грустные краски вечера.

XIII

Операция по захвату города началась рано утром. Пехотные части, имея на флангах и в резерве кавалерию, должны были повести наступление от леса с рассветом. Где-то произошла путаница: два полка пехоты не пришли вовремя; 211-й стрелковый полк получил распоряжение переброситься на левый фланг; во время обходного движения, предпринятого другим полком, его обстреляла своя же батарея; творилось несуразное, губительная путаница коверкала планы, и наступление грозило окончиться если не разгромом наступающих, то, во всяком случае, неудачей.

Пока перетасовывалась пехота и выручали артиллеристы упряжки и орудия, по чьему-то распоряжению направленные ночью в болото, 11-я дивизия пошла в наступление. Лесистая и болотистая местность не позволяла атаковать противника широким фронтом, на некоторых участках эскадронам нашей кавалерии приходилось идти в атаку повзводно. Четвертая и пятая сотни 12-го полка были отведены в резерв, остальные уже втянулись в волну наступления, и до оставшихся донесло через четверть часа гул и трясучий рвущийся вой:

«Ррра-а-а-а — р-а-а-а-а — ррр-а-а-а!..»

— Тронулись наши!

— Пошли.

— Пулемет-то частит.

— Наших, должно, выкашивает...

— Замолчали, а?

— Добираются, значит.

— Зараз и мы любовинку потянем,— отрывочно переговаривались казаки.

Сотни стояли на лесной поляне. Крутые сосны жали глаз. Мимо, чуть не на рысях, прошла рота солдат. Молодецки затянутый фельдфебель приотстал, пропуская последние ряды, крикнул хрипато:

— Не мни ряды!

Рота протопотала, звякая манерками, и скрылась за ольховой зарослью.

Совсем издалека, из-за лесистого увала, удаляясь, опять приплыл ослабевший перекатистый крик: «Ра-а-а-а — а-урр-ррра-а-а!.. Аа-а!..» — и сразу, как обрезанный, крик смолк. Густая, нудная нависла тишина.

— Вот когда добрались!

— Ломают один одного... Секутся!

Все напряженно вслушивались, но тишина стояла непроницаемая. На правом фланге громила наступающих австрийская артиллерия и частой строчкой прошивали слух пулеметы.

Мелехов Григорий оглядывал взвод. Казаки нервничали, кони беспокоились, будто овод жалил. Чубатый, повесив на луку фуражку, вытирал сизую потную лысину, рядом с Григорием жадно напивался махорочным дымом Мишка Кошевой. Все предметы вокруг были отчетливы и преувеличенно реальны,— так бывает, когда не спишь всю ночь.

Сотни простояли в резерве часа три. Стрельба утихала и нарастала с новой силой. Над ними прострекотал и дал

несколько кругов чей-то аэроплан. Он кружился на недоступной высоте и полетел на восток, забирая все выше; под ним в голубом плесе вспыхнули молочные дымки шрапнельных разрывов: били из зенитки.

Резерв ввели в дело к полудню. Уже искурен был весь запас махорки и люди изныли в ожидании, когда прискакал ординарец-гусар. Сейчас же командир четвертой сотни вывел сотню на просеку и повел куда-то в сторону (Григорию казалось, что едут они назад). Минут двадцать ехали по чаще, смяв построение. К ним все ближе подползали звуки боя; где-то неподалеку, сзади, беглым огнем садила батарея, над ними с клекотом и скрежетом, одолевая сопротивление воздуха, проносились снаряды. Сотня, расчлененная блужданием по лесу, в беспорядке высыпала на чистое. В полуверсте от них на опушке венгерские гусары рубили прислугу русской батареи.

— Сотня, стройся!

Не успели разомкнуть строй.

— Сотня, шашки вон, в атаку марш-э-марш!

Голубой ливень клинков. Сотня, увеличивая рысь, перешла в намёт.

Возле запряжки крайнего орудия суетилось человек шесть венгерских гусар. Один из них тянул под уздцы взноровившихся лошадей; второй бил их палашом, остальные, спешенные, пытались стронуть орудие, помогали, вцепившись в спицы колес. В стороне на куцехвостой шоколадной масти кобылице гарцевал офицер. Он отдавал приказания. Венгерцы увидели казаков и, бросив оружие, поскакали.

«Вот так, вот так, вот так!» — мысленно отсчитывал Григорий конские броски. Нога его на секунду потеряла стремя, и он, чувствуя свое неустойчивое положение в седле, ловил стремя с внутренним страхом; свесившись, поймал, вдел носок и, подняв глаза, увидел орудийную запряжку шестерней, на передней — обнявшего руками конскую шею зарубленного ездового, в заплавленной кровью и мозгами рубахе. Копыта коня опустились на хрустнувшее под ними тело убитого номерного. Возле опрокинутого зарядного ящика лежало еще двое, третий навзничь распластался на лафете. Опередив Григория, скакал Силантьев. Его почти в упор застрелил венгерский офицер на куцехвостой кобылице. Подпрыгнув на седле, Силантьев падал, ловил, обнимал руками голубую даль... Григорий дернул поводья, норовя зайти с подручной стороны, чтобы удобней было рубить; офицер, заметив его

маневр, выстрелил из-под руки. Он расстрелял в Григория револьверную обойму и выхватил палаш. Три сокрушительных удара он, как видно, искусный фехтовальщик, отразил играючи. Григорий, кривя рот, настиг его в четвертый раз, привстав на стременах (лошади их скакали почти рядом, и Григорий видел пепельно-серую, тугую, бритую щеку венгерца и номерную нашивку на воротнике мундира), он обманул бдительность венгерца ложным взмахом и, изменив направление удара, пырнул концом шашки, второй удар нанес в шею, где кончается позвоночный столб. Венгерец, роняя руку с палашом и поводья, выпрямился, выгнув грудь, как от укуса, слег на луку седла. Чувствуя чудовищное облегчение, Григорий рубанул его по голове. Он видел, как шашка по стоки въелась в кость выше уха.

Страшный удар в голову сзади вырвал у Григория сознание. Он ощутил во рту горячий рассол крови и понял, что падает,— откуда-то сбоку, кружась, стремительно неслась на него одетая жнивьем земля.

Жестокий толчок при падении на секунду вернул его к действительности. Он открыл глаза; омывая, их залила кровь. Топот возле уха и тяжкий дых лошади: «хап, хап, хап!» В последний раз открыл Григорий глаза, увидел раздутые розовые ноздри лошади, чей-то пронизавший стремя сапог. «Все»,— змейкой скользнула облегчающая мысль. Гул и черная пустота.

XIV

В первых числах августа сотник Евгений Листницкий решил перевестись из лейб-гвардии Атаманского полка в какой-либо казачий армейский полк. Он подал рапорт и через три недели выхлопотал себе назначение в один из полков, находившихся в действующей армии. Оформив назначение, он перед отъездом из Петрограда известил отца о принятом решении коротким письмом:

«Папа, я хлопотал о переводе меня из Атаманского полка в армию. Сегодня я получил назначение и уезжаю в распоряжение командира 2-го корпуса. Вас, по всей вероятности, удивит принятое мною решение, но я объясняю его следующим образом: меня тяготила та обстановка, в которой приходилось вращаться. Парады, встречи, караулы — вся эта дворцовая служба набила мне оскомину. Приелось все это до тошноты, хочется живого дела и... если хотите — подвига. Надо полагать, что во мне сказыва-

ется славная кровь Листницких, тех, которые, начиная с Отечественной войны, вплетали лавры в венок русского оружия. Еду на фронт. Прошу вашего благословения. На той неделе я видел императора перед отъездом в Ставку. Я обожествляю этого человека. Я стоял во внутреннем карауле во дворце. Он шел с Родзянко и, проходя мимо меня, улыбнулся, указывая на меня глазами, сказал по-английски: «Вот моя славная гвардия. Ею в свое время я побью карту Вильгельма». Я обожаю его, как институтка. Мне не стыдно признаться вам в этом, даже несмотря на то, что мне перевалило за 28. Меня глубоко волнуют те дворцовые сплетни, которые паутиной кутают светлое имя монарха. Я им не верю и не могу верить. На днях я едва не застрелил есаула Громова за то, что он в моем присутствии осмелился непочтительно отозваться об ее императорском величестве. Это гнусно, и я ему сказал, что только люди, в жилах которых течет холопская кровь, могут унизиться до грязной сплетни. Этот инцидент произошел в присутствии нескольких офицеров. Меня охватил пароксизм бешенства, я вытащил револьвер и хотел истратить одну пулю на хама, но меня обезоружили товарищи. С каждым днем мне все тяжелее было пребывать в этой клоаке. В гвардейских полках — в офицерстве, в частности,— нет того подлинного патриотизма, страшно сказать — нет даже любви к династии. Это не дворянство, а сброд. Этим, в сущности, объясняется мой разрыв с полком. Я не могу общаться с людьми, которых не уважаю. Ну, кажется, все. Простите за некоторую несвязность, спешу, надо увязать чемодан и ехать к коменданту. Будьте здоровы, папа. Из армии пришлю подробное письмо.

Ваш *Евгений*».

Поезд на Варшаву отходил в восемь часов вечера. Листницкий на извозчике доехал до вокзала. Позади в сизовато-голубом мерцании огней лег Петроград. На вокзале тесно и шумно. Преобладают военные. Носильщик уложил чемодан Листницкого и, получив мелочь, пожелал их благородию счастливого пути, Листницкий снял портупею и шинель, развязал ремни, постелил на скамье цветастое шелковое кавказское одеяло. Внизу, у окна, разложив на столике домашнюю снедь, закусывал худой, с лицом аскета, священник. Отряхивая с волокнистой бороды хлебные крошки, он угощал сидевшую против него смуглую мозглявенькую девушку в форме гимназистки.

— Отпробуйте-ко. А?

— Благодарю вас.

— Полноте стесняться, вам, при вашей комплекции, надо больше кушать.

— Спасибо.

— Ну вот ватрушечки испробуйте. Может быть, вы, господин офицер, отведаете?

Листницкий свесил голову.

— Вы мне?

— Да, да.— Священник буравил его угрюмыми глазами и улыбался одними тонкими губами под невеселой порослью волокнистых, в проталинках усов.

— Спасибо. Не хочу.

— Напрасно. Входящее в уста не оскверняет. Вы не в армию?

— Да.

— Помогай вам бог.

Листницкий сквозь пленку дремы ощущал будто издалека добиравшийся до слуха густой голос священника, и мнилось уже, что это не священник говорит жалующимся басом, а есаул Громов.

— ...Семья, знаете ли, бедный приход. Вот и еду в полковые духовники. Русский народ не может без веры. И год от году, знаете ли, вера крепнет. Есть, конечно, такие, что отходят, но это из интеллигенции, а мужик за бога крепко держится. Да... Вот так-то...— вздохнул бас, и опять поток слов, уже не проникающих в сознание.

Листницкий засыпал. Последнее, что ощутил наяву,— запах свежей краски от дощатого в мелкую полоску потолка и окрик за окном:

— Багажная принимала, а мне дела нет!

«Что багажная принимала?» — ворохнулось сознание, и ниточка незаметно оборвалась. Освежающий после двух бессонных ночей, навалился сон. Проснулся Листницкий, когда поезд оторвал уже от Петрограда верст сорок пространства. Ритмично татакали колеса, вагон качался, волнуемый рывками паровоза, где-то в соседнем купе вполголоса пели, лиловые косые тени бросал фонарь.

Полк, в который получил назначение сотник Листницкий, понес крупный урон в последних боях, был выведен из сферы боев и спешно ремонтировался конским составом, пополнялся людьми.

Штаб полка находился в большой торговой деревне Березняги. Листницкий вышел из вагона на каком-то безыменном полустанке. Там же выгрузился походный лазарет. Справившись у доктора, куда направляется лаза-

рет, Листницкий узнал, что он перебрасывается с Юго-Западного фронта на этот участок и сейчас же тронется по маршруту Березняги — Ивановка — Крышовинское. Большой багровый доктор очень нелюбезно отзывался о своем непосредственном начальстве, громил штабных из дивизии и, лохматя бороду, поблескивая из-под золотого пенсне злыми глазами, изливал свою желчную горечь перед случайным собеседником.

— Вы меня можете подвезти до Березнягов? — перебил его на полуслове Листницкий.

— Садитесь, сотник, на двуколку. Поезжайте,— согласился доктор и, фамильярно покручивая пуговицу на шинели сотника, ища сочувствия, грохотал сдержанным басом: — Ведь вы подумайте, сотник: протряслись двести верст в скотских вагонах для того, чтобы слоняться тут без дела, в то время как на том участке, откуда мой лазарет перебросили, два дня шли кровопролитнейшие бои, осталась масса раненых, которым срочно нужна была наша помощь.— Доктор со злым сладострастием повторил: «кровопролитнейшие бои», налегая на «р», прирыкивая.

— Чем объяснить эту несуразицу? — из вежливости поинтересовался сотник.

— Чем? — Доктор иронически вспялил поверх пенсне брови, рыкнул: — Безалаберщиной, бестолковщиной, глупостью начальствующего состава, вот чем! Сидят там мерзавцы и путают. Нет распорядительности, просто нет здравого ума. Помните Вересаева «Записки врача»? Вот-с! Повторяем в квадрате-с.

Листницкий откозырял, направился к транспорту, вслед ему каркал сердитый доктор:

— Проиграем войну, сотник! Японцам проиграли и не поумнели. Шапками закидаем, так что уж там...— и пошел по путям, перешагивая лужицы, задернутые нефтяными радужными блестками, сокрушенно мотая головой.

Смеркалось, когда лазарет подъехал к Березнягам. Желтую щетину жнивья перебирал ветер. На западе корячились, громоздясь, тучи. Вверху фиолетово чернели, чуть ниже утрачивали чудовищную свою окраску и, меняя тона, лили на тусклую ряднину неба нежно-сиреневые дымчатые отсветы; в средине вся эта бесформенная громада, набитая как крыги в ледоход на заторе, рассачивалась, и в пролом неослабно струился апельсинового цвета поток закатных лучей. Он расходился брызжущим веером, преломляясь и пылясь, вонзался отвесно, а ниже пролома неописуемо сплетался в вакханальный спектр красок.

У придорожной канавы лежала пристреленная рыжая лошадь. Задняя нога ее, дико задранная кверху, блестела полустертой подковой. Листницкий, подпрыгивая на двуколке, разглядывал лошадиный труп. Ехавший с ним санитар пояснил, сплевывая на вздувшийся живот лошади:

— Зерна обожралась... объелась,— поправился он, взглянув на сотника; хотел еще раз сплюнуть, но слюну проглотил из вежливости, вытер губы рукавом гимнастерки.— Издохла — а убрать не надо... У германцев, у тех не по-нашему.

— А ты почем знаешь? — беспричинно злобно спросил Листницкий и в этот момент так же беспричинно и остро возненавидел равнодушное, с оттенком превосходства и презрения, лицо санитара. Оно было сероватое, скучно, как сентябрьское поле в жнивье; ничем не отличалось от тысячи других мужицко-солдатских лиц, тех, которые встречал и догонял сотник на пути от Петрограда к фронту. Все они казались какими-то вылинявшими, тупое застыло в серых, голубых, зеленоватых и иных глазах, и крепко напоминали хожалые, давнишнего чекана медные монеты.

— Я в Германии три года до войны прожил,— не спеша ответил санитар. В оттенке его голоса прозвучало то же превосходство и презрение, которое уловил сотник во взгляде.— Я в Кенисберге на сигаретной фабрике работал,— скучающе ронял санитар, погоняя маштака узлом ременной вожжи.

— Помолчи-ка! — строго сказал Листницкий и повернулся, оглядывая голову лошади с упавшей на глаза челкой и обнаженным, обветревшим на солнце навесом зубов.

Нога ее, задранная кверху, была согнута в коленном сгибе, копыто чуть растрескалось от ухналей, но раковина плотно светлела сизым глянцем, и сотник по ноге, по тонко точеной бабке определил, что лошадь была молодая и хорошей породы.

Двуколка, подпрыгивая по кочковатому проселку, отъезжала дальше. Меркли краски на западной концевине неба, рассасывал ветер тучи. Нога мертвой лошади чернела сзади безголовой часовней. Листницкий все смотрел на нее, и вдруг на лошадь круговиной упал сноп лучей, и нога с плотно прилегшей рыжей шерстью неотразимо зацвела, как некая чудесная безлистая ветвь, окрашенная апельсинным цветом.

Уже на въезде в Березняги лазарет встретился с транспортом раненых.

Пожилой бритый белорус — хозяин первой подводы — шел около лошади, намотав на руку веревочные вожжи. На повозке, облокотившись, лежал казак без фуражки, с забинтованной головой. Он, устало закрыв глаза, жевал хлеб и выплевывал черную пережеванную кашицу. С ним рядом лежал плашмя солдат. На ягодицах у него топорщились безобразно изорванные, покоробленные от спекшейся крови штаны. Солдат, не поднимая головы, дико ругался. Листницкий ужаснулся, вслушиваясь в интонацию голоса: так истово молятся крепко верующие. На второй повозке внакат лежало человек шесть солдат. Один из них, лихорадочно веселый, рассказывал, щуря воспаленные, горячечные глаза:

— ...будто приезжал посол от ихого инператора и делал предлог заключать мир. Главное — верный человек; в надежде я — он не сбрешет.

— Навряд,— сомневался второй, качая круглой головой со следами давнишней золотухи.

— Подожди, Филипп, могет быть, что и правда, приезжал,— мягким волжским говорком отзывался третий, сидевший к встречным спиной.

На пятой подводе краснели околыши казачьих фуражек. Трое казаков удобно разместились на широком возу, молча глядели на Листницкого, и на их запыленных суровых лицах не было и тени той почтительности, которую видишь в строю.

— Здорово, станичники! — приветствовал их сотник.

— Здравия желаем,— вяло ответил ближайший к подводчику, красивый серебряноусый и бровястый казак.

— Какого полка? — спросил Листницкий, пытаясь разглядеть номер на синем погоне казака.

— Двенадцатого.

— Где сейчас ваш полк?

— Не могем знать.

— Ну, где вас ранило?

— Под деревней тут... недалеко.

Казаки о чем-то пошептались, и один из них, придерживая здоровой рукой раненую, завязанную холстинным лоскутом, соскочил с повозки.

— Ваше благородие, погодите чудо́к.— Он бережно нес простреленную, тронутую воспалением руку, шел по дороге, улыбаясь Листницкому и увалисто переставляя босые ноги.

— Вы не Вёшенской станицы? Не Листницкий?

— Да-да.

— То-то мы угадали. Ваше благородие, не будет ли закурить? Угостите, Христа ради, помираем без табаку!

Он держался за крашеный бок двуколки, шел рядом. Листницкий достал портсигар.

— Вы б нам уважили с десяточек. Нас ить трое,— просительно улыбнулся казак.

Листницкий высыпал ему на коричневую объемистую ладонь весь запас папирос, спросил:

— Много в полку раненых?

— Десятка два.

— Потери большие?

— Много побито. Зажгите, ваш благородие, огоньку. Благодарствуйте.— Казак, прикуривая, отстал, крикнул вдогон: — С Татарского хутора, что возля вашего имения, троих ноне убило. Попятнили казаков.

Он махнул рукой и пошел догонять свою подводу. Ветер ворошил на нем неподпоясанную защитную гимнастерку.

Командир полка, в который получил назначение сотник Листницкий, стоял в Березнягах на квартире у священника. Сотник распрощался на площади с врачом, гостеприимно предоставившим ему место на санитарной двуколке, и пошел, на ходу отряхивая мундир от пыли, расспрашивая встречных о местопребывании штаба полка. Навстречу ему пламенно-рыжий бородач фельдфебель вел солдата в караул. Он козырнул сотнику, не теряя ноги, ответил на вопрос и указал дом. В помещении штаба было затишно, как и во всяком штабе, находящемся далеко от передовых позиций. Писари никли над большим столом, у трубки полевого телефона пересмеивался с невидимым собеседником престарелый есаул. На окнах просторной хаты брунжали мухи и по-комариному ныли далекие телефонные звонки. Вестовой провел сотника к командиру полка на квартиру. В передней недружелюбно встретил его высокий, с треугольным шрамом на подбородке, чем-то расстроенный полковник.

— Я командир полка,— ответил он на вопрос и, выслушав о том, что сотник честь имеет явиться в его распоряжение, молча, движением руки пригласил его в комнату. Уже закрывая дверь за собой, он поправил волосы жестом беспредельной усталости, сказал мягким монотонным голосом:

— Мне вчера передали об этом из штаба бригады. Прошу садиться.

Он расспрашивал Листницкого о прежней службе, о столичных новостях, о дороге; и за все время короткого их

разговора ни разу не поднял на собеседника отягощенных какой-то большой усталостью глаз.

«Надо полагать, что задалось ему на фронте. Вид у него смертельно усталый»,— соболезнующе подумал сотник, разглядывая высокий умный лоб полковника. Но тот, словно разубеждая его, эфесом шашки почесал переносье, сказал:

— Погодите, сотник, познакомьтесь с офицерами, я, знаете ли, не спал три ночи. В этой глухомани нам, кроме карт и пьянства, нечего делать.

Листницкий, козыряя, таил в усмешке жесткое презренье. Он ушел, неприязненно вспоминая встречу, иронизируя над тем уважением, которое невольно внушили ему усталый вид и шрам на широком подбородке полковника.

XV

Дивизия получила задание форсировать реку Стырь и около Ловишчей выйти противнику в тыл.

Листницкий за несколько дней сжился с офицерским составом полка; его быстро втянула боевая обстановка, вытравляя прижившиеся в душе уют и мирную дрему.

Операция по форсированию реки была выполнена дивизией блестяще. Дивизия ударила в левый фланг значительной группы войск противника и вышла в тыл. Под Ловишчами австрийцы, при содействии мадьярской кавалерии, пытались перейти в контрнаступление, но казачьи батареи смели их шрапнелью, развернутые мадьярские эскадроны отступали в беспорядке, уничтожаемые фланговым огнем, преследуемые казаками.

Листницкий с полком ходил в контратаку, дивизион их наседал на отступавшего неприятеля. Третий взвод, которым командовал Листницкий, потерял одного казака убитым и четырех ранеными. С внешним спокойствием сотник проехал мимо Лощенова, старался не слушать его хриплого низкого голоса. Лощенов — молодой горбоносый казак Краснокутской станицы — лежал, придавленный навалившимся на него убитым конем. Он был ранен в предплечье, лежал тихо, скалясь, просил проезжавших мимо казаков:

— Братушки, не покиньте! Ослобоните, братушки...

Низкий, иссеченный му́кой голос звучал тускло, но не было в мятущихся сердцах проезжавших казаков сострадания, а если и было, то воля, не давая ему просачиваться, мяла и давила неослабно. Взвод пять минут ехал шагом, давая передышку хрипевшим от скачки лошадям. В полуверсте от них уходили расстроенные эскадроны мадьяр.

Между их красивыми, в опушке, куртками мережились сине-серые мундиры пехотинцев. По гребню сползал австрийский обоз, над ним прощально взмахивали молочные дымки шрапнелей. Откуда-то слева по обозу беглым огнем садила батарея. Гулкие раскаты стлались по полю, находя в ближнем лесу многоголосые отклики.

Войсковой старшина Сафронов, ведший дивизион, скомандовал «рысью», и три сотни, рассыпаясь, вытягиваясь, пошли тяжкой трусцой. Лошади под всадниками качались, желто-розовыми цветами падала с них пена.

Эту ночь ночевали в маленькой деревушке.

Двенадцать человек офицеров полка теснились в одной халупе. Разбитые усталостью, голодные легли спать. Около полуночи приехала полевая кухня. Хорунжий Чубов принес котелок щей, жирный их аромат разбудил офицеров, и через четверть часа, опухшие со сна, офицеры ели жадно, без разговоров, наверстывали за два потерянных в боях дня. После позднего обеда исчез сон. Офицеры, отягощенные едой, лежали на бурках, на соломе, курили.

Подъесаул Калмыков, маленький круглый офицер, носивший не только в имени, но и на лице признаки монгольской расы, говорил, резко жестикулируя:

— Эта война не для меня. Я опоздал родиться столетия на четыре. Знаешь, Петр,— говорил он, обращаясь к сотнику Терсинцеву, произнося слово «Петр» с подчеркнутым «е» вместо «ё»,— я не доживу до конца этой войны.

— Брось хиромантию,— басовито хрипнул тот из-под бурки.

— Никакой хиромантии. Это конец предопределенный. У меня атавизм, и я, ей-богу, тут лишний. Когда мы сегодня шли под огнем, я дрожал от бешенства. Не выношу, когда не вижу противника. Это гадкое чувство равносильно страху. Тебя разят на расстоянии нескольких верст, а ты едешь на коне, как дудак по степи под охотничьим прицелом.

— Я смотрел в Купалке австрийскую гаубицу. Кто из вас видел, господа? — спросил есаул Атаманчуков, слизывая с рыжих, подстриженных по-английски усов крошки мясных консервов.

— Замечательно! Прицельная камера, весь механизм — верх совершенства,— восторженно заметил хорунжий Чубов, успевший опорожнить второй котелок щей.

— Я видел, но о своих впечатлениях умалчиваю. Профан в артиллерии. По-моему, пушка, как пушка,— зевластая.

— Завидую тем, кто в свое время воевал первобытным способом,— продолжал Калмыков, теперь уже обращаясь к Листницкому.— В честном бою врубиться в противника и шашкой разделить человека надвое — вот это я понимаю, а то черт знает что.

— В будущих войнах роль кавалерии сведется к нулю.

— Вернее, ее самой не будет существовать.

— Ну, это-то положим!

— Вне всякого сомнения.

— Слушай, Терсинцев, нельзя же человека заменить машиной. Это крайность.

— Я не про человека говорю, а про лошадь. Мотоцикл или автомобиль ее заменит.

— Воображаю, автомобильный эскадрон.

— Глупость! — загорячился Калмыков.— Конь еще послужит армиям. Абсурдная фантазия! Что будет через двести — триста лет, мы не знаем, а сейчас, во всяком случае, конница...

— Что ты будешь делать, Дмитрий Донской, когда траншеи опояшут фронт? А? Ну-ка, отвечай!

— Прорыв, налет, рейд в глубокий тыл противника — вот работа кавалерии.

— Ерунда.

— Ну, там посмотрим, господа.

— Давайте спать.

— Слушайте, оставьте споры, пора и честь знать, ведь остальные спать хотят.

Возгоревшийся спор угасал. Кто-то под буркой храпел и высвистывал. Листницкий, не принимавший участия в разговоре, лежал на спине, вдыхая пряный запах постеленной ржаной соломы. Калмыков, крестясь, лег с ним рядом.

— Вы поговорите, сотник, с вольноопределяющимся Бунчуком. Он в вашем взводе. Интересный парень!

— Чем? — спросил Листницкий, поворачиваясь к Калмыкову спиной.

— Обрусевший казак. Жил в Москве. Простой рабочий, но натасканный по этим разным вопросам. Бедовый человек и превосходный пулеметчик.

— Давайте спать,— предложил Листницкий.

— Пожалуй,— думая о чем-то своем, согласился Калмыков и, шевеля пальцами ног, виновато поморщился.— Вы, сотник, извините, это у меня от ног такой запах... Знаете ли, третью неделю не разуваюсь, карпетки истлели от пота... Такая мерзость, знаете. Надо у казаков портянки добыть.

— Пожалуйста,— окунаясь в сон, промямлил Листницкий.

Листницкий забыл о разговоре с Калмыковым, но на другой день случай столкнул его с вольноопределяющимся Бунчуком. На рассвете командир сотни приказал ему выехать в рекогносцировку и, если представится возможным, связаться с пехотным полком, продолжавшим наступление на левом фланге. Листницкий, в рассветной полутьме блуждая по двору, усыпанному спавшими казаками, разыскал взводного урядника.

— Наряди со мной пять человек казаков в разъезд. Скажи, чтоб приготовили мне коня. Побыстрей.

Через пять минут к порогу халупы подошел невысокий казак.

— Ваше благородие,— обратился он к сотнику, насыпавшему в портсигар папирос,— урядник не назначает меня в разъезд потому, что не моя очередь. Разрешите вы мне поехать?

— Выслуживаешься? Чем проштрафился? — спросил сотник, силясь разглядеть в серенькой темноте лицо казака.

— Я ничем не проштрафился.

— Что ж, поезжай...— решил Листницкий и встал.

— Эй, ты! — крикнул он вслед уходившему казаку.— Вернись!

Тот подошел.

— Скажи уряднику...

— Моя фамилия Бунчук,— перебил его казак.

— Вольноопределяющийся?

— Так точно.

— Скажите уряднику,— овладевая собой после минутного смущения, поправился Листницкий,— чтобы он... Ну, да ладно, идите, я сам скажу.

Темнота поредела. Разъезд выехал за деревушку и, минуя посты и сторожевое охранение, взял направление на отмеченную по карте деревню.

Отъехав с полверсты, сотник перевел лошадь на шаг.

— Вольноопределяющийся Бунчук!

— Я.

— Потрудитесь подъехать.

Бунчук поравнял своего незавидного коня с чистокровным донцом сотника.

— Вы какой станицы? — спросил Листницкий, разглядывая профиль вольноопределяющегося.

— Новочеркасской.

— Можно узнать причину, понудившую вас идти вольноопределяющимся?

— Пожалуйста,— протяжно и чуть насмешливо ответил Бунчук и поглядел на сотника жесткими зеленоватыми глазами. Неморгающий взгляд их был тверд, неломок.— Меня интересует военное искусство. Хочу постигнуть.

— Для этого есть военные школы.

— Да, есть.

— В чем же дело?

— Сначала хочу на практике пробовать. Теория приложится.

— Ваша профессия до войны?

— Рабочий.

— Где вы работали?

— В Петербурге, Ростове-на-Дону, в Туле на оружейном... Я хочу просить о переводе меня в пулеметную команду.

— Вы знакомы с пулеметом?

— Знаю системы Шоша, Бертье, Мадсена, Максима, Гочкиса, Бергмана, Виккерса, Льюиса, Шварцлозе.

— Ого! Я поговорю с командиром полка.

— Пожалуйста.

Сотник еще раз оглядел невысокую плотную фигуру Бунчука. Напоминал тот обдонское дерево караич: ничего особенного, бросающегося в глаза в нем не было,— все было обычно, лишь твердо загнутые челюсти да глаза, ломающие встречный взгляд, выделяли его из гущи остальных лиц.

Улыбался он редко, излучинами губ, глаза от улыбки не мягчели, неприступно сохраняли неяркий свой блеск. И весь он был скуп на краски, холодно-сдержан,— караич, крутое, железной твердости дерево, выросшее на серой супеси неприветливой обдонской земли.

Некоторое время они ехали молча. Широкие ладони Бунчука лежали на облупленной зеленой луке седла. Листницкий достал папироску и, прикуривая от спички Бунчука, почувствовал от руки его сладкий смолистый запах конского пота. Коричневые волосы на тыльной стороне ладоней лежали густо, как лошадиная шерсть. Листницкому невольно хотелось их погладить. Глотая терпкий дым, он проговорил:

— От этого леса вы и еще один казак поедете по тому проселку влево. Видите?

— Да.

— Если на расстоянии полуверсты не нападете на нашу пехоту, вернетесь.

— Слушаюсь.

Поехали рысью. Подруженьки-березки стояли на отшибе у леска тесной кучей. За ними томила глаза нерадостная прожелтень низкорослой сосны, курчавилось редкое мелколесье, кустарник, помятый скакавшими через него австрийскими обозами. Справа, издалека, давил землю артиллерийский гром, здесь же, у березок, было несказанно тихо. Земля впитывала богатую росу, розовели травы, все яркоцветные, наливные в предосеннем, кричащем о скорой смерти цвету. Листницкий остановился возле березок, рассматривал в биноколь взгорье, сугорбившееся за лесом. К нему на медную головку шашки села, расправляя крылышки, пчела.

— Глупая,— сожалеюще и тихо сказал Бунчук, осуждая пчелиный промах.

— Что? — Листницкий оторвался от бинокля.

Бунчук глазами указал ему на пчелу, и Листницкий улыбнулся.

— Горек будет ее мед, как вы думаете?

Ответил ему не Бунчук. Откуда-то из-за дальней купы сосен пулемет взлохматил тишину пронзительным сорочьим чеканьем, разбрызг воющих пуль пронизал березки, на гриву сотникова коня, кружась и колеблясь, упала ссеченная пулей ветка.

Они скакали к деревушке, понукая лошадей криками, плетьми. Вслед им без единой передышки кончал австрийский пулемет ленту.

После Листницкому неоднократно приходилось встречаться с вольноопределяющимся Бунчуком, и всегда он поражался той непреклонной воле, которая светлела в жестких глазах Бунчука, дивился и не мог разгадать, что хранилось за неуловимой скрытностью, висевшей тучевой тенью на лице такого простого с виду человека. Бунчук и говорил как-то недосказанно, с улыбкой, зажатой в твердом углу губ, будто шел, обходя одному ему известную правду по кривой, извилистой стежке. Его перевели в пулеметную команду. Недели через полторы (полк стал на суточный отдых) Листницкий по дороге к командиру сотни догнал Бунчука. Тот шел мимо сожженного сарая, игриво помахивая кистью левой руки.

— А-а, вольноопределяющийся!

Бунчук повернул голову и, козыряя, посторонился.

— Куда вы идете? — спросил Листницкий.

— К начальнику команды.

— Нам по пути, кажется?

— Кажется, да.

Они шли по улице разрушенной деревни некоторое время молча. Во дворах, около редких уцелевших стодолов, суетились люди, проезжали верховые, прямо посреди улицы дымилась полевая кухня с длинным хвостом дожидавшихся в очереди казаков, сверху точилась промозглая мелкая сырость.

— Ну как, изучаете войну? — косо глянув на шагавшего чуть позади Бунчука, спросил Листницкий.

— Да... пожалуй, изучаю.

— Что вы думаете делать после войны? — почему-то спросил Листницкий, глядя на волосатые руки вольноопределяющегося.

— Кто-то посеянное будет собирать, а я... погляжу.— Бунчук сощурил глаза.

— Как вас понять?

— Знаете, сотник (еще пронзительнее сощурился тот), поговорку: «Сеющий ветер пожнет бурю»? Так вот.

— А вы бы без аллегорий, яснее.

— И так ясно. Прощайте, сотник, мне налево.

Бунчук приложил волосатые пальцы к козырьку казачьей фуражки, свернул влево.

Пожимая плечами, сотник долго провожал его взглядом.

«Что он, оригинальничает или просто человек с чудинкой?» — раздраженно думал Листницкий, шагая в опрятную землянку командира сотни.

XVI

Вместе со второй очередью ушла и третья. Станицы, хутора на Дону обезлюдели, будто на покос, на страду вышла вся Донщина.

На границах горькая разгоралась в тот год страда: лапала смерть работников, и не одна уж простоволосая казачка отпрощалась, отголосила по мертвому: «И, родимый ты мо-о-о-ой!... И на кого ж ты меня покинул?..»

Ложились родимые головами на все четыре стороны, лили рудую казачью кровь и, мертвоглазые, беспробудные, истлевали под артиллерийскую панихиду в Австрии, в Польше, в Пруссии... Знать, не доносил восточный ветер до них плач жен и матерей.

Цвет казачий покинул курени и гибнул там в смерти, во вшах, в ужасе.

В погожий сентябрьский день летала над хутором Татарским молочно-радужная паутина, тонкая такая, хлопчатая. По-вдовьему усмехалось обескровленное солнце, строгая девственная синева неба была отталкивающе чиста, горделива. За Доном, тронутый желтизной, горюнился лес, блекло отсвечивал тополь, дуб ронял редкие узорчато-резные листья, лишь ольха крикливо зеленела, радовала живучестью своей стремительный сорочий глаз.

В этот день Пантелей Прокофьевич Мелехов получил письмо из действующей армии. Письмо принесла с почты Дуняшка. Почтмейстер, вручая его, кланялся, тряс плешиной, униженно разводил руками:

— Вы, ради бога, простите меня, письмо-то я распечатал. Так и скажите папаше: мол, Фирс Сидорович письмо, так и так, мол, вскрыл. Очень, мол, ему было интересно про войну узнать, как там и что... Уж вы простите и папаше Пантелею Прокофьевичу так и доложите.

Против обыкновения он был растерян и вышел проводить Дуняшку, не замечая того, что нос его измазан чернилами.

— Уж вы там того, не взыщите, упаси бог... я ведь по знакомству...— несвязно бормотал он вслед Дуняшке, кланялся, и в этом почувствовала она что-то предостерегающее, как толчок.

Домой вернулась взволнованная, долго не могла достать из-за пазухи письмо.

— Скорей, ты!..— прикрикнул Пантелей Прокофьевич, гладя дрожащую бороду.

Дуняшка, доставая конверт, торопливо говорила:

— Почтмейстер сказал, что прочитал письмо из антиресу и чтоб вы, батя, на него не обижались.

— Черт с ним! От Гришки? — напряженно спросил старик, дыша с сапом в лицо Дуняшке.— От Григория, никак? От Петра, что ли?

— Батяня, нет... рука чужая на письме.

— Читай ты, не томи! — закричала Ильинична, тяжело подкатываясь к лавке (у нее пухли ноги, ходила она, редко их переставляя, ровно на колесиках катилась).

Запыхавшись, прибежала с надворья Наталья, стала у печи, сдавив руками грудь, скособочив изуродованную шрамом шею. На губах ее трепетно, солнечным зайчиком дрожала улыбка, она ждала поклона от Гриши и хоть легкого, хоть вскользь, упоминания о ней — в награду за ее собачью привязанность, за верность.

— Дарья-то где? — шепнула старуха.

— Цыцте! — зыкнул Пантелей Прокофьевич (бешенство округлило его глаза) и — к Дуняшке: — Читай!

— «Уведомляю Вас...» — начала Дуняшка и, сползая с лавки, дрожа, крикнула дурным голосом: — Батя! Батянюшка!.. Ой, ма-а-ама! Гриша наш!.. Ох! Ох! Гришу... убили!

Путаясь в листьях чахлой герани, билась на окне полосатая оса, жужжала. На дворе мирно квохтала курица, через распахнутую дверь слышался далекий детский, бубенчиковый смех.

На лице Натальи комкалась судорога, а углы губ еще не успели стереть недавней трепетной улыбки.

Поднимаясь, паралично дергая головой, с исступленным недоумением смотрел Пантелей Прокофьевич на ползавшую в корчах Дуняшку.

Уведомляю Вас, что сын Ваш, казак 12-го Донского казачьего полка, Григорий Пантелеевич Мелехов в ночь на 16 сентября с/г. убит в бою под городом Каменка-Струмилово. Сын Ваш пал смертью храбрых, пусть это послужит Вам утешением в невознаградимой потере. Оставшееся имущество будет передано родному брату его Петру Мелехову. Конь остался при полке.

Командир четвертой сотни подъесаул *Полковников.*

Действующая армия. 18 сентября 1914 г.

После получения известия о смерти Григория Пантелей Прокофьевич опустился как-то сразу. Он старел день ото дня на глазах у близких. Тяжелая развязка настигала его неотвратимо; слабела память, и мутился рассудок. Он ходил по куреню сутулый, чугунно-почерневший; горячечный масленый блеск глаз выдавал его душевную сумятицу.

Письмо от командира сотни сам он положил под божницу и несколько раз за день выходил в сенцы, манил Дуняшку пальцем.

— Выдь-ка ко мне.

Та выходила.

— Принеси письмо об Григорию. Читай! — приказывал он, опасливо поглядывая на дверь горницы, за которой томилась в неумолчной тоске Ильинична.— Ты потише читай, вроде как про себя,— он хитро подмигивал, весь корежась, указывая глазами на дверь,— потише читай, а то мать... беда...

Дуняшка, глотая слезы, прочитывала первую фразу, и Пантелей Прокофьевич, обычно сидевший на корточках, поднимал торчмя широкую, что лошадиное копыто, черную ладонь.

— Стой! Дальше знаю... Отнеси, положь под божничку... Ты потише, а то мать наша...— опять он отвратительно подмигивал и весь кривился, как древесная кора, сжираемая огнем.

Седел он круговинами, ослепительно белая седина быстро испятнила голову, нитями разметалась в бороде. Он стал прожорлив, ел много и неряшливо.

На девятый день после панихиды пригласили попа Виссариона и родных на поминки по убиенном воине Григории.

Пантелей Прокофьевич ел быстро и жадно, на бороде его звеньями лежала лапша. Ильинична, со страхом приглядывавшаяся к нему в эти последние дни, заплакала:

— Отец! Чтой-то ты?..

— А чего? — засуетился старик, поднимая от обливной чашки мутные глаза.

Ильинична махнула рукой и отвернулась, комкая у глаз расшитый утиральник.

— Едите вы, батенька, будто три дня не емши! — со злобой сказала Дарья и блеснула глазами.

— Ем? А ну, так... так... так... я не буду...— смутился Пантелей Прокофьевич. Он растерянно оглядел сидевших за столом и, пожевав губами, замолк, на вопросы не отвечал, хмурился.

— Мужайся, Прокофьич. Чтой-то ты так уж отчаялся? — после поминок бодрил его поп Виссарион.— Смерть его святая, не гневи бога, старик. Сын за царя и отечество терновый венец принял, а ты... Грех, Пантелей Прокофьич, грех тебе... Бог не простит!

— Я и то, батюшка... я и то мужаюсь. «Смертью храбрых убитый», командир-то пишет.

Поцеловав руку священника, старик припал к дверному косяку и в первый раз за все время после известия о смерти сына заплакал, бурно содрогаясь. С этого дня переломил себя и духовно оправился.

Каждый по-своему зализывал рану.

Наталья, услышав от Дуняшки о смерти Григория, выбежала на баз. «Руки наложу! Все теперь мне! Скорей!» — гнала ее, огнем хлестала мысль. Наталья билась в руках у Дарьи и с радостным облегчением принимала беспамятство, лишь бы отдалить тот момент, когда вернется сознание и властно напомнит о случившемся. Неделю провела в дурном забытьи и вернулась в мир реального иная, притихшая, изглоданная черной немочью... Незримый покойник ютился в мелеховском курене, и живые пили его васильковый трупный запах.

XVII

Мелеховы на двенадцатый день после известия о смерти Григория получили от Петра два письма сразу. Дуняшка еще на почте прочитала их и — то неслась к дому, как былка, захваченная вихрем, то, качаясь, прислонялась к плетням. Немало переполоху наделала она по хутору и неописуемое волнение внесла в дом.

— Живой Гриша!.. Живой наш родненький!..— рыдающим голосом вопила она еще издали.— Петро пишет!.. Раненый Гриша, а не убитый!.. Живой, живой!..

«Здравствуйте, дорогие родители,— писал Петро в письме, помеченном 20 сентября.— Сообщаю вам, что наш Гришка чудок не отдал богу душу, а сейчас, слава богу, находится живой и здоровый, чего и вам мы желаем от господа бога, здравия и благополучия. Под городом Каменка-Струмиловом был ихний полк в бою, и в атаке видали казаки из его взвода, что срубил его палашом венгерский гусар и Григорий упал с коня, а дальше ничего не было нам известно, и, как я ни пытал у них, ничего не могли они рассказать. После уж узнал я от Мишки Кошевого,— приезжал Мишка в наш полк для связи,— что пролежал Григорий до ночи, а ночью очухался и пополоз. И пополоз он, по звездам дорогу означая, и напал на раненого нашего офицера. Был этот офицер раненый — подполковник драгуновского полка, и ранило его снарядом в живот и в ноги. Григорий взял его и тянул волоком на себе шесть верст. А за это вышла ему награда — Георгиевский крест, и в младшие урядники произвели Гришку. Вот так! Ранение у Гришки пустяковое, скобленул его неприятель палашом в голову, кожу стесал; а упал он с коня и омороком его вдарило. Зараз он в строю — говорил Мишка. Вы извиняйте, что так написано. Пишу на седле, и дюже качает».

В следующем письме просил Петро прислать ему сушеной вишни «с родимых донских своих садов» и просил не забывать, писать чаще; там же ругал он Григория за то, что, по словам казаков, плохо Гришка присматривает за конем,— а ему, Петру, обидно, так как конь Гнедой — его, Петра, собственный и кровный; просил отца написать от себя Григорию.

«Я ему доводил до ума через казаков, что если он не будет ухаживать за конем, как за своим добром, то встренемся, и я ему морду в кровь побью, хотя он и крестовый

кавалер теперь»,— писал Петро, а затем следовали бесчисленные поклоны, и сквозь мятые, подмоченные дождем строки письма ощутимо дышала горькая грусть. Не сладко, видно, и Петру вливалась служба.

Жалко было глядеть на Пантелея Прокофьевича, ошпаренного радостью. Он, сграбастав оба письма, ходил с ними по хутору, ловил грамотных и заставлял читать,— нет, не для себя, а радостью поздней хвастал старик перед всем хутором.

— Ага! Вишь, как Гришка-то мой? А? — Он поднимал торчмя копытистую ладонь, когда читающий, спотыкаясь, по складам, доходил до того места, где Петро описывал подвиг Григория, на себе протащившего шесть верст раненого подполковника.

— Первый крест изо всего хутора имеет,— гордился старик и, ревниво отбирая письма, хоронил их в подкладку мятой фуражки, шел дальше в поисках другого грамотного.

Сам Сергей Платонович, увидя его из окошка лавки, вышел, снимая картуз.

— Зайди-ка, Прокофьевич.

Он жал старику руку своей мясистой белой рукой, говорил:

— Ну, поздравляю, поздравляю... Кхм... Таким сыном гордиться надо, а вы его отпоминали. Читал про его подвиг в газетах.

— И в газетах прописано? — давился Пантелей Прокофьевич сухой спазмой.

— Есть сообщение, читал, читал.

Сергей Платонович сам достал с полки три четвертки лучшего турецкого табаку, не вешая насыпал в кулек дорогих конфет; передавая все это Пантелею Прокофьевичу, сказал:

— Будешь Григорию Пантелеевичу посылать посылку — перешли от меня поклон и вот это.

— Бож-ж-же мой! Честь-то Гришке какая!.. Весь хутор об нем гутарит... Дожил я...— шептал старик, сходя со ступенек моховского магазина. Он высморкался, рукавом чекменька раздавил щекотавшую щеку слезу, подумал: «Старею, видно. Слабый на слезу стал... Эх, Пантелей, Пантелей, куда жизню размытарил-то? Кремнем раньше был, с баржи мешки по восьми пудов таскал, а теперя? Подкосил меня Гришка трошки...»

Он хромал по улице, прижимая к груди кулек с конфетами, и опять мысль его, как чибис над болотом, вилась вокруг Григория, набредали на память слова из Петрова

письма. Тут-то и повстречался ему сват Коршунов. Он первый окликнул Пантелея Прокофьевича.

— Эй, сват, постой-ка!

Они не виделись со дня объявления войны. С тех пор как ушел Григорий из дому, установились меж них отношения не то что враждебные, а холодно-натянутые. Мирон Григорьевич злился на Наталью за то, что она унижается перед Григорием, ждет от него милостыни. И его, Мирона Григорьевича, заставляет переживать подобное же унижение.

— Сука поблудная,— в семейном кругу ругал он Наталью,— жила бы дома у отца, а то ишь пошла к свекрам, слаже ей хлеб там. Через нее, дуру, и отцу приходится страму принимать, перед людями глазами моргать.

Мирон Григорьевич подошел к свату вплотную, сунул конопатую руку, согнутую лодочкой.

— Здорово живешь, сваток!

— Слава богу, сват.

— Ты, никак, с покупкой?

Пантелей Прокофьевич, топыря правую свободную руку, отрицательно покачал головой.

— Это, сват, герою нашему подарки. Сергей Платонович, благодетель, про его геройство вычитал в газетах и дарит ему конфетов и легкого табаку. «Пошли, грит, своему герою от меня поклон и подарки, пущай он и в будущие времена так же отличается». Ажник слеза его прошибла, понимаешь, сват? — безудержно хвастал Пантелей Прокофьевич и пристально глядел в лицо свата, стараясь угадать произведенное впечатление.

Под белесыми веками свата копились световые тени, они-то и делали его опущенный взгляд насмешливо улыбающимся.

— Та-а-ак,— крякнул Коршунов и направился через улицу к плетню.

Пантелей Прокофьевич поспешил за ним, разворачивая кулек пальцами, объятый злобной дрожью.

— Вот скушай конфетку, медовая!..— ехидно потчевал он свата.— Кушай, пожалуйста, от зятя угощаю... Жизнь твоя не сладкая, может, заешь, а сын-то не то заслужит такую честь, не то нет...

— А ты мою жизнь не трожь. Я сам об ней знаю.

— Отпробуй, сделай честь! — с преувеличенным радушием кланялся Пантелей Прокофьевич, забегая вперед свата. Скрюченные пальцы его свежевали конфету, обдирая серебристую тонкую обертку.

— Мы к сладкому непривычные,— и Мирон Григорьевич отводил руку свата.— Не привычные мы, зубы у нас от чужих гостинцев крошутся. А тебе, сват, не пристало милостыню на сына собирать ходить. Нужда есть — ко мне пришел бы. Зятю уж я дал бы... Наташка-то ваш ить хлеб исть. Можно б дать на бедность твою.

— Милостыню в нашем роду ишо никто не собирал, но бреши, сват, дубовым языком. Хвальбы у тебя много, сват!.. Дюже много!.. Может, через то, что богато живешь, и дочь к нам ушла?

— Погоди! — властно кинул Мирон Григорьевич.— Ругаться не из чего нам. Я не ругаться пришел, усмирись, сват. Пойдем потолкуем, дело есть.

— Не об чем нам толковать.

— Значит, есть об чем. Пойдем.

Мирон Григорьевич схватил свата за рукав чекменя и свернул в проулок. Минуя дворы, они вышли в степь.

— Об чем дело? — спросил Пантелей Прокофьевич, трезвея от схлынувшей злобы.

Он косо поглядел на белесое веснушчатое лицо Коршунова. Тот, подвернув длинные полы сюртука, сел на насыпь канавы, достал старенький, с бахромчатыми краями кисет.

— Вот видишь, Прокофьич, ты невесть с чего наскочил на меня, как драчливый кочет, а так по-свойски-то нехорошо. Нехорошо как будто, а? Я хочу узнать,— начал он уже иным, твердым, грубоватым тоном,— долго аль нет твой сын будет измываться над Натальей? Ты мне скажи!

— Об этом у него пытай.

— Мне нечего у него пытать, ты своему куреню голова,— с тобой я и разговор имею.

Пантелей Прокофьевич давил в горсти очищенную конфету. Шоколадная вязкая жижа ползла у него меж пальцев. Он вытер ладонь о коричневую крошкую глину насыпи, молча стал закуривать. Свернул бумажку, всыпал из четвертки щепоть турецкого табаку и протянул пачку свату. Мирон Григорьевич взял не колеблясь, тоже свернул цигарку за счет щедротного моховского подарка. Закурили. Над ними белопенной пышной грудью висело облако, и к нему, в немыслимую высоту, стремилась от земли нежнейшая, волнуемая ветром нитка паутины.

День стекал к исходу. Мирная, неописуемо сладкая баюкалась осенняя тишь. Небо, уже утратившее свой летний полновесный блеск, тускло голубело. Над канавой сорили пышный багрянец бог весть откуда занесенные листья яблони. За волнистой хребтиной горы скрывалась

разветвленная дорога,— тщетно она манила людей шагать туда, за изумрудную, неясную, как сон, нитку горизонта, в неизведанные пространства,— люди, прикованные к жилью, к будням своим, изнывали в работе, рвали на молотьбе силы, и дорога — безлюдный тоскующий след — текла, перерезая горизонт, в невидь. По ней, пороша пылью, топтался ветер.

— Слабый табак, как трава,— выпуская нетающее облачко дыма, сказал Мирон Григорьевич.

— Слабоват, а... приятный,— согласился Пантелей Прокофьевич.

— Отвечай мне, сват,— расслабленным голосом попросил Коршунов и затушил цигарку.

— Григорий об этом ничего не пишет. Он зараз раненый.

— Слыхал я...

— Что дальше будет — не знаю. Могет быть, и взаправду убьют. Это как?

— Как же так, сват?..— Мирон Григорьевич растерянно и жалко заморгал.— Живет она — ни девка, ни баба, ни честная вдова, ить это страмно так-то. Знатье б, что оно такое случится, я б вас, сватов этих, и на порог не пустил, а то как же так?.. Эх сват, сват... Кажному свое дитя жалко... Кровь-то — она позывает...

— Чем я пособлю?..— со сдержанным бешенством начал наступление Пантелей Прокофьевич.— Ты мне скажи толком. Я-то аль рад тому, что сын с базу ушел? Мне-то аль от этого прибыло? Ить вот какие народы!

— Ты ему напиши,— глухо диктовал Мирон Григорьевич, и в такт его словам шуршала глина, стекая из-под ладони в канаву коричневыми игрушечными ручейками,— пущай он раз и навсегда скажет.

— Дите у него от энтой...

— И от этой будет дите! — крикнул, багровея, Коршунов.— Разве можно так над живым человеком? А?.. Раз смерти себя предавала и теперь калека...— и ее топтать в могилу? А?.. Сердце-то, сердце-то...— на придушенный шепот перешел Мирон Григорьевич, одной рукой царапая себе грудь, другой притягивая свата за полу,— аль у него волчиное?

Пантелей Прокофьевич сопел, отворачивался в сторону.

— ...баба высохла по нем, и иной окромя нету ей жизни. Живет же у тебя в холопках!..

— Она нам лучше родной! Замолчи ты! — крикнул Пантелей Прокофьевич и встал.

Разошлись они в разные стороны, не прощаясь.

XVIII

Выметываясь из русла, разбивается жизнь на множество рукавов. Трудно предопределить, по какому устремит она свой вероломный и лукавый ход. Там, где нынче мельчает жизнь, как речка на перекате, мельчает настолько, что видно поганенькую ее россыпь,— завтра идет она полноводная, богатая...

Как-то внезапно созрело у Натальи решение сходить в Ягодное к Аксинье — вымолить, упросить ее вернуть Григория. Ей почему-то казалось, что от Аксиньи зависит все, и упроси она ее — снова вернется Григорий и былое счастье. Она не задумывалась над тем, осуществимо ли это и как примет Аксинья ее странную просьбу. Толкаемая подсознательным чувством, она стремилась скорей претворить внезапное свое решение в жизнь. На исходе месяца Мелеховы получили от Григория письмо. После поклонов отцу и матери он слал поклон и нижайшее почтение Наталье Мироновне. Какая бы неведомая причина ни побудила его на это, но для Натальи это было толчком: в первое же воскресенье она собралась идти в Ягодное.

— Куда ты, Наташа? — спросила Дуняшка, глядя, как Наталья перед осколком зеркала внимательно и строго рассматривает свое лицо.

— Своих пойду проведаю,— солгала та и покраснела, впервые поняв, что идет на великое унижение, на большую нравственную пытку.

— Ты, Наталья, хоть бы сроду раз со мной на игрища пошла,— охорашиваясь, попросила Дарья.— Пойдешь, что ли, вечером?

— Не знаю, навряд.

— Эх ты, черничка! [1] Только и нашего, пока мужьев нету,— озорничала, подмигивая, Дарья и, гибкая, переламывалась надвое, рассматривала перед зеркалом расшивной подол новой бледно-голубой юбки.

Со времени отъезда Петра Дарья резко изменилась: отсутствие мужа заметно отзывалось на ней. Некое беспокойство сквозило в ее глазах, движениях, походке. Она тщательнее наряжалась по воскресеньям, с игрищ приходила поздно, злая, темнея зрачками, жаловалась Наталье:

— Беда, ей-богу!.. Забрали казаков подходящих, остались в хуторе одни ребята да старики.

— Тебе-то чего?

---

[1] Черничка — здесь: монашенка.

— Как так чего? — дивилась та.— На игрищах не с кем и побаловаться. Хучь бы на мельницу припало одной ехать, а то с свекром дюже не разойдешься...

Она с циничной откровенностью расспрашивала Наталью:

— Как же ты, милушка, без казака так долго терпишь?

— Будет тебе, бессовестная! — Наталья обливалась густым румянцем.

— И не хочется тебе?

— А тебе, видно, хочется?

— Хочется, бабонька! — хохотала Дарья, розовея и дрожа крутыми дугами бровей.— Чего уж грех таить... Я б сейчас и старика какого-нибудь раскачала, ей-богу! Ты вздумай, ить два месяца как Петра нету.

— Ты, Дарья, беды наживешь...

— Будя тебе, почетная старушка! Знаем мы таких тихонюшек. Ты, небось, не признаешься.

— Мне и признаваться не в чем.

Дарья смешливо косилась на нее, кусая губы мелкими злыми зубами, рассказывала:

— Надысь на игрищах подсел ко мне Тимошка Маныцков, атаманов сынок. Сидит потный весь. Вижу, боится начинать... Потом руку мне потихоньку под мышки провздел, а рука дрожит. Я притерпелась, молчу, а самою злость берет, хучь бы парень-то был, а то так... сопля! Ему годов шешнадцать, не больше,— видишь, каких забирает... Молчу, сижу, он лапал, лапал и шепчет: «Пойдем к нам на гумно!..» Эх, как я его!..

Дарья весело хохотала, на лице ее трепетали брови, брызжущий смех лучили прищуренные глаза.

— Уж я его и выбанила! Как вскочу: «Ах, ты такой-сякой! Щенчишка желторотый! Да ты могешь мне такое вякать? Ты давно перестал по ночам под себя мочиться?» Уж я ему и прочитала!

С Натальей у них установились отношения простые и дружественные. Та неприязнь, которую вначале питала Дарья к младшей снохе, стерлась, и бабы, разные по характерам, во всем не похожие одна на другую, сошлись, жили ладно.

Наталья оделась и пошла из горницы.

В сенцах ее догнала Дарья.

— Ты не отопрешь нынче дверь?

— Я дома у своих, должно, заночую.

Дарья, раздумывая, почесала гребешком переносицу, тряхнула головой.

— Ну, иди. Не хотела Дуняшку об этом просить,— видно, придется.

Наталья сказала Ильиничне о том, что идет к своим, и вышла на улицу. От площади ехали подводы с базара, шли из церкви люди. Наталья прошла два переулка и свернула влево. На гору поднималась спеша. На перевале оглянулась назад: внизу лежал залитый солнечным половодьем хутор, белели выбеленные домики, на покатой крыше мельницы, отражаясь, искрились солнечные лучи, расплавленной рудой блестела жесть.

XIX

Война и из Ягодного повыдергала людей. Ушли Вениамин и Тихон, после них стало еще глуше, тише, скучнее. Вместо Вениамина прислуживала старому генералу Аксинья; толстозадая, не худеющая Лукерья приняла на себя работу черной кухарки и птичницы. Дед Сашка совмещал обязанности конюха с охраной сада, лишь кучер был новый — степенный, престарелый казак Никитич.

В этом году пан уменьшил посев, поставил на ремонт около двадцати лошадей; остались лишь рысистой породы да тройка донских, обслуживавших нужды хозяйства. Пан время коротал на охоте, с Никитичем заезжали на дудаков и изредка баламутили округу охотой с борзыми.

От Григория Аксинья нечасто получала коротенькие письма, извещавшие о том, что он пока жив-де и здоров, службу ломает. Крепился ли он, или не хотел в письмах выказывать своей слабости, но ни разу не обронил он слова о том, что тяжело ему, скучно. Письма дышали холодком, будто писал он их по принуждению, лишь в последнем письме обмолвился фразой: «...все время в строю, и уж как будто и надоело воевать, возить за собой в переметных сумах смерть». В каждом письме он справлялся о дочери, просил писать о ней: «...пиши, как моя Танюшка растет и какая она собой стала? Недавно видал ее во сне большой и в красном платье».

Аксинья с виду стойко переносила разлуку. Вся любовь ее к Гришке перекинулась на дочь, и особенно после того, как убедилась Аксинья в том, что подлинно от Гришки понесла она ребенка. Доказательства являла жизнь неопровержимые: темно-русые волосы девочки вывалились, новые росли черные и курчавые; меняли цвет и глаза, чернея, удлиняясь в разрезе. С каждым днем девочка все разительнее запохаживалась на отца, даже улыбка отсвечивала

мелёховским, Гришкиным, звероватым. Теперь без сомнения узнавала Аксинья в ребенке отца и от этого прикипала к нему жгучим чувством,— не было уж так, как раньше, когда подходила она к люльке и отшатывалась, найдя в сонном личике девочки какой-нибудь отдаленный намек, беглое сходство с ненавистными линиями Степанова лица.

Цедились дни, и после каждого оседала в душе Аксиньи терпкая горечь. Тревога за жизнь любимого сверлила мозг, не покидала ее днями, наведывалась и ночью, и тогда то, что копилось в душе, взнузданное до времени волей,— рвало плотины: ночь, всю дотла, билась Аксинья в немом крике, в слезах, кусая руки, чтобы не разбудить ребенка, утишить крик и нравственную боль убить физической. В пеленки выплакивала излишки слез, думая в детской своей наивности: «Гришкино дите, он сердцем должен почуять, как тоскую об нем».

После таких ночей вставала она, как избитая: ломило все тело, настойчиво, неутомимо стучали в висках серебряные молоточки, в опущенных, когда-то отрочески пухлых углах рта ложилась мужалая горечь. Старили Аксинью горючие ночи...

В воскресенье как-то подала она пану завтрак и вышла на крыльцо. К воротам подошла женщина. Горели под белым платком такие страшно знакомые глаза... Женщина нажала щеколду и вошла во двор. Аксинья побледнела, угадав Наталью, медленно двинулась навстречу. Они сошлись на середине двора. На чириках Натальи лежал густой слой дорожной пыли. Она остановилась, безжизненно уронив большие рабочие руки, сапно дыша, пыталась и не могла выпрямить изуродованную шею; оттого казалось, что смотрит она куда-то в сторону.

— Я к тебе, Аксинья...— сказала она, облизывая обветрившиеся губы сухим языком.

Аксинья быстро оглядела окна дома и молча пошла в людскую, в свою половину. Наталья шла позади. Слух ее болезненно скоблило шорохом Аксиньиного платья.

«От жары, должно быть, в ушах больно»,— выцарапалась из вороха мыслей одна.

Дверь, пропустив Наталью, притворила Аксинья. Притворив, стала посредине комнаты, сунула руки за белый передник. Игру вела она.

— Ты чего пришла? — вкрадчиво, почти шепотом спросила она.

— Мне бы напиться...— попросила Наталья и обвела комнату тяжелым, негнущимся взглядом.

Аксинья ждала. Наталья заговорила, трудно поднимая голос:

— Ты отбила у меня мужа... Отдай мне Григория!.. Ты... мне жизню сломила... Видишь, я какая...

— Мужа тебе? — Аксинья стиснула зубы, и слова — дождевые капли на камень — точились скупо.— Мужа тебе? У кого ты просишь? Зачем ты пришла?.. Поздно ты надумала выпрашивать!.. Поздно!..

Качнувшись всем телом, Аксинья подошла вплотную, едко засмеялась.

Она глумилась, вглядываясь в лицо врага. Вот она — законная брошенная жена — стоит перед ней приниженная, раздавленная горем; вот та, по милости которой исходила Аксинья слезами, расставаясь с Григорием, несла в сердце кровяную боль, и в то время, когда она, Аксинья, томилась в смертной тоске, вот эта ласкала Григория и, наверное, смеялась над нею, неудачливой оставленной любовницей.

— И ты пришла просить, чтоб я его бросила? задыхалась Аксинья.— Ах ты, гадюка подколодная!.. Ты первая отняла у меня Гришку! Ты, а не я... Ты знала, что он жил со мной, зачем замуж шла? Я вернула свое, он мой. У меня дите от него, а ты...

Она с бурной ненавистью глядела в глаза Натальи и, беспорядочно взмахивая руками, сыпала перекипевший шлак слов:

— Мой Гришка — и никому не отдам!.. Мой! Мой! Слышишь ты? Мой!.. Ступай, сука бессовестная, ты ему не жена. Ты у дитя отца хочешь взять? Ого! Чего ж ты раньше не шла? Ну, чего не шла?

Наталья боком подошла к лавке и села, роняя голову на руки, ладонями закрывая лицо.

— Ты своего мужа бросила... Не шуми так...

— Кроме Гришки, нету у меня мужа. Никого нету во всем свете!..

Аксинья, чувствуя, как мечется в ней безысходная злоба, глядела на прядь прямых черных волос, упавших из-под платка на руку Натальи.

— Ты-то нужна ему? Глянь, шею-то у тебя покривило! И ты думаешь, он позавидует на тебя? Здоровую бросил, а на калеку позавидует? Не видать тебе Гришки! Вот мой сказ! Ступай!

Аксинья лютовала, защищая свое гнездо, за все прежнее разила теперь. Она видела, что Наталья, несмотря на слегка покривленную шею, так же хороша, как и раньше,—

щеки ее и рот свежи, не измяты временем,— а у нее, Аксиньи, не по вине ли этой Натальи раньше времени сплелась под глазами паутинка морщин?

— Ты думаешь, я надеялась, что выпрошу? — Наталья подняла пьяные от муки глаза.

— Зачем же ты шла? — дыхом спросила Аксинья.

— Тоска меня пихнула.

Разбуженная голосами, проснулась на кровати и заплакала, приподнимаясь, Аксиньина дочь. Мать взяла ребенка на руки, села, отвернувшись к окну. Вся содрогаясь, Наталья глядела на ребенка. Сухая спазма захлестнула ей горло. На нее с осмысленным любопытством глядели с лица ребенка глаза Григория.

Она вышла на крыльцо, рыдая и качаясь. Провожать ее Аксинья не пошла.

Спустя минуту вошел дед Сашка.

— Что это за баба была? — спросил он, видимо, догадываясь.

— Так, хуторная одна.

Наталья отошла от имения версты три, прилегла под кустом дикого терна. Лежала, ни о чем не думая, раздавленная неизъяснимой тоской... Перед глазами ее неотступно маячили на лице ребенка угрюмоватые черные глаза Григория.

XX

Ярко, до слепящей боли, вспоминалась Григорию та ночь. Он очнулся перед рассветом, повел руками, натыкаясь на колючее жнивье, и застонал от садной боли, заполнившей голову. С усилием приподнял руку, дотянул ее до лба, щупая черствый, свалявшийся в загустелой крови чуб. Тронул мякотную рану пальцем, будто горячий уголь прислонил. Заскрипел протяжно зубами и лег на спину. Над ним на дереве стеклянным звоном тоскливо шелестели опаленные ранним заморозком листья. Черные контуры ветвей отчетливо вырисовывались на густо-синем фоне неба, сквозь них светлели звезды. Григорий смотрел, не мигая, широко открытыми глазами; ему казалось, это — не звезды, а полные голубовато-желтые неведомые плоды висят на черенках листьев.

Осознав случившееся с ним, чувствуя неотвратимо подступающий ужас, он полз на четвереньках, скрипя зубами. Боль играла с ним, валила его навзничь... Ему казалось, что ползет он неизмеримо долго; насилуя себя,

оглянулся,— шагах в пятидесяти чернело дерево, под которым холодел он в беспамятстве. Один раз он перелез через труп убитого, опираясь локтями о ввалившийся жесткий его живот. От потери крови мутила тошнота, и он плакал, как ребенок, грыз пресную в росе траву, чтобы не потерять сознания. Возле опрокинутого зарядного ящика встал, долго стоял, качаясь, потом пошел. К нему прибыли силы, шагал тверже и уже в состоянии был угадывать направление на восток: путеводила Большая медведица.

У опушки леса его остановило глухое предупреждение:

— Не подходи, застрелю!

Щелкнул револьверный барабан. Григорий вгляделся по направлению звука: у сосны полулежал человек.

— Ты кто такой? — спросил Григорий, прислушиваясь к собственному голосу, как к чужому.

— Русский? Бог мой!.. Иди! — Человек у сосны сполз на землю.

Григорий подошел.

— Нагнись.

— Не могу.

— Почему?

— Упаду и не встану, в голову меня скобленуло...

— Ты какой части?

— Двенадцатого Донского полка.

— Помоги мне, казак...

— Упаду я, ваше благородие. (Григорий разглядел на шинели офицерские погоны.)

— Руку хоть дай.

Григорий помог офицеру подняться. Они пошли. Но с каждым шагом все тяжелее обвисал на руке Григория раненый офицер. Поднимаясь из лощинки, он цепко ухватил Григория за рукав гимнастерки, сказал, редко клацая зубами:

— Брось меня, казак... У меня ведь... сквозная рана... в живот.

Под пенсне его тусклее блестели глаза, и хрипло всасывал воздух раскрытый рот. Офицер потерял сознание. Григорий тащил его на себе, падая, поднимаясь и вновь падая. Два раза бросал свою ношу и оба раза возвращался, поднимал и брел, как в сонной яви.

В одиннадцать часов утра их подобрала команда связи и доставила на перевязочный пункт.

Через день Григорий тайком ушел с перевязочного пункта. Дорогой сорвал с головы повязку, шагал, облегченно помахивая бинтом с бархатно-рдяными пятнами.

— Откуда ты? — несказанно удивился сотенный командир.

— Вернулся в строй, ваше благородие.

Выйдя от сотника, Григорий увидел взводного урядника.

— Конь мой... Гнедой где?

— Он, братуха, целый. Мы поймали его там же, как только проводили австрийцев. Ты-то как? Мы ить тебя царством небесным поминали.

— Поспешили,— усмехнулся Григорий.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

За спасение жизни командира 9-го драгунского полка подполковника Густава Грозберга казак 12-го Донского казачьего полка Мелехов Григорий производится в приказные и представляется к Георгиевскому кресту 4-й степени.

Сотня постояла в городе Каменка-Струмилово двое суток, в ночь собиралась к выступлению. Григорий разыскал квартиру казаков своего взвода, пошел проведать коня. В сумах не оказалось пары белья, полотенца.

— На глазах украли, Григорий,— виновато признавался Кошевой Мишка, на попечении которого находился конь.— Пехоты нагнали в этот двор видимо-невидимо, пехота украла.

— Черт с ними, пущай пользуются. Мне бы вот голову перевязать, бинт промок.

— Возьми мое полотенце.

В сарай, где происходил этот разговор, вошел Чубатый. Он протянул Григорию руку, словно между ними ничего не было.

— А, Мелехов! Ты живой, стуцырь?

— Наполовинку.

— Лоб-то в крове, утрись.

— Утрусь, успею.

— Дай гляну, как тебя примолвили.

Чубатый силком нагнул голову Григория, хмыкнул носом.

— На что давался волосья простригать? Ишь, суродовали как!.. Доктора тебя выпользуют до черта, дай-ка я залечу.

Не спрашивая согласия, он достал из патронташа патрон, вывернул пулю и на черную ладонь высыпал порох.

— Добудь, Михайло, паутины.

Кошевой концом шашки достал со сруба хлопчатый ком

паутины, подал. Острием этой же шашки Чубатый вырыл комочек земли и, смешав его с паутиной и порохом, долго жевал. Густой массой он плотно замазал кровоточащую рану на голове Григория, улыбнулся:

— Через трое суток сымет, как рукой. Вишь, за тобой уход несу, а ты... было-к застрелил.

— За уход спасибо, а убил бы тебя — одним грехом на душе меньше бы стало.

— Какой ты простой, парень.

— Какой уж есть. Что там на голове у меня?

— В четверть зарубка. Это тебе на память.

— Не забуду.

— И хотел бы, да не забудешь; палаши австрийцы не точат, тупым тебя секанул, теперь на всю жисть пухлый рубец будет.

— Счастье твое, Григорий, наосклизь взяло, а то б зарыли в чужой земле,— улыбнулся Кошевой.

— Куда же я фуражку дену?

Григорий растерянно вертел в руках фуражку с разрубленным, окровяненным верхом.

— Кинь ее, собаки съедят.

— Ребята, хлебово принесли, налетай! — крикнули из дверей дома.

Казаки вышли из сарая. Вслед Григорию, кося вывернутым глазом, заржал Гнедой.

— Он об тебе скучал, Григорий! — Кошевой кивнул на коня.— Я диву дался: корм не жрет и так это потихоньку игогокает.

— Я как лез оттуда, его все кликал,— отворачиваясь, глухо говорил Григорий,— думал — он не уйдет от меня, а поймать его трудно, не дается он чужим.

— Верно, мы его насилу взяли. Арканом накинули.

— Конь добрый, братов конь, Петра.— Григорий отворачивался, прятал растроганные глаза.

Они вошли в дом. В передней комнате на полу, на снятом с кровати пружинном матраце, храпел Егор Жарков. Неописуемый беспорядок молчаливо говорил о том, что хозяева бросили дом спешно. Осколки битой посуды, изорванные бумаги, книги, залитые медом клочки суконной материи, детские игрушки, старая обувь, рассыпанная мука — все это в ужасающем беспорядке валялось на полу, вопило о разгроме.

Расчистив место, здесь же обедали Грошев Емельян и Прохор Зыков. У Зыкова при виде Григория выкатились телячье-ласковые глаза.

— Гри-и-ишка! Откель ты взялся?

— С того света.

— Ты ему, сбегай, принеси щей. Чего глаза на лоб вылупил? — крикнул Чубатый.

— Зараз. Кухня тут вот, в проулке.

Прохор, прожевывая кусок, мотнулся во двор.

На его место устало присел Григорий.

— Я уже не помню, когда ел,— улыбнулся он виновато.

По городу двигались части 3-го корпуса. Узкие улицы забивались пехотой, прудились бесчисленными обозами, кавалерийскими частями, на перекрестках спирались заторы, сквозь закрытые двери проникал гул движения. Вскоре явился Прохор с котелком щей и торбой гречневой каши

— Кашу куда выпорожнить?

— А вот кастрюля с ручкой.— Грошев подвинул от окна ночную посудину, не зная ее назначения.

— Она воняет, кастрюля твоя.— Прохор сморщился

— Ничего. Вали кулем, после разберем

Прохор развернул торбу, густая добротная каша дымилась паром, по бокам ее янтарной каймой выступило масло. Ели с разговорцем. Слюнявя сальное пятно на своем линялом лампасе, Прохор рассказывал:

— Тут рядом с нашим двором стоит батарея конногорного дивизиона, маштаков выкармывают. Ферверкер [1] ихний в газете читал, что союзники немцев, что называется,— вдрызг.

— Не захватил ты, Мелехов, утром мы ить благодарность получали,— мурчал Чубатый, двигая набитым кашей ртом.

— От кого?

— Начальник дивизии генерал-лейтенант фон Дивид смотр нам делал и благодарность превозносил за то, что венгерских гусаров сбили и выручили свою батарею. Ить они пушки за малым не укатили. «Молодцы казаки, говорит, царь и отечество про вас не забудут»

— Вот как!

На улице сухо чмокнул выстрел, другой, раскатисто брызнула пулеметная дробь.

— Вы-хо-ди-и! — гаркнули у ворот.

Побросав ложки, казаки выскочили на двор. Над ними низко и плавно кружил аэроплан. Мощный рокот его звучал угрожающе

---

[1] Фейерверкер — в царской армии одно из званий в артиллерии, соответствовавшее унтер-офицеру пехоты.

— Падай под плетни! Бомбы зараз начнет ссланивать, рядом ить батарея! — крикнул Чубатый.

— Егорку разбудите! Убьет его на мягком матрасе!

— Винтовки давай!

Чубатый, тщательно целясь, стрелял прямо с крыльца.

По улице бежали, зачем-то пригибаясь, солдаты. В соседнем дворе слышались лошадиный визг и резкая команда. Расстреляв обойму, Григорий глянул через забор: там суетились номера, закатывая орудия под навес сарая. Жмурясь от колючей синевы неба, Григорий глянул на рокочущую снижающуюся птицу; оттуда в этот миг стремительно сорвалось что-то и резко сверкнуло в полосе солнечного луча. Потрясающий грохот встряхнул домик и припавших к крыльцу казаков; на соседнем дворе предсмертным визгом захлебнулась лошадь. Острый серный запах гари принесло из-за забора.

— Хоронись! — крикнул Чубатый, сбегая с крыльца.

Григорий прыгнул за ним следом, упал под забором. Крыло аэроплана сверкнуло какой-то алюминиевой частью; он поворачивался, плавно занося хвост. С улицы стреляли пачками, грохали залпами, сеяли беспорядочной частухой выстрелов. Григорий только что вложил обойму, как еще более потрясающий взрыв швырнул его на сажень от забора. Глыба земли жмякнула ему в голову, запорошив глаза, придавила тяжестью...

Его поднял на ноги Чубатый. Острая боль в левом глазу не давала Григорию возможности глядеть; с трудом раскрыв правый, увидел: половина дома разрушена, красным уродливым месивом лежали кирпичи, над ними курилась розовая пыль. Из-под исковерканного крыльца полз на руках Егор Жарков. Все лицо его — сплошной крик, по щекам из вывалившихся глаз — кровяные слезы. Он полз, вобрав голову в плечи, кричал, будто не разжимая трупно почерневших губ:

— А-и-и-и-и! А-и-и-и-и! А-и-и-и-и!..

За ним на тоненьком лоскутке кожи, на опаленной штанине поперек волочилась оторванная у бедра нога, второй не было. Он полз, медленно переставляя руки, тонкий, почти детски стенящий крик сверлился изо рта. Он оборвал крик и лег боком, плотно прижимая лицо к неласковой, сырой, загаженной конским пометом и осколками кирпича земле. К нему никто не подходил.

— Берите ж его! — крикнул Григорий, не отрывая ладони от левого глаза.

Во двор набежали пехотинцы, возле ворот остановилась двуколка телефонистов.

— Езжай, что стали! — крикнул на них скакавший мимо офицер.— Эка звери, хамье!..

Откуда-то пришлепали старик в черном длинном сюртуке и две женщины. Толпа окружила Жаркова. Протиснувшись, Григорий увидел, что тот еще дышит, всхлипывая и крупно дрожа. На мертвенно пожелтевшем лбу его выступил ядреный зернистый пот.

— Берите! Что же вы... люди вы али черти?

— Чего лаешься? — огрызнулся высокий пехотинец.— Берите, берите, а куда брать-то? Видишь, доходит.

— Обое ноги оторвало.

— Кровишши-то!..

— Санитары где?

— Какие уж тут санитары...

— А он ишо в памяти.

Чубатый сзади тронул плечо Григория; тот оглянулся.

— Не вороши его,— сказал Чубатый шепотом,— зайди с этой стороны, глянь.

Он перешел на другую сторону, не выпуская из пальцев рукава Григорьевой гимнастерки, растолкал ближних. Григорий глянул и, сгорбившись, пошел в ворота. Под животом Жаркова дымились, отливая нежно-розовым и голубым, выпущенные кишки. Конец этого перевитого клубка был вывалян в песке и помете, шевелился, увеличиваясь в объеме. Рука умирающего лежала боком, будто сгребая...

— Накройте ему лицо,— предложил кто-то.

Жарков вдруг оперся на руки и, закинув голову так, что затылок бился меж скрюченных лопаток, крикнул хрипатым, нечеловеческим голосом:

— Братцы, предайте смерти! Братцы!.. Братцы!.. Что ж вы гляди-те-е-е?.. Аха-ха-а-а-а-а!.. Братцы.. предайте смерти!..

XXI

Вагон мягко покачивает, перестук колес убаюкивающе сонлив, от фонаря до половины лавки желтая вязь света. Так хорошо вытянуться во весь рост и лежать разутым, дав волю ногам, две недели парившимся в сапогах, не чувствовать за собой никаких обязанностей, знать, что жизни твоей не грозит опасность и смерть так далека. Особенно приятно вслушиваться в разнобоистый говор колес: ведь с каждым оборотом, с каждым рывком паровоза — все дальше фронт.

И Григорий лежал, вслушиваясь, шевеля пальцами босых ног, всем телом радуясь свежему, только нынче надетому белью. Он испытывал такое ощущение, будто скинул с себя грязную оболочку и входил в иную жизнь незапятнанно чистым.

Тихую, умиротворенную радость нарушала боль, звеневшая в левом глазу. Она временами затихала и внезапно возвращалась, жгла глаз огнем, выжимала под повязкой невольные слезы. В госпитале, в Каменке-Струмилове, молоденький еврей-врач осмотрел Григорию глаз, что-то написал на клочке бумаги.

— Вас придется отправить в тыл. С глазом серьезная неприятность.

— Кривой буду?

— Ну, что вы,— ласково улыбнулся доктор, уловив в вопросе неприкрытый испуг,— необходимо лечение, быть может, придется сделать операцию. Мы вас отправим в глубокий тыл, в Петроград, например, или в Москву.

— Спасибочка.

— Вы не трусьте, глаз будет цел.— Доктор похлопал его по плечу и, сунув в руки клочок бумаги, легонько вытолкал Григория в коридор. Засучивал рукава, готовясь к операции.

После долгих мытарств Григорий попал в санитарный поезд. Сутки лежал, наслаждаясь покоем. Старенький мелкорослый паровозишко, напрягаясь из последних сил, тянул многовагонный состав. Близилась Москва.

Приехали ночью. Тяжелораненых выносили на носилках; те, кто мог ходить без посторонней помощи, вышли после записи на перрон. Врач, сопровождавший поезд, вызвав по списку Григория и указывая сестре милосердия на него, сказал:

— Глазная лечебница доктора Снегирева! Колпачный переулок.

— Ваши пожитки с вами? — спросила сестра.

— Какие у казака пожитки? Сумка вот да шинель.

— Пойдемте.

Она пошла, поправляя под наколкой прическу, шурша платьем. Неуверенно шагая, Григорий направился за ней. Поехали на извозчике. Гул большого засыпающего города, звонки трамваев, голубой переливчатый блеск электричества подействовали на Григория подавляюще. Он сидел, откинувшись на спинку пролетки, жадно осматривая многолюдные, несмотря на ночь, улицы, и так странно было ему ощущать рядом с собой волнующее тепло женского

тела. В Москве чувствовалась осень: на деревьях бульваров при свете фонарей блеклой желтизной отсвечивали листья, ночь дышала знобкой прохладой, мокро лоснились плиты тротуаров, и звезды на погожем небосклоне были ярки и холодны по-осеннему. Из центра выехали в безлюдный проулок. Цокали по камням копыта, качался на высоких козлах извозчик, принаряженный в синий, наподобие поповского, армяк; махал на вислоухую клячу концами вожжей. Где-то на окраинах трубили паровозы. «Может, какой в Донщину сейчас пойдет?» — подумал Григорий и поник под частыми уколами тоски.

— Вы не дремлете? — спросила сестра.

— Нет.

— Скоро приедем.

— Чего изволите? — Извозчик повернулся.

— Погоняй!

За железной тесьмой ограды маслено блеснула вода пруда, мелькнули перильчатые мостки с привязанной к ним лодкой. Повеяло сыростью.

«Воду и то в неволю взяли, за железной решеткой, а Дон...» — неясно думал Григорий. Под резиновыми шинами пролетки зашуршали листья.

Около трехэтажного дома извозчик остановился. Поправляя шинель, Григорий соскочил.

— Дайте мне руку.— Сестра нагнулась.

Григорий забрал в ладонь ее мягкую маленькую ручку, помог сойти.

— По́том солдатским от вас разит,— тихонько засмеялась прифранченная сестра и, подойдя к подъезду, позвонила.

— Вам бы, сестрица, там побывать, от вас, может, и ишо чем-нибудь завоняло,— с тихой злобой сказал Григорий.

Дверь отворил швейцар. По нарядной с золочеными перилами лестнице поднялись на второй этаж; сестра позвонила еще раз. Их впустила женщина в белом халате. Григорий присел у круглого столика, сестра что-то вполголоса говорила женщине в белом, та записывала.

Из дверей палат, расположенных по обе стороны длинного неширокого коридора, выглядывали головы в разноцветных очках.

— Снимайте шинель,— предложила женщина в халате.

Служитель, тоже в белом, принял из рук Григория шинель, повел его в ванную.

— Снимайте все с себя.

— Зачем?

— Вымыться надо.

Пока Григорий раздевался и, пораженный, рассматривал помещение и матовые стекла окон, служитель наполнил ванну водой, смерил температуру, предложил садиться.

— Корыто-то не по мне...— конфузился Григорий, занося смугло-черную волосатую ногу.

Прислуживающий помог ему тщательно вымыться, подал простыню, белье, ночные туфли и серый с поясом халат.

— А моя одежда? — удивился Григорий.

— Будете ходить в этом. Вашу одежду вернут вам тогда, когда будете выписываться из больницы.

В передней, проходя мимо большого стенного зеркала, Григорий не узнал себя: высокий, чернолицый, остроскулый, с плитами жаркого румянца на щеках, в халате, с повязкой, въедавшейся в шапку черных волос, он отдаленно лишь походил на того, прежнего, Григория. У него отросли усы, курчавилась пушистая бородка.

«Помолодел я за это время»,— криво усмехнулся Григорий.

— Шестая палата, третья дверь направо,— указал служитель.

Священник в халате и синих очках при входе Григория в большую белую комнату привстал.

— Новый сосед? Очень приятно, не так скучно будет. Я из Зарайска,— общительно заявил он, придвигая Григорию стул.

Спустя несколько минут вошла полная фельдшерица с большим некрасивым лицом.

— Мелехов, пойдемте, посмотрим ваш глаз,— сказала она низким грудным голосом и посторонилась, пропуская Григория в коридор.

XXII

На Юго-Западном фронте в районе Шевеля командование армии решило грандиозной кавалерийской атакой прорвать фронт противника и кинуть в тыл ему большой кавалерийский отряд, которому надлежало совершить рейд вдоль фронта, разрушая по пути коммуникационные линии, дезорганизуя части противника внезапными налетами. На успешное осуществление этого плана командование возлагало большие надежды; небывалое количество конницы было стянуто к указанному району; в числе остальных

кавалерийских полков был переброшен на этот участок и казачий полк, в котором служил сотник Листницкий. Атака должна была произойти 28 августа, но по случаю дождя ее отложили на 29-е.

С утра на огромном плацдарме выстроилась дивизия, готовясь к атаке.

Верстах в восьми на правом фланге пехота вела демонстративное наступление, привлекая на себя огонь противника; в ложном направлении передвигались части одной кавалерийской дивизии.

Впереди, насколько обнимал глаз, не было видно неприятеля. В версте от своей сотни Листницкий видел черные брошенные логова окопов, за ними бугрились жита и сизел предрассветный, взбитый ветерком туман.

Случилось так, что неприятельское командование или узнало о готовящейся атаке, или предугадало ее, но в ночь на 29-е неприятельские войска покинули окопы и отошли верст на шесть, оставив засады с пулеметами, которые и тревожили на всем участке противостоящую им нашу пехоту.

Где-то вверху, за кучевыми облаками, светило восходящее солнце, а долину всю заливал желто-сливочный туман. Была подана команда к атаке, полки пошли. Многие тысячи конских копыт стлали глухой, напоминающий подземный, гул. Листницкий, удерживая своего кровного коня, не давал ему срываться на галоп. Расстояние версты в полторы легло позади. К ровному строю атакующих приближалась полоса хлебов. Высокое, выше пояса, жито, все перевитое цепкой повителью и травой, до крайности затрудняло бег лошадей. Впереди все так же зыбилась русая холка жита, позади лежало оно поваленное, растоптанное копытами. На четвертой версте лошади стали спотыкаться, заметно потеть,— противника все не было. Листницкий оглянулся на сотенного командира: на лице есаула — глухое отчаяние...

Шесть верст немыслимо трудной скачки вырвали из лошадей силы, некоторые под всадниками падали, самые выносливые качались, добирая из последних сил. Здесь-то секанули австрийские пулеметы, размеренно закхакали залпы... Убийственный огонь выкосил передние ряды. Первыми дрогнули и повернули обратно уланы, смялся казачий полк; их, захлестнувшихся в паническом бегстве, поливали, как из пульверизаторов, пулеметным дождем, расстреливали из орудий. Небывалая по размерам атака из-за преступной небрежности высшего командования окон-

чилась полным разгромом. Некоторые полки потеряли половину людского и конского состава; из полка Листницкого выбыло около четырехсот убитыми и ранеными рядовых и шестнадцать офицеров.

Под Листницким убили коня, сам он получил две раны: в голову и ногу. Вахмистр Чеботарев, соскочив с коня, схватил Листницкого, взвалил на седло, ускакал.

Начальник штаба дивизии, полковник генерального штаба Головачев, сделал несколько моментальных снимков атаки и после показал их офицерам. Раненый сотник Червяков первый ударил его кулаком в лицо и зарыдал. Подбежавшие казаки растерзали Головачева, долго глумились над трупом и бросили его в придорожную канаву, в нечистоты. Так окончилась эта блестящая бесславием атака.

Из варшавского госпиталя Листницкий сообщил отцу о том, что по излечении приедет к нему в Ягодное использовать отпуск. Старик, получив письмо, заперся в своем кабинете, вышел оттуда на следующий день туча тучей. Он велел Никитичу заложить рысака в дрожки, позавтракал и укатил в Вешенскую. Сыну перевел телеграфом четыреста рублей денег, послал короткое письмо:

«Мне остается радоваться, что ты, мой милый мальчик, окрестился огнем. Благородный удел быть там, а не при дворце. Ты слишком честен и неглуп для того, чтобы мог со спокойной совестью пресмыкаться. Этой черты не было ни у кого из нашей фамилии. За это еще твой дед попал в опалу и доживал в Ягодном, не надеясь и не ожидая милости венценосца. Будь здоров, Женя, выздоравливай. Ты у меня один на этом свете, помни. Тетя кланяется тебе, она здравствует, а о себе мне нечего писать, ты знаешь, как я живу. Что ж это творится там, на фронте? Неужто нет людей с рассудком? Не верю я газетной информации,— лжива она насквозь, знаю по примеру прошлых лет. Неужто, Евгений, проиграем кампанию?

С великим нетерпением жду тебя домой!»

Подлинно нечего было писать старому Листницкому о своей жизни, волочилась она, по-старому однообразная, неизменная, лишь рабочие руки поднялись в цене да ощущался недостаток в спиртном. Пан пил чаще, стал раздражительней, придирчивей. Как-то вызвал в неурочный час Аксинью, сказал:

— Ты неисправно несешь службу. Почему вчера завтрак был подан холодным? Почему стакан с кофе нечисто вымыт? Если это будет повторяться, то я тебя, слышишь

ты? — то я тебя уволю. Не терплю нерях! — Пан резко махнул рукой.— Слышишь? Не терплю!

Аксинья крепко сжимала губы и вдруг заплакала.

— Николай Алексеевич! Девочка у меня хворает. Вы ослобоните меня пока... От нее отойтить нельзя.

— Что с ней?

— Глотошная ее душит...

— Скарлатина? Почему не сказала, дура? Эка, черт тебя задери, шалаву! Беги, скажи Никитичу, чтоб запрягал, в станицу, за фельдшером. Живо!

Аксинья выбежала рысью, вслед бомбардировал ее старик гулкими басовыми раскатами:

— Дура баба! Дура баба! Дура!

Утром Никитич привез фельдшера. Тот осмотрел обеспамятевшую, объятую жаром девочку, не отвечая на вопросы Аксиньи, пошел в дом к пану. Листницкий принял его в передней стоя, не подавая руки.

— Что с девчонкой? — спросил, отвечая на приветствие небрежным кивком.

— Скарлатина, ваше превосходительство.

— Выздоровеет? Можно надеяться?

— Едва ли. Умрет девочка... Возраст поимейте в виду.

— Дурак! — Пан побагровел.— Чему тебя учили? Лечи.

Хлопнув дверью перед носом напуганного фельдшера, зашагал по залу.

Постучавшись, вошла Аксинья.

— Фельдшер просит лошадей ему до станицы.

Старик с живостью повернулся на каблуках.

— Скажи ему, что он болван! Скажи ему, что он не уедет отсюда до тех пор, пока не вылечит мне девчонку! Во флигеле отведи ему комнату, корми его! — закричал старик, потрясая костистым кулаком.— Пои его, корми, как на убой, а у-е-хать... не уедет! — Оборвав, подошел к окну, побарабанил пальцами и, подойдя к увеличенной фотографии сына, снятого на руках у няни, отступил два шага и долго смотрел, щурясь, словно не узнавая.

В первый же день, как только болезнь свалила девочку с ног, Аксинье вспомнилась горькая Натальина фраза: «Отольются тебе мои слезы...», она решила, что это ее бог наказывает за то, что тогда глумилась над Натальей.

Подавленная страхом за жизнь ребенка, она теряла рассудок, бестолково металась, работа валилась из ее рук.

«Неужели отнимет?» — неотступно билась горячечная мысль, и, не веря, всей силой не желая верить,

Аксинья неистово молилась, просила у бога последнюю милость — сохранить жизнь ребенка.

«Господи, прости!.. Не отнимай! Пожалей, господи, смилуйся!»

Болезнь душила маленькую жизнь. Девочка лежала пластом, из припухшего горлышка полз трудный, прерывистый хрип. Станичный фельдшер, поместившись во флигеле, приходил раза четыре в день, вечерами подолгу стоял на крыльце людской, покуривая, глядя на холодную россыпь осенних звезд.

Ночи навылет простаивала Аксинья на коленях у кровати. Булькающий хрип полосовал ее сердце.

— М-а-ма...— шелестели маленькие спекшиеся губы.

— Зернышко мое, дочушка! — приглушенно звенела мать.— Цветочек мой, не уходи, Танюшка! Глянь, моя красотушка, открой глазки. Опомнись же! Гулюшка моя черноглазая... За что же, господи?..

Девочка изредка поднимала воспаленные веки, налитые кровью дурной, глазенки устремляли текучий, неуловимый взгляд. Жадно ловила мать этот взгляд. Он уходил, казалось, внутрь себя, тоскующий, примиренный.

Умерла она на руках у матери. В последний раз, всхлипывая, зевнул посиневший ротик, и тельце вытянула судорога; запрокидываясь, катилась с Аксиньиной руки потная головка, прижмуренный, с мертвым зрачком, смотрел удивленно угрюмоватый мелеховский глазок.

Возле пруда, под старым разлапистым тополем вырыл дед Сашка крохотную могилку, под мышкой отнес туда гробик, с несвойственной ему торопливостью зарыл и долго, терпеливо ждал, пока поднимется Аксинья с суглинистого холмика. Не дождался, высморкался, как арапником хлопнул,— пошел в конюшню... С сеновала достал флакон одеколона, неполный пузырек денатурированного спирта, смешал в бутылке и, болтая, любуясь на цвет, сказал:

— Помянем. Царство небесное дитю. Душа ангельская преставилась.

Он выпил, ошалело затряс головой, закусывая раздавленным помидором, и, растроганно глядя на бутылку, сказал:

— Не забудь ты меня, дорогая, а я тебя не забуду! — И заплакал.

Через три недели Евгений Листницкий прислал телеграмму, извещая о том, что получил отпуск и выехал домой. На станцию выслали за ним тройку лошадей, вся дворня встала на ноги: резали индеек, гусей, дед Сашка

свежевал барана, приготовления делались словно перед большим съездом гостей.

Накануне в слободу Каменку выслана была подстава. Молодой хозяин приехал ночью. Моросил изморосный дождь, фонари кидали на лужи мерклые дорожки света. У крыльца, позванивая бубенчиками, остановились лошади. Из крытой коляски вышел взволнованный, улыбающийся Евгений. Кинув на руки деду Сашке теплый плащ, он, заметно прихрамывая, поднялся по крыльцу. Из зала, роняя мебель, торопливо шаркал старый пан.

Аксинья подала ужин в столовую и пошла звать к столу. Заглянув в замочную скважину, увидела: старик, припав к сыну, целует его в плечо; шея его, в старчески дряблых складках, мелко трясется. Подождав несколько минут, Аксинья заглянула вновь: Евгений в распахнутом защитном мундире стоял на коленях перед большой раскинутой на полу картой.

Старый пан, выдувая из трубки лохматые кольца дыма, стукал костяшками пальцев по ручке кресла, гудел возмущенно:

— Алексеев? Не может быть! Я не поверю.

Евгений что-то тихо и долго говорил, убеждал, водил по карте пальцем, в ответ ему старик сдержанно басил:

— Верховный в данном случае неправ. Узкая ограниченность! Да помилуй, Евгений, вот тебе аналогичный пример из русско-японской кампании. Позволь!.. Позволь, позволь!

Аксинья постучала.

— Что, уже подано? Сейчас.

Старик вышел оживленный, веселый, совсем по-молодому блистали его глаза. Вдвоем с сыном они выпили бутылку вина, вчера только вырытую из земли. На позеленевшей, обомшелой наклейке еще сохранилась выцветшая дата — 1879 год.

Прислуживая и глядя на веселые лица, Аксинья сильнее ощущала свое одиночество. Терзала ее невыплаканная тоска. Первые дни после смерти девочки она хотела и не могла плакать. Рос в горле крик, но слез не было, и оттого каменная горечь давила вдвойне. Она много спала (искала отдыха в сонном забытьи), но и во сне настигал ее призрачный зов ребенка. Ей то казалось, что дочь ее спит рядом с ней, и она отодвигалась, шарила по постели рукой, то слышался невнятный шепот: «Мама, пить».

— Кровиночка моя...— шептала Аксинья холодеющими губами.

Даже в гнетущей яви мерещилось ей иногда, что вот у колен ее жмется ребенок, и она ловила себя на том, что тянется рукой приласкать курчавую головку.

На третий день после приезда Евгений допоздна просидел у деда Сашки в конюшне, слушая бесхитростные его рассказы о былой привольной на Дону жизни, о старине. Он вышел оттуда в девятом часу; на дворе полоскался ветер, слякотно чавкала под ногами грязь. Меж туч казаковал молодой желтоусый месяц. При свете его Евгений глянул на часы, направился в людскую. У крыльца он закурил, на минуту стал, раздумывая, и, тряхнув плечами, решительно ступил на крыльцо. Осторожно нажал щеколду, дверь, скрипнув, отворилась. Он вошел в Аксиньину половину, чиркнул спичкой.

— Ктой-то? — спросила Аксинья, натягивая на себя одеяло.

— Это я.

— Я сейчас оденусь.

— Ничего. Я на минутку.

Евгений, сбросив шинель, сел на край кровати.

— У тебя умерла дочушка...

— Умерла,— эхом откликнулась Аксинья.

— Ты очень изменилась. Еще бы, я понимаю, что значит потерять ребенка. Но мне думается, что ты напрасно изводишь себя, к жизни ее не вернешь, а ты еще в достаточной степени молода, чтобы иметь детей. Не надо так! Бери себя в руки, смирись... В конце концов, не все потеряно со смертью ребенка, у тебя еще — подумай! — вся жизнь впереди.

Евгений, сжав руку Аксиньи, гладил ее с ласковой властностью, говорил, играя низкими нотками голоса. Он перешел на шепот и, слыша, как Аксинья вся сотрясается в заглушенном плаче и плач переходит в рыдание, стал целовать ее мокрые от слез щеки, глаза...

Падко бабье сердце на жалость, на ласку. Отягощенная отчаянием Аксинья, не помня себя, отдалась ему со всей бурной, давно забытой страстностью. А когда схлынула небывало опустошительная, помрачающая волна бесстыдного наслаждения, она очнулась, резко вскрикнула, теряя разум, выбежала полуголая, в одной рубахе, на крыльцо. Следом за ней, бросив дверь открытой, торопливо вышел Евгений. Он на ходу надел шинель, шел торопливо и, когда, запыхавшись, поднялся на террасу дома, засмеялся радостно, довольно. Его подмывало бодрящее веселье. Уже лежа в постели, потирая пухлую, мягкую грудь, подумал:

«С точки зрения честного человека — это подло, безнравственно. Григорий... Я обворовал ближнего, но ведь там, на фронте, я рисковал жизнью. Могло же так случиться, что пуля взяла бы правее и продырявила мне голову? Теперь я истлевал бы, моим телом нажирались бы черви... Надо с жадностью жить каждый миг. Мне все можно!» Он на минуту ужаснулся своим мыслям, но воображение вновь вылепило страшную картину атаки и того момента, когда он поднялся с убитого коня и упал, срезанный пулями. Уже засыпая, успокоенно решил: «Завтра об этом, а сейчас спать, спать...»

На следующий день утром, оставшись в столовой наедине с Аксиньей, он подошел к ней, виновато улыбаясь, но она, прижавшись к стене, вытягивая руки, опалила его яростным шепотом:

— Не подходи, проклятый!..

Свои неписаные законы диктует людям жизнь. Через три дня ночью Евгений вновь пришел в половину Аксиньи, и Аксинья его не оттолкнула.

XXIII

К глазной лечебнице доктора Снегирева примыкал маленький садик.

Таких неуютных стриженых садов много по окраинным переулкам Москвы, в них не отдыхает глаз от каменной тяжелой скуки города, и еще резче и больней вспоминается при взгляде на них дикое приволье леса. В больничном садике хозяйничала осень: крыла дорожки оранжевой бронзой листьев, утренними заморозками мяла цветы и водянистой зеленью наливала на газонах траву. В погожие дни по дорожкам гуляли больные, вслушиваясь в переливы церковных звонов богомольной Москвы. В ненастье (а в том году оно преобладало) слонялись из палаты в палату, лежали на койках, отмалчиваясь, прискучившие и самим себе и друг другу.

В лечебнице преобладали гражданские больные, раненые помещались в одной палате; было их пять человек: Ян Варейкис, высокий русый латыш с окладистой подстриженной бородой и голубыми глазами; Иван Врублевский, двадцативосьмилетний красавец-драгун, уроженец Владимирской губернии; сибирский стрелок Косых, вертлявый желтый солдатишко Бурдин и Мелехов Григорий. В конце сентября привезли еще одного. Во время вечернего чая продолжительно затрепетал звонок. Григорий выглянул

в коридор. В переднюю вошли трое: сестра милосердия и человек в черкеске, третьего они поддерживали под руки. Он, наверное, только что прибыл с вокзала: об этом свидетельствовала его грязная солдатская гимнастерка с кровяными бурыми следами на груди. Ему вечером же сделали операцию. После недолгих приготовлений (в палаты доносился шум,— кипятили инструменты) в операционную провели новоприбывшего. Спустя несколько минут оттуда послышалась приглушенная песня: пока раненому удаляли остаток глаза, выбитого осколком, он, усыпленный хлороформом, пел и невнятно ругался. После операции его принесли в палату к раненым. Через сутки тяжкая одурь хлороформа вышла из мозгов, и он рассказал, что был ранен под Вербергом на германском фронте, фамилия его Гаранжа, был пулеметчиком, родом сам из Черниговской губернии. За несколько дней он особенно близко сошелся с Григорием; койки их стояли рядом, и они, уже после вечернего обхода, шепотом подолгу разговаривали.

— Ну, козак, як дила?

— Как сажа бела.

— Глаз, шо ж вин?

— Хожу на уколы.

— Скильки зробилы?

— Восемнадцать.

— Больно чи ни?

— Нет, сладко.

— А ты попроси, шоб воны геть його выризалы.

— Не всем кривым быть.

— Це так.

Желчный, язвительный сосед Григория был недоволен всем: ругал власть, войну, участь свою, больничный стол, повара, докторов,— все, что попадало на острый его язык.

— За що мы с тобой, хлопче, воювалы?

— За что все, за то и мы.

— Та ты толком скажи мэни, толком.

— Отвяжись!

— Га! Дуркан ты. Це дило треба разжуваты. За буржуив мы воювалы, чуешь? Що ж це таке — буржуй? Птыця така у коноплях живе.

Он разъяснял Григорию непонятные слова, пересыпал свою речь ругательным забористым перцем.

— Не тарахти! Не понимаю хохлачьего твоего языка,— перебивал его Григорий.

— Ось тоби! Що ж ты, москаль, не понимаешь?

— Реже гутарь.

— Я ж, мий ридненький, и то балакаю нэ густо. Ты кажешь — за царя, а шо ж воно такое — царь? Царь — пьянюга, царица — курва, паньским грошам от войны прибавка, а нам на шею... удавка. Чуешь? Ось! Хвабрыкант горилку пье,— солдат вошку бье, тяжко обоим... Хвабрыкант с барышом, а рабочий нагишом, так воно порядком и пластуется... Служи, козак, служи! Ще один хрэст заробишь, гарный, дубовый...— Говорил он по-украински, но в редкие минуты, когда волновался, переходил на русский язык и, уснащая его ругательствами, изъяснялся чисто.

Изо дня в день внедрял он в ум Григория досель неизвестные тому истины, разоблачал подлинные причины возникновения войны, едко высмеивал самодержавную власть. Григорий пробовал возражать, но Гаранжа забивал его в тупик простыми, убийственно простыми вопросами, и Григорий вынужден был соглашаться.

Самое страшное в этом было то, что сам он в душе чувствовал правоту Гаранжи и был бессилен противопоставить ему возражения, не было их и нельзя было найти. С ужасом Григорий сознавал, что умный и злой украинец постепенно, неуклонно разрушает все его прежние понятия о царе, родине, о его казачьем воинском долге.

В течение месяца после прихода Гаранжи прахом задымились все те устои, на которых покоилось сознание. Подгнили эти устои, ржавью подточила их чудовищная нелепица войны, и нужен был только толчок. Толчок был дан, проснулась мысль, она изнуряла, придавливала простой, бесхитростный ум Григория. Он метался, искал выхода, разрешения этой непосильной для его разума задачи и с удовлетворением находил его в ответах Гаранжи.

Поздней ночью однажды Григорий встал с постели и разбудил Гаранжу. Подсел к нему на кровать. В окно сквозь приспущенную штору тек зеленоватый свет сентябрьского месяца. Щеки проснувшегося Гаранжи темнели супесными рытвинами, влажно блестели черные впадины глазниц. Он зевал, зябко кутал ноги в одеяло.

— Шо нэ спышь?

— Сну нету. Сон от меня уходит. Ты мне объясни вот что: война одним на пользу, другим в разор...

— Ну? Ахха-а-а...— зевнул Гаранжа.

— Погоди! — зашептал Григорий, опаляемый гневом.— Ты говоришь, что на потребу богатым нас гонят на смерть, а как же народ? Аль он не понимает? Неужели нету таких, чтоб могли рассказать? Вышел бы и сказал: «Братцы, вот за что вы гибнете в кровях».

— Як це так, вышел? Ты шо, сказывся? А ну, побачив бы я, як ты вышел. Мы ось с тобой шепчемся, як гуси у камыша, а гавкни ризко — и пид пулю. Черная глухота у народи. Война его побудить. Из хмары писля грому дощ буде...

— Что же делать? Говори, гад! Ты мне сердце разворошил.

— А шо тоби сердце каже?

— Не пойму,— признался Григорий.

— Хто мэнэ с кручи пихае, того я пихну. Трэба, нэ лякаясь, повернуть винтовки. Трэба у того загнать пулю, кто посылае людей у пэкло. Ты знай,— Гаранжа приподнялся и, скрипнув зубами, вытянул руки,— подпимется вэлыка хвыля, вона усэ снэсэ!

— По-твоему, что ж... все вверх ногами надо поставить?

— Га! Власть треба, як грязные портки, скынуть. Треба с панив овчину драть, треба им губы рвать, бо гарно воны народ помордувалы.

— А при новой власти войну куда денешь? Так же будут клочиться,— не мы, так дети наши. Войне чем укорот дашь? Как ее уничтожить, раз извеку воюют?

— Вирно, война испокон веку иде, и до той годыны вона нэ пэрэвэдэться, пока будэ на свити дурноедьска власть. От! А як була б у каждом государстви власть робоча, тоди б не воювалы. То и трэба зробыть. А це будэ, в дубову домовыну их мать!.. Будэ! И у германцив, и у хранцузив,— у всих заступэ власть робоча и хлиборобська. За шо ж мы тоди будемо брухаться? Граныци — геть! Чорну злобу — геть! Одна по всьому свиту будэ червона жизнь. Эх! — Гаранжа вздохнул и, покусывая кончики усов, блистая единственным глазом, мечтательно улыбнулся.— Я б, Грыцько, кровь свою руду по капли выцидыв бы, шоб дожить до такого... Полымя мэни сердцевину лиже...

Они проговорили до рассвета. В серых сумерках забылся Григорий беспокойным сном.

Утром его разбудили голоса и плач. Иван Врублевский, лежа на кровати вниз лицом, всхлипывал, сморкался; вокруг него стояли фельдшерица, Ян Варейкис и Косых.

— Чего он хлюпает? — высунув голову из-под одеяла, хрипнул Бурдин.

— Глаз разбил. Начал из стакана вынать и кокнул его об пол,— скорее с злорадством, чем с сожалением, ответил Косых.

Какой-то обрусевший немец, торговец искусственными глазами, движимый патриотическими побуждениями, выдавал свой товар солдатам бесплатно. Накануне Врублев-

скому подобрали и вставили стеклянный глаз, тончайшей работы, такой же голубой и красивый, как и настоящий. Настолько художественно он был сделан, что даже при внимательном изучении нельзя было отличить подлинный глаз от искусственного. Врублевский радовался и смеялся, как ребенок.

— Приду домой,— говорил он, по-владимирски окая,— любую девку обману. Женюсь, а потом признаюсь, что глаз-то стеклянный.

— Омманет, язви его! — хохотал Бурдин, постоянно напевавший о Дуне и о таракане, который прогрыз Дуне сарафан.

И вот несчастная случайность — и красавец-парень вернется в родную деревню кривым уродом.

— Новый дадут, не реви,— утешал Григорий.

Врублевский поднял опухшее от слез лицо с красной мокрой дыркой вместо глаза.

— Не дадут. Глаз — он триста рублей стоит. Не дадут.

— Глаз был так глаз! Каждая жилка на ем прорисована,— восторгался Косых.

После утреннего чая Врублевский поехал с фельдшерицей в магазин к немцу, и тот вновь подобрал глаз.

— Немцы-то, они лучше русских! — неистовствовал в восторге Врублевский.— У русского купца — хрен выпросишь, а этот и слова не сказал.

Минул сентябрь. Время скупо отсчитывало дни. Тянулись они нескончаемо длинные, набитые мертвящей скукой. По утрам в девять пили чай. Каждому больному на тарелочке подавали два чахлых прозрачных ломтика французской булки и кусочек сливочного масла, величиной с мизинец, после обеда больные расходились голодные. Вечером пили чай, для разнообразия запивая его холодной водой. Состав больных менялся. Из «военной палаты» (так окрестили больные палату, где лежали раненые солдаты) первым выписался сибиряк Косых, за ним последовал латыш Варейкис. В последних числах октября выписали Григория.

Красивый, с подстриженной бородкой, хозяин больницы доктор Снегирев на испытании признал зрение Григория удовлетворительным. В темной комнате Григорию показывали на известном расстоянии освещенные большие буквы и цифры. Его выписали и направили в госпиталь на Тверской, так как залеченная рана на голове неожиданно открылась, и появилось легкое нагноение. Прощаясь с Гаранжой, Григорий спросил:

— Увидимся ли?

— Гора с горой нэ сходыться...

— Ну, хохол, спасибо, что глаза мне открыл. Теперь я зрячий и... злой!

— У полк прийдэшь — побалакай на цэй счет с козакамы.

— Ладно.

— Як що доведэться буваты у Черниговщини, в слободе Гороховки,— спрашивай коваля Андрия Гаранжу, рад буду тэбэ бачиты. Прощувай, хлопче!

Они обнялись. Надолго сохранила память Григория образ украинца с суровым единственным глазом и ласковыми линиями рта на супесных щеках.

В госпитале Григорий провалялся недели полторы. Он вынашивал в душе неоформленные решения, бродила в нем желчь гаранжевского ученья. С соседями по палате он говорил мало, некое тревожное смятение сквозило в каждом его движении. «Беспокойный»,— так охарактеризовал его при приеме заведующий госпиталем, бегло осматривая нерусское лицо Григория.

Первые дни Григория лихорадило, лежал он на койке, вслушиваясь в неумолчные звоны в ушах.

В это время и произошел такой инцидент.

Проездом из Воронежа госпиталь высочайше соизволила посетить особа императорской фамилии. Уведомленные об этом с утра лица врачебного персонала госпиталя заметались, как мыши в горящем амбаре. Раненых приодели; беспокоя их, внеочередно сменили постельное белье, младший врач даже пытался учить, как отвечать особе и как держать себя в разговоре с оной. Тревога передалась и раненым: некоторые заранее стали говорить шепотом. В полдень у подъезда вякнул автомобильный рожок, и в сопровождении должного количества свиты в настежь распахнутые двери госпиталя вошла особа. (Один из раненых, весельчак и балагур, уверял после товарищей, что к моменту приезда именитых посетителей госпитальный флаг с красным крестом вдруг буйно затрепыхался, несмотря на то, что погода стояла на редкость ясная и безветренная, а на противоположной стороне, на вывеске парикмахерского заведения элегантный завитой мужчина сделал нечто похожее на коленопреклонное движение или реверанс.) Начался обход палат. Особа задавала приличествующие ее положению и обстановке нелепые вопросы; раненые, по совету младшего врача, вылупив глаза больше той меры, которой учили их в строю, отвечали: «Точно так, ваше императорское высочество» и «Никак нет», с приложением

этого же титула. Комментарии к ответам давал заведующий госпиталем, причем вился он, как уж, ущемленный вилами, и даже издалека на него было жалко смотреть. Царственная особа, переходя от койки к койке, раздавала иконки. Толпа блестящих мундиров и густая волна дорогих духов надвигалась на Григория. Он стоял возле своей койки небритый, худой, с воспаленными глазами; мелкая дрожь острых коричневых скул выдавала его волнение.

«Вот они, на чью радость нас выгнали из родных куреней и кинули на смерть. Ах, гадюки! Проклятые! Дурноеды! Вот они, самые едучие вши на нашей хребтине!.. Не за эту ли... топтали мы конями чужие хлеба и убивали чужих людей? А полз я по жнивью и кричал? А страх? Оторвали от семьи, морили в казарме...» — клубился в голове его кипящий ком мыслей. Пенная злоба поводила его губы. «Сытые какие все, аж блестят. Туда б вас, трижды проклятых! На коней, под винтовку, вшами вас засыпать, гнилым хлебом, мясом червивым кормить!..»

Григорий низал глазами лощеных офицеров свиты и останавливал мерклый взгляд на сумчатых щеках члена императорской фамилии.

— Донской казак, Георгиевский кавалер,— изгибаясь, указал на него заведующий, и таким тоном было это сказано, словно он сам заслужил этот крест.

— Какой станицы? — спросила особа, держа наготове иконку.

— Вёшенской, ваше императорское высочество.

— За что имеешь крест?

В светлых пустых глазах особы тлела скука, пресыщенность. Рыжеватая левая бровь заученно приподнималась — это делало лицо особы более выразительным. Григорий на мгновение ощутил холодок и покалывание в груди; такое чувство являлось в первый момент атаки. Губы его неудержимо кривились, прыгали.

— Я бы... Мне бы по надобности сходить... по надобности, ваше императорское... по малой нужде...— Григорий качнулся, словно переломленный, указывая широким жестом под кровать.

Левая бровь особы стала дыбом, рука с иконкой застыла на полпути. Особа, недоуменно свесив брюзглую губу, повернулась к сопутствовавшему ей седому генералу с фразой на английском языке. Еле заметное замешательство тронуло свиту: высокий офицер с аксельбантами рукой, затянутой в белоснежную перчатку, коснулся глаз; второй потупил голову, третий с вопросом глянул в лицо четверто-

му... Седой генерал, почтительно улыбаясь, на английском языке что-то доложил их императорскому высочеству, и особа соизволила милостиво сунуть в руки Григория иконку и даже одарить его высшей милостью: коснуться рукой его плеча.

После отъезда высоких гостей Григорий упал на койку. Зарывшись головой в подушку, вздрагивая плечами, лежал несколько минут; нельзя было понять — плакал он или смеялся, но встал с сухими, проясневшими глазами. Его сейчас же вызвал в кабинет заведующий госпиталем.

— Ты, каналья!..— начал он, комкая в пальцах бороду цвета линялой заячьей шкурки.

— Я тебе не каналья, гад! — не владея нижней отвисшей челюстью, шагая к доктору, сказал Григорий.— На фронте вас нету! — И, осилив себя, уже сдержанней: — Отправьте меня домой!

Доктор, пятясь от него, зашел за письменный стол, сказал мягче:

— Отправим. Убирайся к черту!

Григорий вышел, дрожа улыбкой, со взбешенными глазами.

За его чудовищную, непростительную выходку в присутствии высокой особы администрация госпиталя лишила его питания на трое суток. Кормили его товарищи по палате и сердобольный, страдавший от грыжи повар.

XXIV

В ночь на 4 ноября Григорий Мелехов пришел в Нижне-Яблоновский, первый от станции казачий хутор Вешенского юрта. До имения Ягодного оставалось несколько десятков верст. Григорий, будоража собак, шагал мимо редких дворов; за приречными вербами молодые ребячьи голоса вели песню:

А из-за леса блестят копия мечей.
Едет сотня казаков-усачей.
Попереди офицер молодой,
Ведет сотню казаков за собой.

Сильный, чеканно-чистый тенор заводил:

За мной, братцы, не робей, не робей!

Дружные, спевшиеся голоса лихо подхватывали:

На завалы поспешай поскорей.
А кто первый до завалов добежит,
Тому честь, и крест, и слава надлежит.

Неизъяснимо родным, теплым повеяло на Григория от знакомых слов давнишней казачьей и им не раз игранной песни. Щиплющий холодок покалывал глаза, теснил грудь. Жадно вдыхая горький кизячный дым, выползавший из труб куреней, Григорий проходил хутор,— вслед ему неслось:

На завалах мы стояли, как стена.
Пуля сыпалась, летела, как пчела.
А и что это за донские казаки —
Они рубят и сажают на штыки.

«Давно играл я, парнем, а теперь высох мой голос и песни жизнь обрезала. Иду вот к чужой жене на побывку, без угла, без жилья, как волк буерачный...» — думал Григорий, шагая с равномерной усталостью, горько смеясь над своей диковинно сложившейся жизнью. Из хутора поднялся на косой бугор, оглянулся: в просвете окна последнего куреня желтел огонь висячей лампы, у окна за прялкой сидела пожилая казачка.

Сойдя с дороги, Григорий пошел по влажно хрупкой, скованной морозцем траве. Он решил переночевать на первом хуторе по Чиру, чтобы на следующий день засветло добраться до Ягодного. Уже за полночь пришел на хутор Грачев, в крайнем дворе заночевал и вышел, чуть только поредели лиловые утренние сумерки.

Ночью он был в Ягодном. Неслышно перепрыгнув через забор, шел мимо конюшни — оттуда звучал гулкий кашель деда Сашки. Григорий остановился, окликнул:

— Дед Сашка, спишь?

— Погоди, кто такое? Голос спознаю... Кто это?

Дед Сашка, накинув зипун, вышел во двор.

— Отцы-святители! Гришка! Откуда тя холера взяла? Вот так гость!

Они обнялись. Дед Сашка, снизу засматривая в глаза Григория, сказал:

— Зайди, покурим.

— Нет, завтра уж. Пойду.

— Зайди, тебе говорят.

Григорий нехотя повиновался. Он присел на дощатую кровать, ждал, пока дед Сашка откашляется.

— Ну, дидко, живешь? Землю топчешь?

— Топчу помаленечку. Я — как ружье кремневое, мне износу не будет.

— Аксинья?

— Что ж Аксинья... Аксинья слава богу.

Дед натужно закашлял. Григорий догадался, что кашель его притворен, скрывает смущение.

— Танюшку где похоронили?

— В саду под тополем.

— Так, рассказывай.

— Кашель меня, Гриша, замучил...

— Ну!

— Все живы-здоровы. Пан вот попивает... Пьет, глупой человек, без рассудку.

— Аксинья как?

— Аксинья? Она в горничных теперь.

— Я знаю.

— Ты бы покурить свернул? А? Закуривай, у меня табачок первый сорт.

— Не хочу. Да ты говори, а то уйду. Я чую,— Григорий тяжело повернулся, дощатая кровать под ним хряпнула,— чую, что ты слово какое-то, как камень за пазухой, держишь. Бей, что ли.

— И вдарю!

— Бей!

— Вдарю. Силов я не набрал молчать, и мне, Гриша, молчать прискорбно.

— Рассказывай же,— попросил Григорий, с каменной тяжестью ласково опуская ладонь на дедово плечо. Сгорбившись, ждал.

— Змею ты грел! — вдруг резким фальцетом выкрикнул дед Сашка, нелепо топыря руки.— Гадюку прикормил! Она с Евгением свалялась! Каков голос? [1]

На подбородке деда по канальцу розового шрама сползла бусинка клейкой слюны. Дед смахнул ее, ладонь вытер о суровые холщовые подштанники.

— Верно говоришь?

— Сам видел. Кажну ночь к ней таскается. Иди, он, должно, и сейчас у ней.

— Ну что ж...— Григорий хрустнул мослаками пальцев и долго сидел, сгорбившись, выправляя мускул щеки, сведенный судорогой. В ушах его раздольными бубенцами разливались звоны.

— Баба — кошка: кто погладил — к тому и ластится. А ты не верь, веры не давай! — сказал дед Сашка.

Он свернул Григорию цигарку, зажег и сунул в руки.

— Покури.

Григорий два раза затянулся и затушил в пальцах цигарку. Вышел молча. У окна людской остановился,

[1] Каков голос — каково.

глубоко и часто дышал, несколько раз подымал руку постучать, но рука падала, как перебитая. Первый раз стукнул сдержанно, согнутым пальцем, потом, не владея собой, привалился к стене и бил кулаками в раму яростно, долго. Рама вопила дребезжащим звоном стекла, шаталась, в ней рябился синий ночной свет.

Мелькнуло удлиненное страхом лицо Аксиньи. Она открыла дверь и вскрикнула. Григорий обнимал ее здесь же в сенцах, заглядывал в глаза.

— Стучал ты как, а я уснула... Не ждала... Любимый мой!

— Озяб я.

Аксинья чувствовала, как в крупной дрожи сотрясается все большое тело Григория, а руки его пламенно горячи. Она проявляла чрезмерную суетливость, зажгла лампу, бегала по комнате, накинув на выхоленные матовые плечи пуховый платок, разводила на загнетке огонь.

— Не ждала... Давно не писал... Думала, не придешь ты... Ты получил от меня последнюю письмо? Хотела тебе гостинцев послать, а потом, думаю, погожу, может, от него письмо получу...

Она изредка взглядывала на Григория. На красных губах ее не таяла замерзшая улыбка.

Григорий сидел на лавке, не скидывая шинели. Небритые щеки его пылали, на опущенные глаза падала из-под башлыка густая тень. Он начал было развязывать башлык, но вдруг засуетился, достал кисет, искал в карманах бумагу. С необъятной тоской он бегло осмотрел лицо Аксиньи.

Она чертовски похорошела за время его отсутствия.

Что-то новое, властное появилось в посадке красивой головы, лишь пушистые крупные кольца волос были те же да глаза... Губительная, огневая ее красота не принадлежала ему. Еще бы, ведь она любовница панского сына.

— Ты... не похожа на горнишную, на экономку скорее.

Она метнула пугливый взгляд, принужденно засмеялась.

Волоча за собой сумку, Григорий пошел к двери.

— Ты куда?

— Покурить выйду.

— Яишня сжарилась, погоди.

— Я зараз.

На крыльце Григорий достал со дна солдатского подсумка бережно завернутый в клейменую чистую рубаху расписной платок. Его купил он в Житомире у торговца-еврея за два рубля и хранил как зеницу ока, вынимал на походе и любовался его переливчатой радугой цветов, предвкушал то восхищение, которое охватит Аксинью,

когда он, вернувшись домой, развернет перед ней узорчатую ткань. Жалкий подарок! Григорию ли соперничать в подарках с сыном богатейшего в верховьях Дона помещика? Поборов подступившее сухое рыдание, Григорий разорвал платок на мелкие части, сунул под крыльцо. Сумку швырнул на лавку, вошел в комнату.

— Садись, я разую тебя, Гриша.

Белыми, отвыкшими от работы руками Аксинья стащила с Григория тяжелые солдатские сапоги и, припав к его коленям, долго беззвучно рыдала. Григорий дал ей выплакаться, спросил:

— Чего ж ты кричишь? Аль не рада мне?

Уснул он скоро.

Аксинья раздетая вышла на крыльцо и под холодным пронизывающим ветром, под похоронный вой сиверки простояла на крыльце, обняв мокрый столб, не меняя положения до рассвета.

Утром Григорий надел шинель, пошел в дом. Старый пан стоял у крыльца, одетый в меховую куртку и пожелтевшую каракулевую папаху.

— Вот он, Георгиевский кавалер. Однако, ты возмужа-а-а-ал, брат!

Он козырнул Григорию и протянул руку.

— Надолго прибыл?

— На две недели, ваше превосходительство.

— Дочь-то похоронили. Жаль, жаль...

Григорий промолчал. На крыльцо, натягивая перчатки, выходил Евгений.

— Григорий? Ты откуда?

У Григория темнело в глазах, но он улыбался.

— Из Москвы, в отпуск...

— Вот как. У тебя ранение в глаз?

— Так точно.

— Я слышал. Каким он молодцом стал, а, папа? — Сотник кивнул головой на Григория, повернулся лицом к конюшне.— Никитич, лошадей.

Степенный Никитич кончил запряжку и, неприязненно косясь на Григория, подвел к крыльцу старого серого рысака. Под колесами легонькой пролетки хрушко шуршала, сдавливаясь, сшитая ледком земля.

— Ваше благородие, дозвольте вас прокатить по старой памяти? — обратился Григорий к Евгению, заискивающе улыбаясь.

«Не догадывается, бедняк»,— удовлетворенно улыбнулся тот и блеснул из-под пенсне глазами.

— Что ж, сделай милость, поедем.

— Ты что же это, не успел приехать и бросаешь молодую жену? Не соскучился разве? — Старый пан милостиво улыбнулся.

Григорий засмеялся.

— Жена не медведь, в лес не уйдет.

Он сел на козлы; подоткнув под сиденье кнут, расправил вожжи.

— Эх, и прокачу ж я вас, Евгений Николаевич!

— Прокати, на чай получишь.

— Премного вами довольны. И так спасибо, что Аксинью мою... кормите... кусок ей... даете...

Голос Григория рвался, и у сотника шевельнулось нехорошее подозрение. «Неужели знает? Ну, глупости! Откуда! Не может быть!..» Он откинулся на спинку сиденья, закурил папиросу.

— Возвращайтесь поскорей! — крикнул вслед им старый пан.

Из-под колес рванулась иглистая морозная пыль.

Григорий рвал вожжами губы рысаку и довел бег его до предельной резвости. Они за четверть часа перевалили через бугор. В первой же ложбинке Григорий соскочил с козел и выдернул из-под сиденья кнут.

— Ты что?..— Сотник нахмурился.

— А вот... что!

Григорий коротко взмахнул кнутом, со страшной силой ударил сотника по лицу. Перехватив кнут, он бил кнутовищем по лицу, по рукам, не давая сотнику опомниться. Осколок разбитого пенсне врезался тому выше брови. На глаза падали кровяные струйки. Сотник вначале закрывал лицо руками, но удары учащались. Он вскочил с лицом, обезображенным подтеками и яростью, пробовал защищаться, но Григорий, отступая, ударом в кисть парализовал ему правую руку.

— За Аксинью! За меня! За Аксинью! Ишо тебе за Аксинью! За меня!

Кнут свистал. Мягко шлепали удары. Потом кулаками свалил на жесткий кочкарник дороги и катал по земле, бил зверски, окованными каблуками солдатских сапог. Обессилев, сел в пролетку, гикнул и, губя рысачьи силы, перевел коня на намет. Пролетку бросил около ворот, комкая кнут, путаясь в полах распахнутой шинели, бежал в людскую.

Аксинья на гром откинутой двери оглянулась.

— Гадина!.. Сука!..

Взвизгнув, кнут плотно обвил ее лицо.

Задыхаясь, Григорий выбежал во двор; не отвечая на вопросы деда Сашки, пошел из имения. Версты через полторы его догнала Аксинья.

Она бурно дышала и шла рядом молча, изредка трогая рукой Григория.

На развилке дорог, возле бурой степной часовни, сказала чужим, далеким голосом:

— Гриша, прости!

Григорий оскалил зубы, горбясь поднял воротник шинели.

Где-то позади у часовни осталась Аксинья. Григорий не оглянулся ни разу, не видел протянутых к нему Аксиньиных рук.

На спуске с горы в хутор Татарский он, недоумевая, увидел в руках своих кнут, бросил его, крупно зашагал по проулку. К окошкам липли лица, изумленные его появлением, низко кланялись узнававшие его встречные бабы.

У ворот своего база сухощавая черноглазая красавица девка с разбегу с визгом кинулась ему на шею, забилась на груди. Стиснув ладонями ее щеки, Григорий приподнял ей голову и узнал Дуняшку.

С крыльца хромал Пантелей Прокофьевич, в курене в голос заплакала мать. Григорий левой рукой обнимал отца, правую целовала Дуняшка.

Знакомый до боли скрип порожков — и Григорий на крыльце. Постаревшая мать подбежала с живостью девочки, вымочила слезами петлицы шинели и, неотрывно обнимая сына, лепетала что-то свое, несвязное, не передаваемое словами, а в сенцах — цепляясь за дверь, чтобы не упасть,— стояла побледневшая Наталья, мучительно улыбаясь, падала, срезанная беглым растерянным взглядом Григория...

* * *

Ночью Пантелей Прокофьевич, толкая в бок Ильиничну, шептал:

— Глянь потихоньку: вместе легли али нет?

— Я постелила им на кровати.

— А ты глянь, глянь!

Ильинична глянула сквозь дверную щель в горницу вернулась.

— Вместе.

— Ну, слава богу! Слава богу! — закрестился старик, приподнимаясь на локте, всхлипывая.

СОДЕРЖАНИЕ

Шолохов М. А.

Ш78 Собрание сочинений. В 8-ми т. Т. I. Тихий Дон: Роман в 4-х кн./Сост. М. Манохина.— М.: Худож. лит., 1985.— 351 с., портр.

В первый том Собрания сочинений Михаила Шолохова (1905—1984) вошел роман «Тихий Дон» (книга первая)

Ш $\frac{4702010200\text{-}126}{028(01)\text{-}85}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

Михаил Александрович

ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

ТОМ I

Редактор
Т. Халилова

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
С. Ефимова

Корректоры
И. Филатова, Т. Калинина

ИБ № 4182
Сдано в набор 09.08.84. Подписано в печать 30.01.85. Формат 84×108¹/₃₂
Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая
Усл. печ. л. 18,48+вкл.=18,53. Усл. кр.-отт. 18,53. Уч.-изд. л. 20,37+
+1 вкл.=20,42. Тираж 1 000 000 экз. Изд. № III-1705. Зак. № 1539
Цена 2 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15